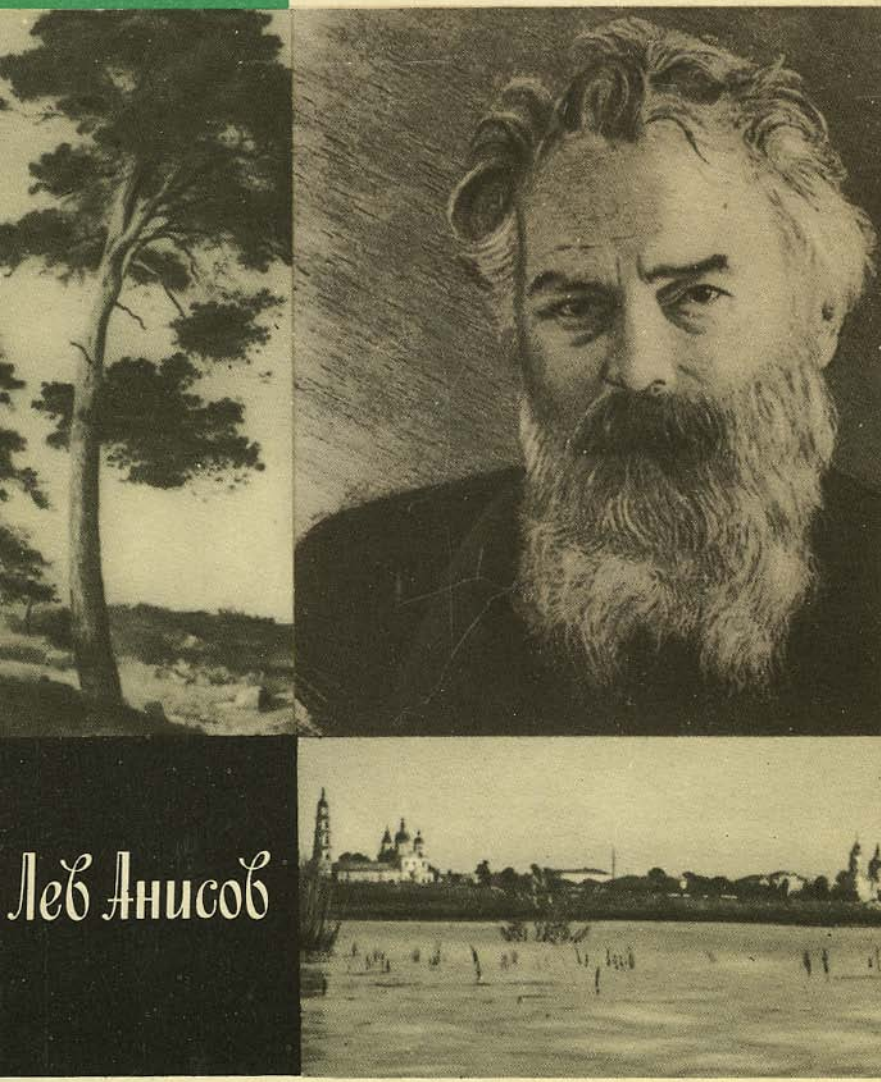
ШИШКИН



Лев Анисов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь замечательных людей

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ

Выпуск
714

Лев Анисов

ШИШКИН

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1991

ББК 85.143(2)1
А 67

Рецензенты: М. П. Лобанов, член СП СССР;
Н. Н. Третьяков, член СХ СССР, канд. искусствоведения

А $\frac{4702010201-079}{078(02)-91}$ 117—91

© Анисов Л. М., 1991 г.

ISBN 5-235-01341-1 (2-й з-д)

Светлой памяти моего крестного Гаврилы Яковлевича Сбитнева посвящаю

Знание биографии предков составляет одну из главных сторон самосознания, и кто не дорожит памятью их, тот сам забудется своими потомками.

(«Русский архив», 1871)

Глава первая
НА РОДИНЕ

31 мая 1769 года капитан Петр Иванович Рычков, совершающий путешествие по разным провинциям Российского государства, дабы описать «преимущества и недостатки земель... нашего возлюбленного отечества», приблизился к небольшому «пригородку» Елабуге. Ведомо ли было государственному чиновнику, любознательному человеку, что ему суждено будет едва ли не первому полно описать родину нашего выдающегося русского художника Ивана Ивановича Шишкина. Оговоримся, однако: история здешних поселений уходит корнями в глубокую древность.

О землях недавнего Казанского царства, ныне заселенных христианами, древних городах и селениях, на них расположенных, в Центральной России знали не понаслышке. С весны приходили по Каме на Волгу суда, груженные хлебом, солью, железом и медью, которую выплавляли на заводах, находящихся близ глубоководной и быстроходной реки. Завозили и рыбу: белугу, осетра, стерлядь, белую и красную рыбицу, сазана, судака, леща. «Вкус сих рыб гораздо волжских происходит, а особливо камские стерляди. От всех за лучшие признаются», — говорили современники. Недаром именно эта рыба к царскому столу подавалась, а за отлов ее жаловала государыня-императрица Екатерина II рыбаков землями. Камские торговцы — люди хваткие, ходили с товаром вверх и вниз по Волге, умели с толком продать его, не остаться внакладе. Правда, бывали случаи, тонули суда, и для некоторых гибель их оборачивалась банкротством. Но появлялись новые купцы, строились ладьи из елового и соснового леса, растущего по берегам Камы, нанимались бурлаки, натягивались паруса, и нагруженные товаром суда плыли вниз по реке.

К таким торговым людям, в село Трехсвятское (оно же «пригородок» Елабуга) и прибыл капитан Рычков. Два дня ходил он по «пригородку» и его окрестностям, делал записи и наносил чертежи в журнале Узнал: название свое Елабуга имеет от озера, расположенного неподалеку. Отметил красоту здешних мест и особо заинтересовался Чертовым городищем — остатками древней крепости, расположенной неподалеку от селения в «приятной березовой роще».

Обстоятельно описал П. И. Рычков остатки городища и находящийся внутри его древних стен опустевший мужской монастырь

Народная молва связывала образование монастыря с пребыванием в здешних местах царя Иоанна Васильевича Грозного Говорили старожилы П И Рычкову:

— Построен он, батюшка, о ту пору, как взял государь наш Иоанн Васильевич столичный город татарский Казань и вознамерился Камою ехать до Соликамска, доехал до места, где ныне Елабуга, и заболел. И для сего принужден был оставить предпринятое путешествие

«Начало пригородка (села Трехсвятского — *Л. А.*) считают с того же времени, и есть тут церковь, построенная им во дни его в нем пребывания», — запишет П И Рычков, доверясь рассказам местных жителей, и далее отметит: «Нет сомнения, чтоб сие толь прекрасное положение места, каково находится у городища, не понравилось сему государю. Увидев же при том заложенное укрепление и в округе лежащие места, лесом, водою, рыбою и всем изобилующия, разсудил избрать оное для обители монахов. Сей монастырь, как слышно, был первый, который воздвигнул он в знак благодарности к Богу за множество побед, одержанных в сей стране»

Легенда была столь живуча, что через несколько десятилетий в одном из энциклопедических словарей о Елабуге напишут следующее: «Царь Иван IV Васильевич, после покорения Казани, отправился по реке Каме в Соликамск, но по пути сделался болен и принужден был остановиться при устье Тоймы, на том месте, где стоит теперь Елабуга. По воле Иоанна здесь заложена Покровская церковь, им пожертвована икона Трех Святителей, от чего Елабуга первоначально и называлась селом Трехсвятским. Этот образ хранится в Елабуге до сих пор в Покровской церкви. Живопись его не пострадала от времени и принадлежит к древнему греческому стилю. Близ села построен также царем Иоанном Грозным монастырь, существовавший 213 лет. Место, где он находился, известно под именем Чертова городища».

Иван Васильевич Шишкин — отец художника, — много потративший времени на собирание документальных свидетельств, относящихся к истории родных мест, приведя в 1871 году в своей книге «История города Елабуги» это сообщение, заметит: «Не знаю сколько справедливо». Сам же, человек пытливый, запишет следующее:

«По взятии Казани Царем Иваном Васильевичем Грозным для распространения своих владений и христианства в завоеванном царстве Казанском, в особенности по реке Каме, на которой было столь славное и, конечно, известное православному Царю идольское капище, он повелел воздвигнуть мужской монастырь во имя Троичного Божества на том месте Чертова городища, где прежде волхвы обманывали суеверный народ

...Монастырь назывался Троицким по главному храму онаго; управлял им игумен, который заведывал, кроме братии монастырской, и духовенством села Трехсвятского (что ныне Елабуга). Самый же монастырь находился в ведении архиепископов Казанских и Свияжских. Для содержания монастыря отданы были в его владение богатые луга, пахотные земли и озера, вблизи находящиеся, также приписаны были к нему селения: Танайка, Свиныя горы и Тихие горы, обильные ловлею рыбы, и деревни: Сентяк, Подмонастырка, и доныне находящаяся у подошвы горы, где был монастырь, и доныне удерживающая свое название Жители Подмонастырки были служки монастыря, и многие из них именовались дворцовыми и конюховыми Это название и доднесь сохранилось и означает прежний род служения их предков при монастыре».

Но вернемся к П И Рычкову О самом пригородке путешественник записал следующее: « .Он населен дворцовыми крестьянами, между которыми земледельцев очень мало, а большая часть люди ремесленные, как то медники, иконописцы, набойщики и серебряки Дворов обывательских в нем более шести сот и три церкви, из коих две деревянные и одна каменная Селение укреплено небольшим рвом и деревянною стеною, а посреди жительства находится еще другое укрепление, служащее замком сего местечка, где находится соборная церковь, канцелярия и дом управителя, в нем живущего.

Земля, в округе сего пригородка лежащая, наполнена великим множеством соснового лесу, а при том будучи

чрез меру глиниста, ни к хлебопашеству, ни к скотоводству ни мало не способна. Сие самое принудило жителей упражняться в разных торгах и рукоделиях... Главный продукт Елабужских жителей есть лук, который столь обильно тут растет, что они довольствуют им самые отдаленные города...

Река Тойма, текущая подле Елабуги, довольствует водою жителей сего селения. На дне сея реки растет некая долгая трава, которую земледельцы, живущие по берегам Камы, называют излюдень и употребляют от различных болезненных припадков».

Что говорить, выбрали место для поселения елабужане дивное. Заводь тихая, божеская, иначе не скажешь.

Шишкины — старожилы села Трехсвятского. О родоначальнике фамилии — Дмитрии Степановиче известно лишь, что у него было четверо сыновей. Один из них — Афанасий не однажды был выбираем в первые крестьянские должности. Хороший хозяин, он «имел мастерство медное и серебряное, и оттого именовался по-уличному Серебряком» *. Надолго закрепится это прозвище за его детьми и внуками, которые могли видеться с Рычковым. Кто был предком Дмитрия Степановича — сказать теперь трудно. Возможно, он был родом из Новгорода Великого и ушел оттуда со многими другими в царствование Иоанна III на вольные земли, на реку Каму, в Вятскую губернию, где основалось село Трехсвятское. В одной из церквей города Елабуги, а именно кладбищенской, во имя св. Троицы, было несколько образов с сохранившимися на их обратных сторонах надписями о том, что они перенесены из села Трехсвятского. Могли его предки объявиться здесь и еще ранее — в XII столетии. А может, были это москвичи или устюжане, добирающиеся до этих мест. Судить о том трудно, да и невозможно.

Афанасий Дмитриевич оставил после себя трех сыновей: Василия, Степана и Дмитрия. Старший — Василий, человек предприимчивый, добросовестный в делах своих и благочестивый, дважды избирался городским головой. (С 1780 года Елабуга стала уездным городом Вятской губернии.) От общества имел похвальные листы. Первый в роду Шишкиных он «поступил» из крестьян в

* По-уличному — в России минувших времен было обыкновение давать соседям прозвища. От них в крестьянской и посадской среде формировались наследственные фамилии. Этот процесс, начавшийся еще в XVI веке, завершился в прошлом столетии.

купечество. Отцовское ремесло не пришлось ему по душе, оставив его, до старости был искусен во многом. Выучился отливать церковные колокола (один из них, в 300 пудов, был укреплен в звоннице елабужского собора). Им самим для дома отлиты и сделаны все металлические стенные часы с четвертями и минутами, которые и через 80 лет продолжали служить исправно. Прирожденный стрелок, он днями пропадал на охоте. Однако дело не упускал. Азартный, сообразительный, он, занявшись торговлей, ездил на Макарьевскую ярмарку, широко известную в России, и, кроме товара, как человек любопытный, покупал и привозил порой диковинные вещи. Пишут, весь город собирался подле окон его дома послушать бой часов с курантами и кукушкой, которые однажды он привез с ярмарки.

Женат был Василий Шишкин на дочери коллежского секретаря Афанасия Ивановича Зотикова — Авдотье Афанасьевне. (Род Зотиковых шел от попа Зотика, которому, согласно семейному преданию, царь Иоанн Васильевич после взятия Казани прислал в дар икону Трех Святителей. Икону и киот елабужане могли видеть в Покровской церкви. Сам Афанасий Иванович, занимая должность поветчика духовного правления, благодаря своей благочестивости и глубокому уму, имел большое влияние в среде духовенства и гражданского чиновничества.)

У Авдотьи Афанасьевны и Василия Афанасьевича Шишкиных было пятеро детей. Среди них особенной тягой к знаниям выделялся второй сын — Иван, родившийся 30 мая 1792 года. Самоукой, под наблюдением матушки выучился он читать и писать, одолел Часослов, со вниманием слушал отца, любившего по вечерам вслух читать Четьи Минеи, то есть Жития Святых. Чтение западало в душу, питало воображение. Многим из святых православной церкви хотелось подражать юному слушателю. Дед Зотиков подарил внуку старинную книжку, которая оказала на Ивана сильное воздействие, что называется, пришлась по сердцу. Много позже он узнает название полюбившейся книги — «Наука счастливым быть». «В книге той было очень много нравственного и патриотического, — напишет он на склоне своих лет. — Я ее несколько раз читал, много из нее выписывал и могу сказать, что я из нее много хорошего знал и во всю жизнь свою был за этот подарок деду моему благодарен. Без нее бы я, кажется, не был тем, чем она меня создала».

Василий Афанасьевич, бывая в Вятке по делам, всякий раз захаживал в книжные лавки. В доме появлялись известные в ту пору романы и книги научного содержания. Некоторые из них Иван перечитывал по нескольку раз, как было с «Жизнеописаниями» Плутарха. Чтение стало на всю жизнь его любимым занятием.

В тринадцать лет его отдали в помощники дяде. Тот занимался синельным делом на селе, красил холсты и пряжу. Племяннику поручено было вести хозяйственные дела. Вник он в них скоро и управлялся умело. Несмотря на молодость, разрешил весьма трудное дело в одну из весен — спас от потопления «колоколенные формы», вовремя подняв их на стропила («От природы и одарен средним ростом, был 2 арш. 8-ми вершков. Корпус — стройный и очень умеренный, не толст и не тонок, а самый могутной, и красивый и здоровый... я поднимал безо всякой тягости одной рукой гирь на веревке 10 пуд», — читаем мы в его воспоминаниях.

Здравый ум и хозяйскую хватку Ивана сына Васильева приметили сразу, как и то, что ему до всего дело есть. В свободное время чинил экипажи. Ездил в лес за бревнами, сплавлял их по реке в город. В одну масленичную неделю, дабы не сидеть без дела, смастерил диковинные стенные часы. Не находил мудреного в самых сложных делах. («Ум от природы, могу похвастаться, был хороший, я всякую вещь понимал и тотчас постигал, как она сделана. И никогда этого и в мысли не было, что не понимаю и без мастера не знаю. А моя мысль — что мастер тот же человек. А нельзя ли что-нибудь придумать к лучшему. Вот мои были какие стремления».)

Вернувшись в родительский дом, принялся торговать хлебом. Возил его вверх по Волге. За несколько лет познал обстоятельно дела купеческие. Начал посещать общественные собрания. Дельные замечания и суждения его обратили на себя внимание. Елабужские торговые купцы сумели отдать им должное. В двадцать шесть лет Иван Васильевич Шишкин избран был в городские старосты.

Общественный деятель по натуре, он радел за дела родного города. («Построили со Стахеевым три корпуса лавок, манеж, по берегу хорошую решетку. А ввоз к чанам под гору выстлали камнем, что чрезвычайно улучшило возку воды во всякое время».)

С Иваном Ивановичем Стахеевым через несколько лет суждено будет породниться: дочь Шишкина — Александра выйдет замуж за племянника богатейшего елабужского купца — Дмитрия Ивановича Стахеева.

В Елабуге многие семьи были тесно связаны между собой родственными и дружескими узами.

На собственные средства Иван Васильевич Шишкин построил для елабужан водопровод. Потратил 1600 рублей ассигнациями («сумма небольшая, но тогда была велика и мне. В этих издержках никто не участвовал, но я устраивал не торопясь, хозяйственно и экономно»).

Весь город собирался к фонтану, откуда черпали воду. Уважением Иван Шишкин пользовался у земляков глубоким. С ним раскланивались, завидя издали.

Предложил он, поразмыслив, общественному собранию строить мельницу на выгонной земле, для общей же пользы. Написал книжку по строительству мельниц.

Знали: его мельница смалывала по 60 четвертей * на каждый постав в сутки, в то время как на Тойме на всех мельницах мельнишный постав смалывал в сутки от 20 до 40 четвертей, но и то было редкостью.

Купец второй гильдии, торговавший хлебом, он глубоко интересовался техникой и историей, увлекался археологией. Городской староста притягивал к себе людей правдолюбием, крепкими нравственными устоями, деловым и верным взглядом на жизнь. К слову, жившая в городе известная писательница Надежда Дурова — автор замечательных записок «Кавалерист-девица», человек отзывчивый, но ведшая замкнутый образ жизни, любила бывать только в одном доме — шишкинском.

Самого себя отец будущего художника аттестовал такими словами: «Характеру был тихого и миролюбивого. Только по большому вынуждению был горяч, даже и очень горяч, но это случалось очень редко. И нрав был скромный, и могу похвастаться тем, что желал всякому добра и желал бы всякому угодить и никому ни в чем в возможном не отказать. Даже старался всячески, чтобы никто по возможности от меня неудовлетворенным не отходил... здравомыслия во всем было достаточно... Решение дел тоже ясно видел, их правильность и неправильность... Но все это я пишу не хвастовство. И не могу этого присчитывать ни к чему другому, а это есть чистый дар природы, ее создание, а создание есть всевышнего Бога. Он повелел этому быть, так и вылилось. Следовательно, все это должно достойно и правильно отнести всемогущему Богу. Не виноваты те, кто мало награжден».

* Четверть — старинная русская мера.

В 1819 году Иван Васильевич женился, взяв в жены дочь казанского мещанина Романа Ивановича Киркина — Дарью Романовну *, с которою прожил в мире и согласии пятьдесят три года. Бог даровал им четырех дочерей и двоих сыновей, из которых младшему — Ивану суждено стать художником.

После женитьбы и рождения детей Иван Васильевич продолжал заниматься делами торговыми и общественными (к тому времени выбрали его городским головой), и, разрешая те или иные вопросы с земляками, знакомясь с ними ближе, ловил он себя на мысли, что тянет его узнать больше об общих предках, собственном роде, крае, в котором родился.

Исподволь начал искать исторические документы, знакомиться с преданиями, выискивая сведения о Елабуге. Списался с Москвой и познакомился заочно с профессором Капитоном Ивановичем Невоструевым — земляком, который в ту пору вместе с историком профессором Московской духовной академии А. В. Горским составлял ученое описание славянских рукописей Синодальной библиотеки. Капитон Иванович радел за свой город, и ему «было желание узнать историю своей родины». С документами, найденными им в библиотеке, а именно: о направлении в село Трехсвятское первого священника Зотика, об учреждении монастыря и его настоятеля — он ознакомил Шишкина. Сам Невоструев писал об этом так: «В конце 1855 года, из любви к отечественной археологии, особенно же к знаменитым памятникам своей родины... вступили мы в сношения с почтеннейшим соотчичем, несколько лет бывшим городским головою, купцом Иваном Васильевичем Шишкиным, человеком весьма любознательным и много лет занимавшимся елабужскими древностями. Предметом переписки нашей было «Чертово городище».

В 1855 году Иван Васильевич обследовал древний памятник, а в 1867 году в основном на собственные средства отреставрировал разрушающуюся башню городища. Капитону Ивановичу направлял Шишкин и свои находки: купленную у татарского муллы «письменную древнюю историю» с упоминанием Елабуги, рукописи покойного священника Петра Кулагинского с известием о «Чертовом городище» и войне башкирской. Делая выписки из древних книг, извещал о них Невоструева.

Внимание Ивана Васильевича привлек Ананьинский

* Мать Дарьи Романовны из рода Котеловых.

могильник, о нем принялся расспрашивать местных жителей. Получив разрешение от уездного начальства, вместе с чиновником Алабиным приступил к раскопкам могильника. Публикация материалов об Ананьинском кургане вызвала статью профессора Эйхвальда, в которой ученый проводил аналогию погребений в кургане с погребальными обычаями скифов и считал возможным предполагать, что погребенные в могильнике скифы были современниками персидского царя Дария (V век).

К. И. Невоструев, занявшийся после Эйхвальда изучением могильника, разрешая вопрос о времени, когда курган мог быть насыпан, пришел к убеждению, что принадлежит он не к концу бронзового века, а к более отдаленному периоду этого века, и выдвинул теорию происхождения бронзового века в Восточной Европе от азиатских скифов, имевших сношения с Персиею и Ассириею и хорошо известных Птолемею.

Скромный интерес Ивана Васильевича к старине способствовал, можно сказать, рождению глубоких теорий в кругах профессиональных ученых.

Переписка Капитона Ивановича Невоструева с Иваном Васильевичем Шишкиным носила характер серьезный и затрагивала не одни вопросы археологии, о чем судить можно по сохранившимся письмам.

Приведем одно из них.

(Без даты.) К. И. Невоструев — И. В. Шишкину.

«...сперва меня кольнуло это недоверие Ваше ко мне, душевно Вам преданному...

Во-первых, Вы находите слишком преувеличенными мои жалобы на дух настоящего времени, коего, писал я, никогда не бывало в нашем православном отечестве. Чтобы правильнее судить о моих словах, надобно хорошо знать русскую историю и знать не по универсальной и тематической вообще светом отравленным лекциям, а по беспристрастным изложениям ея на основании самих летописей, актов жизней и множества сохранившихся памятников, или лучше изучая Русскую историю по самым этим источникам. Все иностранцы, посещающие отечество наше, отдавали справедливое благочестию предков наших, хотя не могли вполне видеть и правильно написать его. Не только в древней и средней, но и в новой литературе нашей не было и не могло быть и тени того явного безбожия и разврата, того безумного порицания православной веры и церкви (которую, к слову сказать, начинают признавать теперь и предпочитать латинской самые

реформаты англичане и лютеране — немцы и даже французы католики и самые сыны папы итальянцы), не было этого революционного суждения о правительстве... какое беспрестанно почти является в нынешних журналах, газетах и отдельных книгах, особенно СПБургских. И как истинная преданность предков наших вере, отечеству и престолу вознесла Россию от монгольского ига на высшую ступень могущества, так нынешние прогрессисты, движимые и порожденные иезуитами и другими хитрыми врагами России, распространявшие в ней такой разрушительный дух, чуть было не ввергли ее в бездну погибели, если б не ходатайством невидимых и видимых молитвенников ея, не возникли истинные патриоты ея, сердечно преданные вере церкви, престолу и отечеству. Все это такие вещи, которые очевидны сами собой, понятны и самим иностранцам, врагам нашим, но которые стараются устроить, исказить, перетолковать безбожные и безумные революционеры, прогрессисты наши. Ужели Вы в таких летах станете разделять их стремления? Не хочу более толковать об этом».

Письма свидетельствуют о благорасположенности адресатов друг к другу, иначе не было бы в них полемической настроенности, и по ним косвенно можно судить и о внутренней работе мысли Ивана Васильевича.

В рукописи «Жизни елабужского купца Ивана Васильевича Шишкина, *писанной им самим в 1867 году*», находим следующие строки: «...Но не привелось мне быть на своем месте. А в своем маленьком городке чем мог отличиться особенно без финансовых средств, кроме только местной общественной службы и деятельности, которой я скоро достиг всех пределов и был на первом плане, и должен на этом пункте остановиться».

Иван Васильевич умолчал о том, что начал писать историю города Елабуги, после выхода в свет которой в 1871 году, в Москве, в Синодальной типографии (издание субсидировали купцы Н. И. Ушков и Д. И. Стахеев), Капитон Иванович Невоструев первым поспешит поздравить автора с важным событием.

Невоструев в январе 1872 года с радостью известит Шишкина и об избрании членом-корреспондентом Московского археологического общества («за открытие Ананьинского могильника и прочую по сим предметам деятельность»).

О внешнем облике Ивана Васильевича можно судить по портрету, написанному в 1862 году художником В. Верещагиным. На нем Иван Васильевич изображен в черном сюртуке, с черным шарфом вокруг шеи, с тщательно выбритым и несколько искусственным выражением лица, «...волосы на голове стриг коротко, бороду постоянно всегда брил, голос и речь имел средним тоном» — таков словесный автопортрет Ивана Васильевича.

Дмитрий Иванович Стахеев, уроженец Елабуги, ныне несправедливо и всерьез забытый писатель (родственник Дмитрия Ивановича Стахеева — зятя И. В. Шишкина), в своих воспоминаниях о городе детства несколько страниц посвятил Ивану Васильевичу.

Приведем их:

«Служба кончилась. Дома ожидает опять чай. Летом публика гуляет пешком на Козью Горку: посидеть, потолковать, посмотреть на отдаленную широкую реку, на пробегающие мимо пароходы. Молодежь тихонько пробирается к кому-нибудь из знакомых опять-таки попить ради праздника в десятый раз чайку да поиграть от скуки в картишки. А старички посиживают себе на Козьей Горке, переливая из пустого в порожнее. Вдали перед ними рисуется высокая гора, а на ней видна полуразрушенная от времени башня — остатки монастыря, построенного, после покорения Казани, повелением Ивана Грозного.

— Да вот оно бы хорошо, очень хорошо поддержать этот исторический памятник, — говорит один почтенный старичок, поглядывая на башню.

— Напрасно, Иван Васильевич, право, напрасно, это значит — даром деньги... На что она годится?.. — возражает кто-нибудь из купцов.

— Нет, господа, как ни говорите — это не напрасно: памятник исторический.

— Оно, пожалуй, что исторический, да для нас-то оно, Иван Васильевич, дело совсем неподходящее, потому — даром деньги бросишь. Другое дело, примерно часовня или что-нибудь такое...

— Ну, ну ладно. Часовню и стройте, а я памятник... — желчно говорит Иван Васильевич и сердито стучит своей суковатой палкой по ветхому полу балкона, приделанного к беседке. — Вот вам теперь, — продолжает он, несколько успокоившись, — это вот теперь взвозы у нас худы и круты: грязь стоит по колено, подняться с бочкой у лошади силы не хватает. Фонтаны в городе спорчены, воды хорошей нет, — вот это дело подходящее, как вы об этом думаете?

— Поправить бы точно что надо, — говорит один.

— А примерно сказать, на какие суммы? — спрашивает торопливо другой.

— Полагать надо — на городские.

— Конечно, на городские, а то на свои, что ли? — говорят несколько человек вдруг.

Иван Васильевич грустно усмехается.

— Ну на городские, — говорит он, — а велики ли оне?

— Все же, должно, есть таки...

— Как не быть, все же город...

— Как не быть, — передразнивает Иван Васильевич, — а много ли их есть-то? Три гривны с пятаком! Вон говорили, что нужно с хлебных амбаров сбор сделать в пользу города, ну что же вышло? Сами говорили, а как пришло дело к тому, что деньги давай, так и стали отговариваться: после да после...

— Не наше это дело, Иван Васильевич, как обчество, как будет угодно обществу...

— Мы во всякое время, как только обчество...

— Ну обчество... а мы-то что же, разве мы-то не обчество?.. Всякий так-то станет говорить, чего же хорошего? Потому у нас все и идет, прости Господи, хуже татарского...»

«Да, прав Капитон Иванович, — размышлял иной раз Иван Васильевич, — мы, христиане, живем для вечности и должны непрестанно готовиться к исходу своему, зная, что лежит человеку смерть, потом же Суд, что еже сеет человек в сей жизни, то же и пожнет, что Бог поругаем не бывает и еже обещает, то и совершит... И в мире без труда и напряжения ничего лучшего не приобретают».

Книгу об истории Елабуги, присланную из типографии, положил на столе. Иной раз в минуту свободную, перелистывал, читал, вспоминая тот или иной момент работы над ней.

«Я, как старожил своего города, находясь в преклонных летах, хочу на память потомству рассказать историю своего родного города от начала его и намерен постепенно довести рассказ свой до настоящего цветущего его состояния, — писал он во вступительной части книги. — Единственным побуждением к этому труду была только одна-единственная моя любовь к родине, — на цели и звание ученого я не претендую, а потому и уверен, что читатель извинит мне все недостатки относительно слога и течения мысли, какие найдет, может быть, в моем описании...»

* * *

В продолжение многих лет Иван Васильевич делал записи в тетради о важнейших событиях, случающихся в городе и родной семье. Так и назвал ее — «Записки достопримечательностей разных».

В один из морозных январских дней 1832 года в ней появилась следующая запись «...генваря 13-ой, в среду, в начале 12 часов ночи родился сын... крестил его Шишкин Иван Васильевич (старший брат Ивана Васильевича. — *Л. А.*)... с дьяконом Павлом.

При крещении дали младенцу имя — Иван.

Родился Иван Иванович Шишкин через неделю после Крещения Господня, в день, когда можно было бобам елабужским стирать белье в реке, на которой происходило крещенское водосвящение. Ранее того дня считалось большим грехом приходить с бельем на реку. Живо было такое поверье в народе. Нарушители дедовского завета считались приспешниками и помощниками черта, так как при погружении святого креста в воду вся нечистая сила, в страхе и ужасе, не помня себя, бежала от него и, хватаясь за белье, которое полоскали в проруби, выскакивала наружу.

В Елабуге вообще свято соблюдали древние традиции. Люди отличались почтением ко всему старинному. Часто ходили в церковь, служили всенощные на дому, «поднимали на дом образа», совершали хождения в отдаленные монастыри — и вместе с тем боялись леших, верили всяким приметам, снам, гаданьям. А сколько легенд ходило о чудесных силах трав, о разбойниках, прятавших клады в таинственной суровой глуши лесов!

Здесь жили верой и преданиями. Сколько их довелось услышать в детстве Ванечке Шишкину. И замирало сердце, когда брал с собой в поездку недальнюю отец и въезжали они в строгий Танайский лес. А вдруг чудище какое выглянет из таинственного оврага? Вдруг кусты раздвинутся и выбегут разбойники? Сколько о них от маменьки довелось слышать. В то время свежа была память о пугачевщине и разбойниках волжских, бродивших когда-то по дремучим лесам. Сказывали, одного из детей разбойники схватили за ноги и размозжили ему голову об стену дома на глазах кормилицы. Как тут не трепетать от ужаса, слушая эдакие рассказы.

По вечерам при свете олеиновой лампы собиралась семья Шишкиных в гостиной, и принимался тятенька

вслух читать газеты, судить о городских новостях и непременно, на радость ребятишкам, сводил разговор к старине, давно минувшим событиям.

Заслушивался Ванечка рассказами с увлечением, воображение переносило его беспрестанно в мир иной и отвлекало более и более от мира положительного. Все это развило в нем характер восприимчивый, страстный.

В буфетной и столовой верховодила маменька — Дарья Романовна, по воспоминаниям родственников, гордая и строгая, которую все побаивались. Воспитанная в твердых правилах и семейных преданиях, вполне понимала она, что на ней лежала нелегкая ответственность и великая обязанность матери, и мало помышляла она о преимуществах и правах своего пола. Воспитанию детей, заботе о доме посвятила Дарья Романовна всю жизнь. Исполнена была крепких, вековечных, святых бытовых преданий и была склонна ко всему хорошему.

Провинциальное купечество более других сословий сохраняло в России устои патриархального уклада жизни.

Протяжно и долго разносился над городом звон большого колокола Спасского собора каждое воскресенье. За Камой, широкой и быстрой, слышался его властный гул, глухим эхом раздававшийся в дальних селах.

К церкви стекался люд. Ехали в тарантасах, шли пешком. Народу множество. Купеческая семья одевалась в самое лучшее платье, запрягались, вспоминал Д. И. Стахеев, здоровые и сильные кони в экипаж, целую неделю сохраняемый под замком, и купец парадно катил в церковь.

Дарья Романовна любила обстоятельную торжественность, была у нее такая черта. В праздничные дни велела запрягать любимого коня, и хотя собор был рядом с домом, подъезжала к нему в тарантасе. Раскланивалась со знакомыми, одаривала непременно нищих деньгами, к тому же и детей приучала

А возвратившись после обедни домой, пили чай, кушая мягкую просфору, которую им подносил диакон на серебряном блюде по приказанию настоятеля собора.

Пыхтел самовар на столе. В кухне маменька кормила нищих — таков обычай, соблюдаемый во всех елабужских купеческих домах в память об умерших родственниках. В доме дверь не закрывалась — то родственники

придут, то просвирня зайдет из церкви, то батюшкины знакомые. Посидят, попьют чайку, поговорят о грехах...

После обеда в скоромные дни — жирной кулебяки, щей, гусей и сладкого пирога с ягодами — родители уходили опочивать до вечерни.

Любил Ванечка праздничные дни. Разве что сравнимы они были с теми, когда родители возвращались с ярмарки и раздавали гостинцы.

Дом Шишкиных на высоком берегу Тоймы. Из окна видно, как петляет по заливным лугам река и у «Чертова городища» впадает в Каму. А вокруг озёра с густотравьем, дубравы, сосновые боры, таинственные хвойные леса.

Смотри из окна целый день и не насмотришься. В хмурую погоду, когда дождь хлещет по крыше, все серенько и скучно вокруг, но кончится дождь, выглянет солнце из-за туч, и разом изменится все окрест. Стаями вспархивают птицы с лугов, вспугнутые рыбаком или нечаянным охотником, острее запахнет сирень, капли дождевые, налитые солнцем на кончиках листьев ее, падают на землю, а над Камой, над бором во все темно-синее небо радуга разноцветная.

Оторвешь ли глаза от этой красоты...

Иной раз вечером спускался Ваня к Тойме, в сад, и слушал птиц, стараясь разглядеть певуний. Бывало, где-нибудь послышится гул или шелест, и сердце дитяти замрет страхом — а все не хочется уйти.

Вся внешняя обстановка его детства устроилась так, что сильно действовала на его воображение и позже. Поэтическое настроение преобладало в нем с ранних лет.

Папенька желал дать сыну хорошее образование и потому сначала, кроме уездного училища, посылал его к разным учителям. Да и сам оказал немаловажное влияние на сына.

В одной из первых биографий художника читаем: «У мальчика рано начала пробуждаться любознательность, и отец, к которому он обращался с вопросами, всегда ему все объяснял и рассказывал, давал ему книги — все больше серьезные научные сочинения — и журналы, так что Иван Иванович с ранних лет получил интерес ко всевозможным разнородным предметам науки и жизни, что навсегда оставалось его отличительной чертой». Слова эти тем более примечательны, что написаны они пле-

мянницей художника, Комаровой, помнившей многое со слов самого Ивана Ивановича.

Надо думать, круг чтения Ивана Васильевича со временем становится и кругом чтения сына Ивана.

Много часов провели они вместе — отец и сын. И легко представить их обоих, мирно беседующих на волнующие темы, и, кажется, слышишь голос Ивана Васильевича, неторопливо развивающего свою мысль:

«...История большей части народов начинается только спустя несколько столетий после того, как были положены основания их будущему развитию. О первых временах их имеются лишь одни рассказы или устные предания, передававшиеся из поколения в поколение в течение долгого времени...

В одной местной рукописи, содержащей историю города Елабуги, утверждается, что в древности «на том месте, где теперь «Чертово городище», стоял город Гелон, до которого доходил персидский царь Дарий, гнавшийся за Скифами, и что, проведя зиму в городе, он его выжег и возвратился в свое государство...»

Такие экскурсы в историю не могли не привести к невольному желанию лишний раз побродить по столь замечательным окрестностям, зарисовать их (с детства подмечена была страсть Ванечки к краскам, одно время звали его даже не иначе как «мазилкой»). И одним из любимых занятий у сына, кроме чтения, стало рисование. На листках бумаги появлялись зарисовки «Чертова городища», Камы, лесных берегов ее. А ежедневное общение с природой рождало настоятельную потребность передать, воспроизвести красоту здешних мест. Рисование становилось потребностью. И упражнения эти, дававшие пищу воображению и уму, все явственней рождали мысль о необходимости быть художником. Может, поэтому и вернулся он в 1848 году из Казани, после четырех лет обучения в первой мужской гимназии, с твердым намерением не возвращаться более в нее. Ему претила жизнь чиновника. Это он нутром чувствовал.

За одно лишь был признателен Иван Шишкин гимназическим годам. Первые серьезные навыки в рисовании карандашом, красками с оригиналов, «начальных частей лица, голов больших и малых, а также ландшафтов», получил он именно в гимназии. Там же появились у него и друзья, такие, как Саша Гине (впоследствии академик живописи), с которыми можно было рассуждать об искусстве.

Возвратившись домой, Иван, казалось, забыл обо всем, что не касалось искусства.

Подметив его тягу и увлечения, Иван Васильевич, занимающийся резьбой по дереву и камню, поделился навыками с сыном. Ванечка на токарном станке выточил из местного камня модель Александровской колонны и памятник Петру I.

Отец не стал требовать возвращения Ивана в гимназию, мать же была недовольна мягкостью отца и поступком сына.

Дабы не раздражать мать, рано поутру, если погода позволяла, Иван отправлялся бродить по окрестностям Елабуги. Хаживал на Красную горку, с которой окрест видно на много верст, перебирался за реку и по высокой траве доходил до Афонасовской рощи, где и проводил день. Всякий раз возвращался затемно. Отужинав, забирался в свою комнату. Домашним казался дикарем, нелюдимом.

В другие дни бродил по лесу близ Святого ключа, неподалеку от дачи Стахеевых, или добирался до Лекаревского поля, там среди ржи росли вековые сосны. Тишина, васильки. Ласточки близ земли носятся...

Мысль — что делать? как быть? — мучила его. И не его одного. «Желая приобщить Ивана к хозяйству, — пишет Комарова, — родные стали давать ему торговые поручения, но купцы обманывали и обсчитывали его. Купеческо-мещанской Елабуге такая неприспособленность казалась чуть ли не слабоумием. Иван и сам понимал, что к коммерции непригоден, и страдал от обиды и безысходности положения. Мать он приводил в отчаяние. Она в насмешку прозвала его «арифметчиком-грамматчиком» и восставала против того, что он постоянно сидел за книгами и за «пачкотней бумаги».

Отец приглядывался к сыну, старался понять его, не раз удивлялся его быстрому соображению и памяти. Но, с огорчением заметив, что купца из него не получится, не стал принуждать, оставил во власти неопределенности и наблюдений.

Сердил он и старшего брата Николая, к тому времени женившегося. Николенька любил две вещи — охоту и чтение романтических романов. Любил он (в отсутствие батюшки) и покуролесить. Были для такого разу у него дружки верные. Уедет тятенька на ярмарку или в Москву — и развернутся Николенька с дружками во все свои силы, тешатся, как умеют, на свободе. Уедут на ры-

саках в слободку и пропадают, гуляя в ней до вечера, а воротясь, примутся орать во все горло многолетие, подражая соборному диакону. А то (и такое было, чего уж тут таиться) проскочит Николенька в ворота, да на коне-то в дом норовит въехать.

Трудно, трудно было брату старшему понять младшего.

Луна медленно выплывает из-за темного соснового бора. Сверчки кричат. Тихо в городе. Лишь слышно изредка, как караульный у ворот постукивает в доску. Ванечка при свете свечи рисует. Рисует по памяти, увиденное или с книги анатомической, подаренной отцом.

В один из дней увлекся рисованием так крепко, что не заметил пожара, начавшегося в городе.

(«В этот период времени постигло наш город большое бедствие. Случился пожар 1850-го году 20 августа. Загорелось начально у брата Василия Васильевича в самую полночь, но увидели нескоро. Огонь начально показался в конюшне. Скоро перешел через улицу: загорелся дом Дмитрия Ивановича, а потом и пошло далее. А на другую сторону сгорел и наш семейный дом... В этом пожаре начально сгорело до 60 домов, и пожар прекратился в шесть часов. А потом снова зазвонили в набат в 8 часу, и загорелся вновь из оставшихся домов на Покровской улице дом Замятина... От него пожар сильно распространился и пошел во все стороны по Покровской улице, и по Казанской сильно усилился. По мосту перешел на Покровскую сторону, а там дома все деревянные, и он по ветру все сжег до самой поскотины. Этот пожар происходил в самую Нижегородскую ярмарку. Купечество все было в ярмарке», — вспоминал Иван Васильевич.)

Тот пожар, в котором выгорело большинство домов в Елабуге, глубоко запал в память горожан.

В пожар проявились и особые черты матушки: спасла она от огня в первую очередь рукописи и книги мужа, рисунки и тетради сына. Правда, часть рисунков все же сгорела.

Дом Шишкиных сильно пострадал. Его пришлось отстраивать заново, как, впрочем, и остальные дома в городе. Мыслилось Ивану Васильевичу строить улицы более широкими, дабы при пожаре огню труднее было перебираться от дома к дому. Ездил он в Вятку, для разрешения этих вопросов, где встречался с советником губернского правления писателем М. Е. Салтыковым-Щедриным.

После пожара, при отстройке дома, вдруг проявились недюжинные способности Ивана Шишкина-младшего. Он все умел делать. «Молчун», «дикарь» работал споро, расчетливо и был незаменим. В доме и в городе о нем заговорили по-иному.

Новый дом стал вместительным, выстроили его двухэтажным. Усадьбу со стороны улицы огородили забором деревянным с резными воротами, а со стороны двора — каменным.

Иван выбрал себе на втором этаже две маленькие комнаты, выходящие во двор. Из окна виден Спасский собор, торговые ряды. В одну из комнат был отдельный ход.

Семейных торжеств Иван сторонился. Не любил, когда надо было ехать в гости или принимать ряженых. Запирался у себя либо через потайную дверь исчезал из дому.

Отец, замечая тягу сына к рисованию (все стены комнаты Ванечки завешаны были рисунками), принялся выписывать книги по искусству и биографии знаменитых художников. Видел Иван Васильевич, молчаливое поведение сына исходит из потребности познать «сериозное», может, главное для себя. И не отнимал у него пока свободного времени, полагая справедливо, что позволит оно сыну глубже вдуматься в каждую прочитанную статью, отдать себе отчет в каждом вопросе, поднимаемом в ней.

В ту пору складывался у Ванечки взгляд на служение искусству. Переписывая в тетрадь из книг описания природы, биографии живописцев, он все больше размышлял о назначении художника. Мысли требовали оформления, но главное, главное он осознавал: «Посвятить себя живописи — значит отказаться от всяких легкомысленных занятий жизни». Как быть в дальнейшем, не ведал покуда, мучился. Но его тянуло к искреннему, к истине. Может, потому и любил побеседовать с простыми людьми. Однажды, в разговоре с плотником, починявшим дом, услышал об Академии художеств, о Петербурге. Но рассказ лишь усугубил тяжкие чувства. Слишком далеко была северная столица. Добраться ли до нее, когда из елабужан один лишь папенька и побывал в ней.

Судьба разрешила по-своему, поторопила события.

В 1851 году появились в городе московские художники, вызванные расписывать иконостас в соборной церкви. С одним из них — Осокиным — Иван вскоре позна-

комился. Москвичу по душе пришлась тяга молодого человека к живописи и его рисунки, и в меру своих сил он принялся помогать новому знакомому, давая краски, кисти, делясь знаниями, приобретенными в Строгановской рисовальной школе в Москве.

Иван Афанасьевич Осокин — уроженец Москвы. Настоящая его фамилия, как гласит семейное предание, — Иванов. Воспитывался у тетки, которая была замужем за Осокиным, человеком военным, чью фамилию и взял Иван Афанасьевич. Окончив строгановскую школу, лет 25-ти отправился в Елабугу. Здесь же он женился, а в 1852 году родился у него сын. Расписывал Осокин также и церковь в селе Тихие Горы, в Татарских Челнах.

Надо думать, рассказами о белокаменной, знакомых художниках Осокин способствовал утверждению молодого человека в мысли о возможности поездки в Москву и поступления в Училище живописи и ваяния.

Иконописец предлагал елабужанину избрать своим поприщем историческую живопись.

— Подумайте сами, что повыгодней, — говорил он иной раз в застольной беседе. — К исторической живописи привыкать, по-моему, лучше, потому что, хотя и не быть знаменитым художником, можно жить хорошо и иметь более дела, а ландшафты мало принесут пользы в посредственном искусстве. (О том же напомнит он через год в письме Ивану Ивановичу.)

— А я, Иван Афанасьевич, спокойно себя чувствую, когда один, в бору. И мысли глубже, и чувства иные.

— С Богом беседу ведете, когда одни-то? Так оно всегда на природе, — и заканчивал: — Непременно надо вам ехать в Москву, не давать себя в насмешку другим и быть в мыслях твердым.

В доме, узнав о желании сына стать художником, по-разному восприняли признание его. Мать, которую младший сын не однажды приводил в отчаяние своей непригодностью к практическим делам, едва услышав об этом, воскликнула: «Никогда еще в роду Шишкиных не было художника!» Все родные принялись уговаривать отказаться от задуманного, но Иван стоял на своем. Слово отца было решающим. Он, видя страстное желание сына посвятить себя искусству, благословил его и согласился отпустить.

В начале 1852 года двадцатилетний Иван Шишкин вместе с зятем Дмитрием Ивановичем Стахеевым выехал в Москву.

Глава вторая
В МОСКВЕ

Короток зимний день. Едва за полдень перевалило, а солнце к лесу скатилось, вот-вот скроется. Красные полосы по небу вытянулись, кусты в инее, темнеют быстро, серые галки над полем кружат, к дороге прибиваются. Мало ли чем можно поживиться на ней.

До первопрестольной русской столицы оставалось несколько верст. Дальняя дорога близилась к концу. Лошади устали, переходили на шаг. Притомились и путники. Ехали молча. Оживятся, оглянутся разве что на тройку резвую, промчит та лихо мимо, снегом обдаст, холодком обвеет и исчезнет за поворотом, словно и не было ее. Тянулись обозы навстречу. Подле отлогого спуска увидели впереди колокольню Симонова монастыря. На нее указал Стахеев. Приближались к матушке Москве. За большим старинным селом в низине, с каменной церковью, синел лес. Миновали село, лес и оказались в степи; за нею видна стала часть Москвы, с блистающими главами церквей, белыми полосами каменных зданий и темными линиями садов. А едва дорога поднялась на гору, открылась и вся Москва, пределы которой с трудом вмещал взор.

«Это тебе не Казань-городок», — подумалось Ивану.

Солнце закатилось, но было еще светло.

Приближаясь к заставе, он внимательно вглядывался в окружающее. Слух поражали смешанные звуки — стука, шума, говора, и слышался далекий гул, подобный шуму волн в наводнение разлившейся по долине реки, быстрой, многоводной, и чем более по отлогому спуску дорога углублялась в улицы Москвы, тем более шум и движение становились сильнее, здания росли и, наконец, открылись ряды обширных каменных строений, составляющих улицы, запруженные народом, экипажами, санями... Кричали на разные голоса кучера, разносчики, на площадях торговали всевозможными товарами, покупали, спорили, рядились. Над куполами церквей кружили стаи ворон, оглашая воздух резким криком. И весь этот шум, крики, говор и гомон покрывал торжественный звон колоколов.

Наутро, едва светать начало, отдохнув после дальней дороги, Шишкин отправился со Стахеевым знакомиться с Москвой, в которой отныне предстояло ему жить долгих четыре года.

От села Красного *, в котором остановились, до города не близко, потому шли споро. Пахло дегтем, навозом. Скрипели полозья направляющихся к Москве саней. Мог ли знать Иван, сколько дорогих друзей приобретет он в белокаменной, как близка она станет ему, как жаль будет расставаться с ней.

Стекались к церквам прихожане. Разноголосый, радующий душу благовест плыл по Москве.

Первым делом побывали в святыне московской — в соборах кремлевских: Успенском, Архангельском и Благовещенском. Осмотрели новый императорский дворец. Отстояли заутреню в древнем, богато расписанном Успенском соборе. Служба была торжественная, служил митрополит московский. Дивно пели певчие. Иван пожалел, что родные не слышат их. Поставил свечку Николаю-угоднику, чтобы помог. Крестился, шепча молитвы. По окончании службы Стахеев и Шишкин с толпой верующих вышли на площадь. Столько народу видеть еще не доводилось. Перекрестившись на образа, надели шапки. Погода стояла ясная. Попахивало даже весной. Снег на взгорье начинал оседать.

Долго в тот день ходили они со Стахеевым по красивым, уютным улочкам. Дома благообразные, точно барские хоромы среди деревни.

— Недаром говорят, Москва есть сборище господских домов со службами и пристройками, — сказал Стахеев и прибавил: — Как ее не любить, братец, она что сердце у Руси. Каждый раз приезжаю и нарадоваться на нее не могу. Легко в ней дышится. Народец приветливый, добродушный. Да и сам в том убедишься, время будет.

На углах улиц начертаны их названия, и Ванечка останавливался, читал их.

Мясницкая... Ильинка... На воротах каждого дома имя хозяина с указанием сословия или чина. За окнами, на подоконниках, горшки с геранью, как в родной Елабуге.

Побывали на Тверской (она считалась главною и лучшею улицей в городе), полюбовались Страстным монастырем с удивительной звонницей, бульваром добрались до Новинской площади (через полтора месяца Иван Шишкин придет сюда с другими москвитянами встречать масленицу).

На всех улицах и переулках бойкая торговля съестными припасами, беспрестанно встречались овощные лавочки, и на каждом шагу — разносчики, хлеб несут или овощи; на редкой улице не было одного или двух трактиров, кондитерских или гостиниц. Бросались в глаза красивые, модно одетые женщины.

По улицам катили сани, возки, кареты на полозьях. На иную, с гербом на дверцах, прохожий обернется, заглядится, да и почешет в затылке. Пройдет монах навстречу в черном одеянии. Лицо благообразное, серьезное.

Церквей в Москве много больше, чем в тех городах, которые миновали по дороге. И не найти, казалось, в белокаменной двух храмов совершенно сходных между собою; каждый свою имел, особенную черту или в расположении куполов, или в устройстве колокольни.

Быть может, даже избыток церквей был в первопрестольной. Зато, как говорили москвичи, нигде не встретить и не узнать того высокого наслаждения, каким наполнялась душа при торжественном звоне колоколов. Проходя мимо какой-либо церкви, Стахеев и Шишкин, как люди благочестивые, сворачивали к дверям ее, крестились и отвешивали поклоны.

«Москва поразила Ивана Ивановича своим величием и обширностью: шум, говор, езда на улицах совсем ошеломили юношу», — запишет впоследствии со слов Шишкина Комарова.

Семья Дмитрия Ивановича Стахеева имела прочные деловые связи с Москвой. С уважением относились здесь к родственнику его — елабужскому миллионеру Ивану Ивановичу Стахееву (отцу писателя Дмитрия Стахеева), суда которого ходили по Волге и Каме, доходили, бывало, и до портов Европы. Разумная, как у всех русских купцов, предприимчивость этого человека вызывала почтение. Позже, уже стариком, решит Иван Иванович уехать на Афон, служить Богу. В родной Елабуге на свои средства построит монастырь. Знали и уважали за деловые качества в Москве и Дмитрия Ивановича Стахеева — купца умного, дальновидного, которому и угодить не грех. Привечали Стахеева в московских домах. Используя семейные связи, в один из дней Дмитрий Иванович обратился за помощью и советом к купцу Пахомову, тот состоял членом Совета Училища живописи и ваяния. Пахомов в разговоре порекомендовал Шишкину побывать на проходившей в Училище живописи выставке картин И. К. Айвазовского и Л. Ф. Лагорио. Иван воспользовался советом.

* Ныне давно уже в черте города.

Первое посещение Училища живописи и ваяния произвело на Шишкина впечатление неизгладимое. Само здание с колоннами, с мраморными лестницами, античными фигурами в нишах стен являлось в глазах его настоящим храмом искусства. И замирало сердце от одной только мысли: «Неужели и я буду учеником училища?» Все здесь настраивало на высокий лад. В залах увидел пейзажи мариниста Айвазовского и горные виды, писанные Лагорио. Айвазовский был любимцем государя-императора, Шишкин слышал об этом. Да ведь, верно, есть за что любить этого художника. Сколько времени провел Иван возле картины «Девятый вал», сказать трудно. Может, в те минуты мелькнула, как, впрочем, и раньше, мысль о том, что и пейзаж родной Вятской губернии имеет право на жизнь. Природа — это молчаливый глубокий мастер, формирующий национальные черты русского человека. Природа — Бог. Оставаясь наедине с нею, сколь глубоки, сколь чисты становятся мысли! Изображение ее художником — это выражение прежде всего отношения своего к Богу, беседы с ним. В этом Шишкин был твердо убежден. «Все, что создано от Бога, создано совершенным», — сказано в Библии.

Под вечер, оглушенный увиденным, выходил он из здания училища, не замечая экипажа, запряженного шестеркой, выезжающего из ворот станции дилижансов, которая располагалась напротив. Лишь когда он проезжал совсем рядом и раздалось пофыркивание лошадей, Иван поднял голову и увидел на козлах кондуктора-великана и бородатого ямщика.

Фонарщик, переходя от столба к столбу, зажигал керосиновые лампы...

В августе 1852 года Иван Шишкин поступил в Училище живописи и ваяния. Языкастые и меткие на прозвища товарищи за внешний вид и молчаливость быстро прозвали его Монахом. Поселился Шишкин в Харитоньевском переулке, у Марии Гавриловны Шмаровиной. В ученической тетради его появилась запись: «1852 года 28 августа, в четверг, переехал на квартиру к Марье Гавриловне. Вечером. Ценою в месяц 6 рублей серебром». В той же тетради аккуратные пометы о получении писем из дому и ответах родным. Письма отправлял со Стахеевым или с почтой. Жил в мезонине с новыми товарищами-однокашниками Петрушей Крымовым (впоследствии

отцом известного пейзажиста Н. П. Крымова) и Петром Мелешевым.

В компании и знакомства Монах с медвежьеобразной походкой не вступал, но всех новых сотоварищей поразил своей работоспособностью.

По вечерам, возвращаясь из училища домой, квартиранты растапливали печь и, собравшись подле огня, рассуждали об увиденном и пережитом за день, вспоминали о доме и незаметно узнавали больше и больше о взглядах и суждениях друг друга. Говорили до глубокой ночи.

Поглядывала в окно луна. Лаяли во дворе собаки, заслыша шаги запоздалого прохожего, и потом все неожиданно стихало.

Особняки тихих малолюдных переулков Огородной слободы жили по-старомосковски узкосемейной патриархальной жизнью. Здесь любили принять гостей, радовались им, любили и сами съездить в гости, понлясать на балу, посудачить о последних московских новостях, посмотреть на модниц, послушать петербургских новостей. Впрочем, домашние заботы занимали более. Что там дела до Оттоманской империи, которая затевала смуту супротив России. Турки-то далеко, а вот, сказывают, к соседской дочери сватался человек порядочный, богатый да со связями, это поважней. О нем и наводили справки. Как-никак дочка-то соседская, из своего прихода.

Здесь во всем любили порядок, строго придерживались старины. Особо москвичи почитали старших (это Шишкин успел заметить). В воскресные дни сыновья и внуки, дальние и близкие родственники съезжались на поклон к своим бабушкам, где обсуждались семейные новости. Здесь собиралась вся московская родня. Родство почитали, знались в четвертом и пятом коленах. Дела дальних родственников воспринимались как свои.

В предпраздничные дни дома служилась вечерня.

На Рождество жители Огородной слободы, нарядные и торжественные, направлялись в церковь, радуясь перезвону колоколов, обилию народа, церковному пению. Вечером, глядишь, из ворот соседней усадьбы выедет гнедой и помчит хозяев на санках в сторону Мясницкой, а там через Лубянку, вниз, к Театральной площади и остановится подле театра, где ставят новую оперу. Но чаще жители слободы, как и все москвичи, ездили на Москву-реку смотреть рысистые бега.

Кончался праздник, и на утро следующего дня воз-

дух оглашался медленными, наводившими уныние ударами колокола.

В ту пору, когда Шишкин поселился в Харитоньевском переулке, живы были старики, помнившие царствование Екатерины Второй. Много, много интересного могли они рассказать о временах минувших, старине древней, московской. Помнили и чтили они и своих соседей, многих из которых, увы, не было на свете. Да и как не помнить, не рассказать о них. Имена-то какие!

В начале девятнадцатого столетия переулки Огородной слободы были истинным художественным и литературным центром Москвы. Судите сами. По Большой Хомутовке, во дворе графа Санти, квартировал известный остроумец Сергей Львович Пушкин с сыном Александром. Рядом с ними жил начинающий поэт Иван Козлов. Чуть поодаль, в своем доме, вдовствующая Е. П. Хераскова, невестка известного писателя, устраивала литературные вечера, а в Малом Козловском переулке, во втором доме налево, жил гостеприимный холостяк и баснописец И. И. Дмитриев.

По замечанию одного из старожилов Москвы, как свои близкие, появлялись и жили здесь историк Н. М. Карамзин, воспитатель наследника поэт В. А. Жуковский, старик Херасков, Измайлов, Воейков, позднее Батюшков и многие другие именитые русские люди.

«У Харитония в Огородниках» родился художник П. А. Федотов. С большой теплотой вспоминал он о родном доме, окруженном густой зеленью старых деревьев.

Появись Шишкин двумя годами ранее в Москве, мог бы увидеть знаменитого художника. С февраля по июнь 1850 года, после долгого отсутствия П. А. Федотов жил в белокаменной. В одном из стихотворных посланий своих он отметил, как радушно встретили его земляки:

...Такая роль,
Как я играл в Москве, не ноль,
Я даже был формально в моде
И не в одном своем приходе —
У Харитонья в Огороде,
За мною гнали все гонцы,
Князья, бояре и купцы,
Вдобавок про меня писали...
. . . . . .
Хоть потихоньку, год от году
Мое уж имя по народу
Разносится с хвалой. Ужель
Бедна, бледна такая цель?

В тот последний свой приезд в древнюю столицу П. А. Федотов близко сошелся с весьма образованным человеком — преподавателем Московского училища живописи и ваяния Н. А. Рамазановым. Удивительный рассказчик, талантливый скульптор привлек внимание Федотова, и кончилось тем, что, по свидетельству современника, они встречались каждый вечер. Н. А. Рамазанов близок был к кружку молодой редакции «Москвитянина», душою которого являлся драматург А. Н. Островский. Благодаря Н. А. Рамазанову Федотов стал вхож в дом Островского. Бывали они и в других домах. 24 февраля 1850 года исследователь московской старины И. М. Снегирев, возвратясь из гостей, сделал запись в дневнике о посещении дома профессора С. П. Шевырева, где в тот вечер «Островский читал свою оригинальную комедию «Банкрут», Федотов казал свою картину «Сватовство майора на купеческой дочери» с объяснением в стихах, а Садовский забавлял своими рассказами... Там были профессоры: Армфельд, Соловьев, Грановский, Варвинский, Погодин, кроме того, Свербеев, Хомяков, Буслаев...»

Читая дневниковую запись, видим: славянофилы и западники еще собирались вместе. Правда, давно меж ними не было прежней дружбы, привязанности. Скорее всего сказывалась вежливость, которая отличала московских профессоров.

Мог ли знать Иван Шишкин, что люди эти в какой-то степени распорядились его судьбой; не будь их, не будь знаменитого спора между западниками и славянофилами о России и назначении ее, неизвестно, какое направление приняло бы Училище живописи и ваяния, учеником которого он стал.

В сороковых же годах А. С. Хомяков, С. П. Шевырев задавали тон в училище. Не обходил вниманием его и М. П. Погодин.

Славянофилы и западники... Некоторые из них жили в соседстве с Шишкиным.

В Малом Харитоньевском переулке, где в доме своего приятеля Н. Г. Фролова с 1851 года жил профессор Московского университета Т. Н. Грановский, теперь частенько собирались западники. Грановский читал всеобщую историю студентам и пользовался популярностью у молодежи.

А у Красных ворот, в доме Елагиных, продолжали собираться славянофилы.

Дом Авдотьи Павловны Елагиной, матери Ивана и

Петра Киреевских, был известен всей Москве своим гостеприимством.

На вечерах у супругов Елагиных любил бывать Н. В. Гоголь, своими считались братья Константин и Иван Аксаковы. Среди гостей можно было увидеть А. С. Хомякова и П. Я. Чаадаева, Ю. Самарина и А. И. Герцена. Н. В. Гоголь читал собравшимся первые главы «Мертвых душ», А. С. Хомяков — свою статью «О старом и новом», Н. Т. Грановский (ранее так часто бывавший в этом доме) — статьи, написанные в свободное время.

«Сколько глубоких мыслей, светлых взглядов было высказано и принято в этом доме», — напишет позже С. Т. Аксаков.

Здесь К. С. Аксаков, как и другие славянофилы, выступал против крепостного права, называя его бесчеловечным, против произвола чиновной бюрократии. Говорилось и рассуждалось о церквах православной и католической, различиях в основании просвещения Европы и России, сложившихся исторически. О том, что если с начала нынешнего тысячелетия в западной церкви преобладало схоластическое в основе своей мировоззрение и центрами богословского образования, как следствие, становились школы и университеты, то Русь избрала самобытный путь приобщения к духовной культуре — центром воспитания и образования стал храм. Здесь приобщались к высотам православной культуры. Храм был школой становления личности.

Началами просвещения Европы надобно считать христианство, проникшее в нее через римскую церковь, древнеримскую образованность и государственность варваров, говорили славянофилы. И напоминали о греческом просвещении, о том, что оно до самого взятия турками Константинополя не проникало в «незапятнанном виде» в Европу и не могло быть ею принято, ибо в течение четырех с лишним столетий сказывалось сильное влияние Рима, римской образованности. В основе ее, полагали они, лежала рассудочная образованность, отрицавшая полноту и цельность умозрения, — то, что приобрели через греческую церковь русские люди.

«Цельность духа, бытия как наследие православия сохранена и по сию пору в нашем народе, особенно крестьянстве», — говорил И. В. Киреевский.

Ему вторил К. С. Аксаков:

«История русского народа есть единственная во всем

мире история народа христианского не только по исповеданию, но и по жизни своей, по крайней мере, по стремлению своей жизни. Поняв с принятием христианской веры, что свобода только в духе, Россия постоянно стояла за свою душу, за свою веру. Запад, приняв католичество, пошел другим путем. И эти пути совершенно разные, разные до такой степени, что никогда не могут сойтись между собою, и народы, идущие ими, никогда не согласятся в своих воззрениях. Все европейские государства основаны завоеванием. Вражда есть начало их. Не то в России...»

Объявлял Европу несостоятельной для удовлетворения высших требований человеческой природы, для успокоения религиозной жажды народов А. С. Хомяков. Ей предназначались, по его мнению, естественные и финансовые технические науки, промышленные изобретения, успехи в тех областях, которые способствовали материальной стороне существования. Она осуждалась им на развитие комфорта.

Благосостояние Европы растет в ущерб все более грубеющему нравственному смыслу ее, замечал он.

Русское общество послепетровских времен славянофилы находили несостоятельным потому, что оно стало жить жизнью, чуждою для простого народа.

Мысли эти раздражали некоторых западников, и в печати появлялись резкие отповеди. Кавелин, не рискуя получить достойный ответ, называл русский народ «Иванушкой дураком». Ему вторил Антонович.

Истины ради надо сказать, крайности такого рода большинством западников отрицались, но, как заметил историк прошлого столетия, «единство принципов производило на них свое «действие».

Получив европейское образование, многие из них мыслили по-европейски. Впрочем, кругом в России господствовал полный европеизм: общехристианство, идеалы европейские — консервативные, либеральные, переводы на русский язык французских кодексов, административные нововведения на французском языке. Лишь православные священнослужители, получившие образование на основе Славяно-греко-латинской академии, были близ народа. О роли их в пробуждении национального самосознания должно сказать добрые слова, не забывая при этом, сколь распространены были на Русской земле иезуитские пансионы, масонские ложи, школы протестантов. Характеризуя эти годы и состояние русского общества,

К. Леонтьев писал: «Удаленный от высшего сословия, нисколько не сходный с ним ни в обычаях, ни в одежде, ни в интересах, страдавший от самовластья помещиков и неправосудия чиновных властей, народ наш встречался с европеизированным дворянином, как соотечественником, только на поле битвы и в православной церкви». И добавлял: «Итак, если не брать в расчет переходные оттенки, а только одни резкие крайности, то вообще можно было разделить русское общество на две половины: одну, народную, которая ничего, кроме своего русского, не знала, и другую — космополитическую, которая своего русского почти вовсе не знала.

Считая дворян и чиновников почти нерусскими за их иноземные формы, народ и не думал подражать им и, упорно сохраняя свое, глядел на нас нередко с презрением».

— Наш безграмотный народ более, чем мы, хранитель народной физиономии, — слышалось в салоне Елагиных. — Дворянство, получив из рук Екатерины Второй власть, воспитанное на основе просвещения европейского, французского, далекого от идей России, принялось разносить в провинции мысль о спасительности европейской цивилизации. А ведь Карамзин недаром усомнился в надеждах на век просвещения, и, погрузившись в русскую историю, вынес оттуда драгоценное предчувствие национальных начал.

Западники же были твердо убеждены в следующем: в нашем прошедшем нет ничего своего культурного, всем лучшим русские обязаны Западной Европе.

Такие люди, как П. Я. Чаадаев (в первой половине своей жизни), Мартынов, Герцен, приходили к совершенному отрицанию русской культуры, для пересоздания ее обращались к Западной Европе, даже совсем уходили в нее, как Мартынов — в иезуитство, Герцен — в среду революционеров. Им, по замечанию К. Леонтьева, недоставало истинного понятия о национальности. Во многом их мысли созвучны были тем, что развивались в аристократических салонах Запада: Россия не только гигантски лишний, громадный плеоназм *, но даже положительное, весьма трудно преодолимое препятствие к развитию и распространению настоящей общечеловеческой, то есть европейской или германо-романской, цивилизации.

О характерных мыслях, вынашиваемых в среде европейских идеологов, писал Н. Я. Данилевский: «Если

* Плеоназм — излишество.

Русь, в смысле самобытного славянского государства, есть препятствие между европеизмом и гуманитарностью и если нельзя притом, к сожалению, обратить ее в tabuba rasa * для скорейшего развития на ее месте истинной европейской культуры, pur sang **, то что же остается делать, как не ослаблять то народное начало, которое дает силу и крепость этому общественному и политическому организму? Это жертва на священный алтарь Европы и человечества».

Славянофилы, напомним, нашли основную силу внутренней правды в русской земельной общине, в которой все связаны узами взаимной поддержки, «где дарование, счастие, личные интересы добровольно подчиняются общему благу, то есть где царствует внутренняя правда, выражающаяся внешним образом в народных обычаях и сходках». Ее они и считали той ячейкой, из которой развилась русская государственность и вся наша историческая жизнь.

«Простой народ есть основание всего общественного здания страны, — писал К. Аксаков. — Источник общественного благосостояния и источник внешнего могущества, источник внутренней силы и, наконец, мысль всей страны пребывает в простом народе».

«И для России трагедия заключается в том, — говорил он, — что с петровских времен произошел отрыв верхов от народа. Противоречия, возникшие между ними, начавшие развиваться с начала осьмнадцатого века, ведут к катастрофе».

У Елагиных же в салоне говорилось о том, что со времен Петра, по воле его Россия раздвоилась. Низы продолжали жить прежней жизнью, с ее идеалами и святостью, а верхнее сословие постепенно, под влиянием нахлынувших иностранцев, чаще всего ненавидевших Россию и преследовавших корыстные интересы, таких, как Франц Лефорт, Патрик Гордон и др., все более становилось космополитическим.

Да, жаркие споры разгорались, когда славянофилы и западники принимались рассуждать о петровских преобразованиях, роли самого императора в судьбе России, об отношении России к Западу, путях развития родной страны. Мысли высказывались противоположные, и становилось понятным, что разрыв между недавними друзьями неизбежен.

* Чистая доска (лат.).
** Чистая кровь (фр.).

Западники возвеличивали Петра Первого, убеждая, что он своей волей, умом, деятельностью неутомимой вывел Россию на европейскую дорогу, приобщил к общеевропейской цивилизации. Из варварской, по их понятиям, Россия превращалась в развитое государство. Они говорили славянофилам:

— Нападая на просвещенный Запад, вы принижаете себя. Не великим ли итальянцем построен Кремль, не немцы ли многое сделали для России в науке, искусстве? Не европейский ли абсолютизм, утвердившийся в России с петровских времен, выдвинул Россию в ряды цивилизованных стран.

Славянофилы утверждали, что петровские реформы нарушили естественный ход развития Руси, сдвинули ее с национального, самобытного пути, отличавшего ее от стран Европы.

— Неразборчивое усвоение чужого дало излишнее господство иноземцам и подорвало одну из важнейших основ для охраны народной самобытности, — чувство и сознание своей народности, — говорили они.

Профессор М. О. Коялович, которому не чужды были мысли славянофилов, через несколько лет, как бы в развитие их мыслей, писал:

«Русская историческая жизнь выработала ясное, всеобъемлющее указание на... границу между своим и чужим, — именно православие. — Но известно, как легкомысленно и безрассудно Петр оскорблял и унижал это русское историческое начало в первую половину своего царствования. Его шутовские религиозные потехи оставляют несомненное доказательство, что Петр был жертвою иноземных интриг против православия. Потом Петр понял свою ошибку и строго охранял православие, даже подчинил иноверное духовенство св. синоду. Но ошибка уже была сделана, и последствия ее больше и больше вторгались в русскую жизнь».

Нельзя было, рассуждая об отмене патриаршества Петром Первым, принижении общественного положения священнослужителей, секуляризации церковных имуществ и т. п. в период правления Екатерины Второй, видя усиливающееся влияние католической и протестантской церквей, не прийти к мысли, что кто-то планомерно стремился подчинить Россию своему влиянию, лишить ее самостоятельности, что все эти иезуитские школы и пансионы, возникающие, как грибы после дождя, масонские ложи, в которые принимались высшие сановники, преследовали одну, далеко идущую цель — низвергнуть Россию.

Кому-то нужно было лишить русских их веры, их идеологии, лишить национальных начал, ибо известно, основу каждой нации составляет ее идеология, для русских это — православие.

Размышляя над мрачными событиями русской жизни, когда во времена правления Анны Иоанновны засилье иностранцев было столь велико, что впервые возникла опасность стирания с лица земли Русского государства, когда к власти приходили лица, откровенно ненавидящие русских людей и использующие их труд, их самих как сырье для своих нужд, нельзя было не думать о том, что все это являлось итогом петровских преобразований.

Эксплуатируя русский ум, русскую совесть и сердце, иностранцы поглощали и материальные средства, и силы России.

Немудрено было в таких условиях дворянину и нигилисту, черпающим свое образование из чужого источника и считающим все национальное бедным и ничтожным, подзабыть, что в «неразвитой» «темной» России, в ее древней русской словесности такие богатства, о которых Европе приходилось мечтать. Так, когда в самой Англии и Франции не существовало литературы, в России уже были шедевры словесности.

И стоило С. П. Шевыреву начать говорить о том в публичных лекциях в университете, как среди противников славянофилов поднялся настоящий переполох.

Наш нигилизм, нигилисты хотели вопреки всему, чтобы Россия была «plus européene que e'Europa» * — замечал современник.

О том же писали журналы, особенно петербургские: «Отечественные записки», «Современник». Западники всячески чернили славянофилов.

Тот же Грановский (по словам друга его юности Григорьева, как профессор он был лишь «вдохновенный актер истории» и как ученый не отличался ни самостоятельностью, ни оригинальностью, являлся «почти совершенно пассивным передатчиком усвоенного материала, не судьею дела, а докладчиком фактов и выработанных другими воззрений на них») писал с возмущением одному из своих адресатов: «Ты не можешь себе вообразить, какая у этих людей философия. Главные их положения:

* Более европейской, чем сама Европа (фр.).

Запад сгнил, и от него уже не может быть ничего; русская история испорчена Петром. Мы отрезаны насильственно от родного исторического основания и живем наудачу; единственная выгода нашей современной жизни состоит в возможности беспристрастно наблюдать чужую историю; это даже наше назначение в будущем; вся мудрость человеческая истощена в творениях св. отцов греческой церкви, писавших после отделения от западной. Их только нужно изучать: дополнять нечего, — все сказано. Гегеля упрекают в неуважении к фактам. Киреевский говорит эти вещи в прозе. Хомяков — в стихах. Досадно то, что они портят студентов; вокруг них собирается много хорошей молодежи и впивают эти прекрасные идеи... Славянский патриотизм здесь ужасно господствует: я с кафедры восстаю против него, разумеется, не выходя из пределов моего предмета, за что меня упрекают в пристрастии к немцам. Дело идет не о немцах, а о Петре, которого здесь не понимают и неблагодарны к нему».

В пылу полемики профессор как бы забывал, что славянофилы вовсе не отрицали реформ Петра, наоборот, считали этот процесс естественным и необходимым для России. Говорилось о другом, что засилье немцев в Петровскую и послепетровскую эпоху отрицательно сказывалось на развитии русских начал в Русском государстве.

Славянофилы утверждались все более в следующей мысли: народ в удалении своем сохранил нам то полносочие, которым мы можем изумить весь мир, если сумеем им воспользоваться. Обычная сторона русских земельных общин, которая получила у них такое важное значение, повела к изучению народных песен, былин, поговорок и пословиц, вообще к изучению народной поэзии. Не без их влияния все чаще в среде русской интеллигенции начали раздаваться слова: народность, национальность, своеобычие, православная церковь.

«В то время, когда в Петербурге издатели «Современника» восхищали страстную, но оторванную от народной почвы молодежь и изумляли даже весьма умных провинциалов, которые не могли постичь, за что они все бранят и чего им хочется; в то время, когда кроткий Михайлов печатал свои кровавые прокламации, советуя в них идти дальше французов времен террора, и Бога звал «Мечтой», в Москве являлись «Парус», «День» и «Русская беседа» — славянофилы из старинных мечтателей обратились в людей-утешителей, в людей «положительного

идеала посреди этой всеобщей моды отрицания», — писал К. Леонтьев.

Мысль о необходимости создания истинно русских школ блуждала в обществе. Болеющие за будущее России понимали, каков истинный смысл преследовал государь Александр Павлович, открывая Царскосельский лицей: как государственный муж он осознавал, к чему может прийти Россия, если у кормила власти будут люди, получившие образование в иезуитском колледже или масонской ложе, именно иезуиты с яростью накинулись на него за желание его, осознанную мысль открыть лицей — истинно русскую высшую школу, дабы руководили Россией в будущем люди, воспитанные по-русски. Теперь нужны были школы для низов. Народ, сохранивший свое богатство в недрах своих, должен научиться выразить его, — такова должна быть цель у русской школы.

«Жизненное начало утрачено нами, но оно утрачено только нами, принявшими ложное полузнание по ложным путям, — размышлял в эти годы А. С. Хомяков. — Это жизненное начало существует еще цело, крепко и неприкосновенно в нашей великой Руси... несмотря на наши долгие заблуждения и наши, к счастью, бесполезные усилия привить свою мертвенность к ее живому телу... Жизнь наша цела и крепка. Она сохранена, как неприкосновенный залог, тою многострадальною Русью, которая не приняла еще в себя нашего скудного полупросвещения. Эту жизнь мы можем восстановить в себе: стоит только полюбить искреннею любовию».

И Училище живописи и ваяния попало в поле зрения А. С. Хомякова не случайно, ибо понимал он: научи выходца из народа технике живописи, дай ему образование, и сможет тогда он выразить себя, среду, из которой вышел, — и в художестве наступит новая эпоха, и оно перестанет влачиться бессильно по стезе рабского подражания, а станет выражать свободно и искренне... идеалы красоты, таящиеся в душе народной.

— Художник не творит собственно своею силой: духовная сила народа творит в художнике, — повторял он. — Вопрос, к которому привели нас требования художественной русской школы, очень важен: это для нас вопрос о жизни и смерти в самом высшем значении умственном и духовном.

Со всею любовию, страстью принялся А. С. Хомяков за работу в училище, членом Совета которого он стал.

О влиянии А. С. Хомякова, С. П. Шевырева и других

славянофилов на окружающих можно судить по речи гражданского губернатора Москвы И. Г. Сенявина, прозвучавшей в художественном классе 5 декабря 1843 года и посвященной утверждению устава и преобразованию художественного класса в Училище живописи и ваяния.

— Все просвещенные народы мира имеют счастье наслаждаться у себя изящными произведениями искусства, выражающего их народный дух и характер, — говорил И. Г. Сенявин. Россия также гордится на Западе именами известных миру русских художников. Были прекрасные усилия некоторых внести в наше искусство народные стихии. Но, конечно, в этом отношении всего более может содействовать Москва, где и физиономия народа, и памятники древности, и исторические воспоминания — все, все призывает изящное к новому раскрытию.

Переняв через северную столицу сокровища западного художественного образования, Москва может быть назначена к тому, чтобы дать ему свой национальный характер. В талантах у нас нет недостатка, как доказал десятилетний наш опыт при ограниченности средств: красота русского народа, его живописная грация и пластическая сила прославлены нашими поэтами и ожидают резца ваятеля и кисти живописцев; русская природа вмещает в себе все климаты мира, яркие краски севера, мягкие переливы красок природы южной; для ландшафтного мастера у нас есть все переходы — от зимнего холодного неба до знойного неба полудня, — а наша живописная Москва, раскинувшаяся такими картинами по своим холмам и скатам, не ждет ли своих народных живописцев? Конечно, мы теперь еще должны учиться и класть первые основания искусству; по мере распространения сил Общества от нас будет зависеть приглашение отличных художников отечественных или иностранных селиться у нас в Москве, наблюдать красоту русской природы и русского человека, живописать и ваять ее и образовывать те русские таланты, которые, конечно, есть в народе, но скрываются теперь без всякого развития. До того, правда, еще далеко; но приятно, однако, мне выразить вам свои предчувствия и мысль, которая должна побуждать нас к неусыпной деятельности».

Речь И. Г. Сенявина не однажды вызвала аплодисменты. Мысли, изложенные в ней, были близки основателям училища. Каждый из них мечтал о создании искусства,

которое носило бы ярко выраженный национальный характер.

Вспомним, сколько знаменитых художников дало это московское учебное заведение, порожденное общей заботой русских людей о возрождении национального в искусстве, в обществе. Саврасов, Перов, Пукирев, братья Маковские, Шишкин, Прянишников, Нестеров, Коровин, Левитан...

* * *

Возникло училище из Натурного класса, учрежденного художниками-любителями в 1832 году. Инициатива образования Натурного класса принадлежала Егору Ивановичу Маковскому. Не однажды в разговоре с Александром Сергеевичем Ястребиловым (тот учился в Академии художеств) он обращался к мысли, что пора основать Натурный класс. «Как бы было хорошо, — говаривал он, — порисовать с натуры!» Оба осознавали всю важность «этого основательного изучения в искусстве живописи». Загорелся их идеей и Николай Аполлонович Майков (отец известного поэта). Он в ту пору открыл на Тверской литографическое заведение и намеревался выделить место в своей квартире для занятий живописью. Но желание его не осуществилось. Поразмыслив, Ястребилов предложил собираться у него. Жил он на Ильинке, у церкви св. Николая Большого Креста.

В месяц все образовалось. Собрали деньги. У Зейнлена заказали лампу пудов в восемь весом. Нашли и натурщика. Малый служил в банях, у Каменного моста. Звали его Федором. Предложение художников принял, но пытал их: «Не бесчестно ли это будет?» Ему отвечали, нет. Наконец уговорили. Начались вечеровые классы. Не все гладко на первых порах пошло у художников. Начать с того, что однажды их гордость — увесистая лампа, худо укрепленная, рухнула на пол и чуть не пришибла любителей искусства. С юмором описывая этот эпизод из истории московского училища, Николай Александрович Рамазанов, записями которого мы уже не раз воспользовались, так отозвался о милых его сердцу людях: «Будь суеверны эти господа, они видели бы в этом падении предзнаменование неудачи их предприятия; но, как вполне умные люди, они снова укрепили лампу и продолжали свои занятия, никак не думая, что их натурный класс со временем разрастется не только в Училище, но, может быть, и в Академию».

Назовем их — художников и любителей, которым Училище живописи и ваяния обязано своим возникновением: Егор Иванович Маковский, Александр Сергеевич Ястребилов, Федор Яковлевич Скарятин, скульптор Иван Петрович Витали, Василий Степанович Добровольский...

Занятия художников происходили по вечерам. Наглухо занавешивались окна, включалась лампа, натурщик скидывал одежду, занимал позу. Слухи о таинственных собраниях в доме Ястребилова, на Ильинке, не могли не взволновать полицию. Да и как же иначе? На памяти у всех были таинственные масонские сборища, приведшие к декабрьскому восстанию на Сенатской площади. Неужто вновь собираются?! Было, было о чем подумать стражам порядка.

Дабы предупредить непредсказуемые действия полиции, Ф. И. Скарятин, бывший адъютантом у московского генерал-губернатора, князя Д. В. Голицына, пригласил его на выставку работ художников, занимающихся в Натурном классе. «Следствием посещения князем Д. В. Голицыным первой в Москве выставки явилось то, — пишет Рамазанов, — что вслед за этим бывший начальник кремлевского Архитектурного училища, Дмитрий Михайлович Львов, предложил Натурному классу 2000 рублей ассигнациями в год с тем, чтобы лучшие ученики, бывшие под его начальством, посещали класс».

Впрочем, словно рок какой преследовал художников. Едва перебрались с Ильинки в дом Щапова на Лубянке, — приключился пожар. (Погибла единственная статуя Фавна, служившая художникам). Переехали на Дмитровку, в дом Павлова (здесь они устраивали даже первые серьезные выставки), но опять различные обстоятельства вынудили искать новое пристанище. Тогда они остановили выбор на доме Махова, что на Никитской улице.

Мытарства художников закончились лишь в 1843 году, когда император Николай Павлович утвердил устав Училища живописи и ваяния. По одной из легенд, И. Г. Синявин представил в своем первом проекте на высочайшее утверждение императору основание не училища, но Академии художеств в Москве. На что государь отвечал: «Двух академий в государстве быть не может». Сенявин осмелился было возразить, полагая, что для такого государства, как Россия, со временем мало будет и двух академий. Государь, милостиво выслушав его, ответил: «Со временем — может быть, а теперь устрой училище».

Класс стал называться Училищем живописи и ваяния. Официально было объявлено, что задумано училище с тем, чтобы дать возможность получить в нем художественное образование талантливым молодым людям, имеющим тягу к живописи, живущим в разных концах России. Одаренные дети крепостных крестьян могли в случае получения ими медали или звания художника получить вольную.

Отныне согласно уставу Училищем живописи и ваяния руководил Совет, в который входили члены Московского художественного общества. Правда, звание художника и право награждать имела только Академия художеств.

О социальном составе учеников можно судить по отчету училища за 1856 год:

14 детей военных и гражданских чиновников; 52 — из штабс- и обер-офицерских семей; 8 — из духовного звания; 43 — из купеческого; 6 иностранцев, 195 — из мещан; 23 — из цеховых; 8 — из воспитанников Московского воспитательного дома; 15 — из экономических и государственных крестьян; 4 — из дворовых; 3 — из вольноотпущенных; 22 — из крепостных. «Характер училища, — писал один из преподавателей, — имел вид братства, несмотря на разность званий».

«Все мы съезжались почти в один день не только из разных уголков и закоулков Москвы, но, можно сказать без преувеличений, со всех концов великой и разноплеменной России, — писал В. Г. Перов. — И откуда только у нас не было учеников!.. Были они из далекой и холодной Сибири, из теплого Крыма и Астрахани, из Польши, Дона, даже с Соловецких островов и Афона, а в заключение были и из Константинополя. Боже, какая, бывало, разнообразная, разнохарактерная толпа собиралась в стенах училища!»

Перелистаем «Конспект преподавания в Училище живописи и ваяния, относительно живописи и вспомогательных к ней предметов», дабы ознакомиться с тем, какие предметы надлежало освоить ученику Ивану Шишкину за годы обучения.

Училище имело четыре класса.

«Класс первый.

Рисуют отдельные части тела человеческого, а потом и целые фигуры, с лучших оригиналов.

Класс второй.

1. Рисуют с лучших эстампов во всех родах живописи

с той целью, чтобы по наклонностям и успехам определить род живописи, какой избрать намерены.

2. Чертят с античных гипсовых частей и голов с легкою прокладкой теней и даже без оных.

3. Рисуют с гипсовых голов, обращая при этом внимание не на одну только правильность контуров, но и на окончательную отделку.

4. Преподавание архитектуры с орнаментами.

Класс третий.

1. Чертят с образцовых эстампов в тех родах живописи, какие уже по успехам 2-го класса учениками избраны. Потом рисуют тушью планами и в два карандаша на цветной бумаге.

2. Чертят с целых античных гипсовых фигур с прокладкою теней и даже без оных.

3. Рисуют с античных гипсовых фигур, обращая при том внимание не на одну только правильность их, но и на окончательную отделку с соблюдением эффекта.

4. Преподавание архитектуры с орнаментом.

Класс четвертый.

1. Рисуют с натуры в тех родах, каким кто себя посвятил.

2. Копируют с лучших картин масляными красками.

3. Пишут масляными красками с натуры, с поставленных моделей необнаженных.

4. Пишут масляными красками с академических фигур обнаженных.

5. Занимаются пейзажной живописью.

6. Преподавание перспективы.

7. Преподавание анатомии».

Согласно примечанию, в 4-м классе ученики должны были сочинять эскизы на заданные сюжеты у себя на дому. Каждый был обязан представить эскиз в месяц. По ним решалась возможность ученика поступить в конкурс, чтобы сделаться художником.

Надо ли говорить, что значило для елабужанина поступление в училище.

По утрам отправлялся на Мясницкую, в дом Юшкова, в котором располагалось училище. Юшков, говорили, был масоном, человеком богатым. Сын его слыл в Москве необычайным хлебосолом. Рассказывали, однажды он устроил у себя на даче, около Новодевичьего монастыря, трехнедельный бал, вследствие чего остановилась работа на ближайших фабриках, ибо рабочие все ночи толпились

у юшковской дачи, а монахини, вместо заутрени, взбирались на монастырские стены — смотреть фейерверки, слушать музыку и цыганское пение...

В училище новички приходили загодя, спешили в классы и ждали преподавателей.

Отворялась дверь, и входил Аполлон Николаевич Мокрицкий — преподаватель портретной живописи. Было ему немногим более сорока. Роста невысокого, с усами и клочком темных волос под нижней губой, с длинными волосами и хохолком на лбу, вспоминал В. Г. Перов. Чем-то напоминал он артиста и немного Карла Брюллова. Говорили, что он человек весьма образованный, кончал лицей и был в дружеских отношениях с Гоголем, с которым учился в Нежинской гимназии.

Интересная была личность Аполлон Николаевич — малоросс, говорливый и горячий поклонник искусства. Когда-то служил чиновником и не обнаруживал никаких талантов, но наслышался об удивительных дарованиях и славе Брюллова, бросил службу и сделался покорнейшим учеником своего профессора. Тот сочувственно отнесся к ученику, приблизил к себе. О Карле Брюллове Мокрицкий говорил с благоговением. Он умел увлечь слушателей рассказами. Живость беседы так увлекала, что само собой забывалось о его недостатке — заикании.

Дело доходило до того, что некоторые из учеников, подпав под обаяние Мокрицкого, подражая учителю, начинали заикаться в разговоре!

Аполлон Николаевич недавно вернулся из Италии. Прожил он там несколько лет, был дружен со многими русскими и итальянскими художниками, о которых рассказывал, прохаживаясь по классу и поглядывая на холсты учеников. Мокрицкий мог говорить часами.

Но ближе Ивану Шишкину этот человек стал после слов, сказанных им на одном из занятий. Задумавшись, как-то необычно тихо, Аполлон Николаевич заговорил о сокровенном, наболевшем:

— Кто хочет быть истинным, то есть великим художником, тот должен последовать Христу — взять крест и нести его; отречься от благ мирских и любить искусство, если б даже пришлось и умереть за него. Желающий быть художником должен сделаться полным фанатиком, человеком, живущим и питающимся одним искусством и только искусством. (Записано В. Перовым. — *Л. А.)*

Как это было созвучно мыслям Шишкина, который еще в Елабуге записал в тетрадь: «Посвятить себя живописи — значит отказаться от всяких легкомысленных занятий жизни».

У Ивана Ивановича с самого начала обучения в училище был сложившийся взгляд на роль и назначение художника. Требовательный к себе, он считал необходимыми свойствами художника трезвость, умеренность во всем, любовь к искусству, скромность, добросовестность и честность. Увидев эти качества в Мокрицком, Шишкин потянулся к нему. Он искал общества его.

Аполлон Николаевич родился на Украине в семье скромного пирятинского почтмейстера, в 1810 году. Матушка его имела тягу к рисованию и рукоделию. Чрез нее и перенял сын любовь к искусству. Небогатые родители постарались дать хорошее образование сыну. В Нежине, на средства, завещанные князем А. А. Безбородко, была открыта гимназия. В эту гимназию и поступил Аполлон Мокрицкий. Среди учеников были Николай Васильевич Гоголь, А. С. Данилевский, Е. П. Гребенка...

По окончании ее Мокрицкий выехал в Петербург. Но денег на учение не хватило, и, вынужденный искать работу, Мокрицкий обратился в департамент горных и соляных дел, где имелось место канцеляриста. Занятие оказалось скучным, не для души и тяготило Аполлона. Через некоторое время он расстался с департаментом и определился писарем при журналисте экспедиции ссудной казны Санкт-Петербургского опекунского совета, но и здесь ему было не по себе. Одна радость — начал посещать Академию художеств, где зачислили его «посторонним учеником». В то время случаю угодно было свести его с А. Г. Венециановым. Живопись увлекла его. Но денег на учебу не было, пришлось возвратиться в Пирятин.

Лишь осенью 1830 года приехал он в Петербург, имея теперь твердое намерение посвятить жизнь живописи. Судьба в этот раз благоволила ему. Аполлону начал покровительствовать влиятельный человек — конференц-секретарь Академии художеств В. И. Григорович. Объяснялось это просто: родители В. И. Григоровича были соседями стариков Мокрицких в Пирятине. Бывая в доме у конференц-секретаря, Мокрицкий вскоре смог познакомиться со многими интересными людьми, среди которых были профессор петербургского университета П. А. Плетнев, художник В. И. Штернберг, И. К. Айвазовский. Вежливо раскланивался с ним и вице-президент Академии художеств Ф. П. Толстой.

Некоторые знакомства перерастали в дружбу. Как родного сына полюбил Мокрицкий молодого художника В. Штернберга. А когда тот умер, Мокрицкий сберег его бесценные рисунки и этюды.

Об удивительном прекраснодушии Мокрицкого свидетельствует рассказ Н. А. Рамазанова, который писал:

«Мы узнали кое-что об отношениях А. Н. Мокрицкого к Трутовскому, — писал Рамазанов. — Да простят нам и тот и другой художник нашу нескромность, которая, полагаем, должна быть извинительна в лице летописца художеств, желающего сохранить все прекрасное в отношениях художников. В нынешнее время так редко можно встретить братские отношения между ними, какие существовали прежде; отношения эти были порождаемы высокою и чистою любовию к искусству, связывавшею в одну радушную общину, в одно доброе семейство поклонников прекрасного; а ныне приходится подстерегать и подмечать прекрасные порывы в художниках; и потому с особенным удовольствием сообщаю о следующем поступке истинно просвещенного преподавателя живописи при нашем училище... Трутовский, по свойству своего таланта, сближается с деятельностью столь любимого всеми В. И. Штернберга... Домашние обстоятельства приковали молодого художника к Обояни (Курской губернии); а желание учиться искусству в нем, кажется, сильнее самого желания жить; как быть, где взять образцов, с чего учиться, к кому обратиться? И Трутовский встречает в А. Н. Мокрицком человека, вполне и горячо сочувствующего не на одних словах, но и на деле. Целые альбомы рисунков и этюдов Штернберга, в числе которых много карандашных, составляют собственность Мокрицкого и исподволь пересылаются Трутовскому по почте, дабы последний учился с них, и возвращаются обратно. Нужно сознаться, что не всякий из нас, обладающий драгоценными рисунками незабвенного Василия Ивановича, решится на это, а потому нельзя не принести душевной благодарности А. Н. Мокрицкому за то участие в образовании молодого художника, имя которого обещает стать рядом с именами Штернберга и Федотова». Впрочем, здесь пора остановиться и возвратиться назад, чтобы не опережать далее события.

С конца 1835 года Мокрицкий — пенсионер Академии художеств. На жизнь зарабатывал писанием заказных

портретов, тяги к которым особенно не испытывал. Давал также уроки живописи, на что уходило много драгоценного времени.

Всякую свободную минуту читал о жизни великих художников: Рафаэле, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Дюрере.

Размышляя о собственной жизни, записывал сокровенное:

«Вот мое желание: достигнуть в живописи значительного успеха и основать школу в Малороссии, именно Пирятине, если обстоятельства тому будут благоприятствовать, жениться и устроить свою жизнь для пользы отечества, и именно в Малороссии... Пусть буду лучше прост, но добр, беден, но честен и независим».

В конце мая 1836 года после длительного пребывания за границей вернулся в Россию Карл Брюллов. Восторженный Мокрицкий («Я занимаюсь живописью, люблю мое искусство выше всего в мире, высоко чту память великих мужей, явивших чудеса в искусстве, поклоняюсь их бессмертным творениям»), благодаря Григоровичу стал учеником портретного и исторического класса Академии художеств, который возглавил Брюллов.

Карл Павлович отметил привязанность ученика и приблизил к себе. Мокрицкий стал вхож в дом Брюллова. С «великим Карлусом» (так называл его Аполлон Николаевич) он на совместных прогулках, в поездках к друзьям. («Время пребывания моего у Брюллова было счастливейшим в моей жизни... Каждый день я встречал с восторгом... входил в его мастерскую, как в святилище».)

Академию художеств Аполлон Мокрицкий закончил, получив звание «свободного художника». Поездка за границу ему не досталась. Пришлось вернуться в Пирятин, приняться за черновую работу, чтобы скопить денег на поездку в Италию.

Два года напряженной работы позволили собрать нужную сумму, и он выехал в Европу, где провел восемь счастливых лет. А возвратившись в 1849 году в Россию, получил звание академика за портрет преосвященного Никанора, митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского и другие «известные академии работы» и вскоре был приглашен преподавателем московского Училища живописи и ваяния. Мечта о школе, учениках начинала осуществляться. И сколько учеников его станут известными всей России. Среди них Шишкин — ученик любимейший.

— Лю-лю-безнейшие, — говорил ласково Мокрицкий, расхаживая по классу, — без изучения работ великих мастеров невозможно, невозможно, запомните, прийти к чему-то разумному и изящному. — Аполлон Николаевич умолкал и, поразмыслив, едва ли не победно продолжал: — Карл Брюллов, великий Карл мало беседовал со святыми угодниками, но натуру изучил до мельчайших подробностей, мельчайших. От себя писать запрещал под страхом смерти...

Иной раз, в конце урока, говорил:

— Пожалуйте-ка, милостивый государь, ко мне. Есть у меня рисуночки из «Страшного суда» Микеланджело. Поработайте с ними, скопируйте что-нибудь, весьма и весьма поможет...

Ученики любили его слушать. Увлекались рассказами о великих мастерах и далекой Италии.

О живописности разговорной речи Мокрицкого косвенно можно судить хотя бы по такой дневниковой записи (сделанной 31 мая 1837 года): «Россию проехал я без особого чувства: бедность природы, незанимательность предметов — дождь, грязь, редко хорошая погода — все это гнало мои мысли вперед. Однако ж не буду неблагодарен, были минуты истинно приятные — свежий воздух, восход и заход солнца, лесистые места восхищали меня и моего доброго товарища, но истинно поэтическое удовольствие испытали мы от второй станции, по выезде из Калуги. Чудесный вечер, лес и овраги, лихая тройка, молодец-ямщик и особенно приятный звон колокольчика расположили души наши к необыкновенно сладким ощущениям».

Несмотря на то, что в училище преподавал портретную живопись, сам он явно испытывал тягу к живописи пейзажной. Знакомство с работами М. Лебедева родило сильное желание обратиться к ландшафтной живописи.

Шишкин вместе с другими учениками начал бывать в доме Мокрицкого. По совету Аполлона Николаевича скопировал все рисунки Штернберга, перерисовал коллекции Ландези и Куанье.

Молчаливому елабужанину любопытно было послушать человека знающего, видевшего много. Иногда Аполлон Николаевич рассказывал о том времени, когда в Петербурге они с Гоголем жили в одной квартире, возле Кокушкина моста.

Николай Гоголь был любимым писателем Шишкина. Много позже, в 1890 году, двоюродный брат Шишкина

напишет Ивану Ивановичу: «...А вот более интересное, что мне невольно пришло в голову при созерцании твоего «Парка», это увлечение, с которым мы читали с тобою в «Мертвых душах» Гоголя описание плюшкинского сада... Мне кажется, если бы ты с таким детским пафосом мог теперь отнестись к строкам этого блестящего описания, в котором, я помню, фигурирует «Клен широколистый», «сплетенные ветви запущ(енного) дерева» и знамени(тый) штамп — надломленной грозой «березы»... Эта иллюстрация поэтических строк Гоголя по мере удачи, в руках такого пейзажиста, как ты, мне кажется, могла бы быть значительным произведением!!!..»

Мог рассказывать Мокрицкий и о Пушкине, с которым встречался на вечере у Плетнева.

Показывая ту или иную работу, Аполлон Николаевич обязательно давал пояснения, весьма порой любопытные.

— Вот, лю-лю-безнейший, — говорил он ученику, — этюд, написанный Штейнбергом. Запомни фамилию этого талантливого художника. А написан он у подошвы Везувия. Голодные мы сидели, под ложечкой посасывало у обоих, а насыщались мы разговорами об искусстве. А вот это, — он доставал рисунок Карла Брюллова, на котором Мокрицкий изображен был с ослиными ушами, — работа несравненного Карлоуса. Озорной, веселый был человек.

Под конец вечера он отдавал несколько рисунков из «Страшного суда» для изучения.

Мокрицкий имел на Шишкина большое влияние. Мнением его Иван Иванович дорожил особо, даже окончив Академию художеств.

Историческую живопись преподавал Михаил Иванович Скотти, он же и инспектор училища. Ученики побаивались его.

«Итальянец по крови, полный брюнет, высокого роста, гордый (по крайней мере с виду), чрезвычайно красивый и солидный, всегда в черном бархатном пиджаке, в безукоризненном белье, в мягких, точно без подошв, сапогах, он проходил по классу как Юпитер-громовержец или, по крайней мере, римский император... заложив за спину руки, медленно, торжественно подходил он к какому-либо ученику, молча смотрел на его работу и так же молча, отвернувшись, без слова, без звука, проходил дальше...

Величайшая похвала из уст его была:

— Гм, гм! у тебя идет!.. это недурно!.. Продолжай!..

Но иногда он удостаивал и следующими замечаниями:

— Убавь посу... Подними глаз! — Или: — Срежь подбородок!..»

Как замечал В. Г. Перов, отрывки из воспоминаний которого приведены на этой и предыдущих страницах, — это все, что слышали от него ученики.

Были у него и любимые ученики, но, как Мокрицкий, об искусстве с ними не разговаривал. Иногда рассуждал об образáх. Он писал их для Конногвардейского собора в Петербурге. Работы было много, и Скотти частенько пропускал утренние классы. И все же Шишкин, как и другие ученики, уважал его.

Вступив в должность преподавателя в ноябре 1848 года, Михаил Иванович начал ратовать за то, чтобы в летние месяцы учеников «заставлять писать с натуры воздух, деревья, строения, виды и др. для познания околичностей».

Он слыл, еще со времен обучения в Академии художеств, великолепным акварелистом. Но, несмотря на свое мастерство, художником, в высоком значении этого слова, его нельзя назвать. Нечто рассудочное, холодное проглядывало в его картинах. Возможно, сказывались недостатки академической выучки. Сказывались они и на его преподавательской деятельности.

В тот год, когда Шишкин начал посещать классы училища, Скотти сделал попытку выйти в отставку. Он даже подал прошение, мотивируя необходимость выхода из Училища живописи и ваяния получением большого заказа, требующего времени и длительных отлучек в Петербург. Однако московский генерал-губернатор А. А. Закревский, ознакомившись с прошением, сумел убедить Михаила Ивановича остаться на преподавательской работе. Закревский, как и положено консерватору, во всем любил незыблемость, спокойствие. Скотти уступил, но ненадолго. В 1855 году, ввиду болезненного состояния, он вновь подаст прошение об отставке. На этот раз оно будет принято. Закревский, возможно, был осведомлен о прогрессирующей, неизлечимой болезни Скотти.

В зимний морозный день ученики и учителя Московского училища живописи и ваяния придут на станцию дилижансов проводить Михаила Ивановича, отъезжающего из Москвы в Париж для лечения. Его тронет общее внимание. И на сей раз он не будет выглядеть тем неприступным, гордым Скотти, к которому ученики привыкли. Живое, доброе проглянет в нем.

Да и был он в глубинах души именно таким человеком. Присущи были ему и юмор, и шутка. Знал ли он, что никогда не вернется в Россию и суждено ему будет лежать в земле далекой (схоронит его в Париже друг — архитектор Нотбек).

Тронется дилижанс, махнет Михаил Иванович на прощание рукой и исчезнет вскоре, так и не оставив России ни одного ученика.

Скажем несколько слов еще об одном преподавателе училища при Шишкине, Егоре Яковлевиче Васильеве. Он вел рисунок.

Добрый, самоотверженный человек, он, как пишет его ученик В. Перов, обладал высокоразвитым чувством товарищества и товарищеского долга. Достаточно сказать, что в течение восьми лет давал он уроки за своего ослепшего сослуживца и «три раза в неделю ходил пешком, невзирая ни на какую погоду, а по смерти товарища уступил эти уроки более нуждающемуся, чем он, преподавателю».

В. Г. Перов, как и И. М. Прянишников, во время обучения в училище жили на квартире Васильева, приютившего учеников ввиду крайней их бедности. И тот и другой до конца жизни с благодарностью будут вспоминать учителя.

Егор Яковлевич был убежденным академистом, особенно когда дело касалось обучения рисунку. Традиции академической школы он чтил свято, что, однако, не мешало ему выделять художников нового направления. Он с благосклонностью относился к В. Перову и В. Пукиреву.

По вечерам, в его казенной квартире во дворе училища собирались художники, слушали музыку, сами музицировали. На одном из вечеров выступил как-то преподаватель скульптурного класса Н. А. Рамазанов и привел всех в восхищение своей игрой.

Предок Рамазанова, татарин-военачальник, захваченный в плен в одном из боев, во времена Екатерины II, был привезен в Россию, где в честь мусульманского праздника «рамазана» ему и дали фамилию.

Родители Николая Александровича были артистами Александринского театра, и в детстве он принимал участие в спектаклях, в которых были заняты папенька с маменькой. С родителями был дружен Карл Брюллов (в доме хранилось несколько работ художника), который и подметил в маленьком Николеньке способности к рисованию. С его благословения мальчик поступил в Академию художеств. Учился в классе Орловского, но постоянным наставником его был Карл Павлович.

Живой, подвижный, Николенька Рамазанов, не зная ни в чем удержу, задал, как говорится, работы своим учителям. Однажды в классе предложили тему: «Бегство святого семейства в Египет». Все с усердием принялись за работу. Один Николенька на месте не сидит. По классу скачет. К одному, к другому товарищу подбежит, через плечо на работу взглянет. Профессор замечание делает: «Рамазанов, работай, не успеешь!» — «Времени много, нарисую». Час прошел, а на листе пусто. За пять минут до звонка принялся за работу, да с таким усердием... Рука так и ходит. Нарисовал. Приносит работу профессору. Тот смотрит рисунок, изумляется и спрашивает: «Рамазанов, это что ж такое?» — «Это пирамида». — «А где же осел, Иосиф, Мария?» — «Иосиф с Марией уже скрылись за пирамидой, а вот хвост осла еще виден». Услышав слова сии, профессор расхохотался и сказал, вытирая набежавшую слезу: «Не ставлю единицу только за твою находчивость!»

Приведем и еще одно семейное предание, сохраненное дочерью Рамазанова.

Как-то, уже в старшем ученическом «возрасте», незадолго до окончания курса, произошел с Николенькой такой случай: приехал в Академию художеств государь Николай Павлович. Надо сказать, частенько приезжал он в Академию к молодым художникам посмотреть работы, кого пожурить, кого похвалить. Ценил молодежь, приглядывался к ней. И на этот раз преподаватели, профессора, принялись представлять своих учеников и характеризовать их. Дошла очередь и до Рамазанова. Брюллов говорит государю, кивая на ученика: «Большой талант, но и большой пьяница, Ваше Величество!» На что, ни минуты не задумываясь, Николенька ответствовал, кивая, в свою очередь, на Брюллова: «А это мой профессор, Ваше Величество!»

Истины ради надо сказать, под влиянием чересчур полной чары вина становился Рамазанов весел и шумлив до буйства. Это, в частности, и послужило причиной тому, что из Рима, где он работал после окончания Академии художеств, вследствие жалоб папского правительства за невоздержанность и буйный характер, Николай Рамазанов был отозван в Россию. В пути его сопровождал фельдъегерь.

По возвращении на родину Рамазанов остепенился, женился, стал примерным мужем и любимым преподавателем учеников Училища живописи и ваяния, куда был назначен профессором в 1847 году.

Рамазанов жил на казенной квартире в Училище живописи, ваяния и зодчества в Юшковом переулке, в отдельном двухэтажном доме. Постоянными гостями его были А. Н. Островский, А. Ф. Писемский, Д. В. Григорович, Б. Н. Алмазов, словом, почти весь состав «молодой редакции» «Москвитянина» — единственного московского журнала, издаваемого историком М. П. Погодиным. (В те годы, как писал С. В. Максимов, «по невольному тяготению и сродству душ, все наличные художественные силы Москвы находились естественным образом в тесном сближении с литературным кружком «молодой редакции» «Москвитянина», начиная с музыкальных художников, каковы: Николай Рубинштейн и Дюшт, и кончая художниками, в собственном значении, каковы: профессор школы живописи и ваяния Рамазанов и художник Боклевский».)

Любил он приглашать и учеников. Комнаты большие, светлые. По стенам развешаны картины в красивых рамах, много статуй и красивых растений. Ковры и лампы добавляли уюта. Даже на парадной лестнице стояли греческие боги, которых ученики знали по именам.

Кабинет у Рамазанова был настолько оригинальным, что приезжавших осматривать Москву иностранцев обязательно привозили в него. Как вспоминала дочь Рамазанова, «это была огромная комната, с трех сторон окруженная окнами. По потолку шла решетка, по которой вился сильный густой плющ, ярко-зеленые ветки которого спускались в простенках и увивали стоявшие там белые мраморные статуи и ползли по кожаной мебели, столам и стульям, цепляясь за все, что попадалось по пути. При лунном освещении кабинет производил волшебное впечатление».

Напротив флигеля, во дворе, располагалась мастерская Рамазанова, в которой он работал с учениками.

Не мог не побывать в мастерской Рамазанова Шишкин. А заглянув, видел крепкую фигуру в парусиновой блузе, подпоясанной черным ремешком, вьющиеся с проседью волосы и живые голубые глаза.

Человек трудолюбивый, Николай Александрович много работал и, естественно, свободного времени у него бывало мало. И ежели такая минута выдавалась, он посвящал ее писанию заметок об искусстве, выставках, художниках для «Москвитянина», или «Русского вестника», или «Московских ведомостей».

Он очень интересовался историей России и людьми, сыгравшими значительную роль в ее судьбе. Лепил скульптуры Пушкина, Гоголя, Н. В. Кукольника, Ф. П. Толстого, горельефы и барельефы в строившемся тогда храме Христа Спасителя.

Серьезно увлекался музыкой, театром, литературой.

Он чутко улавливал талант в человеке, умел заглянуть вперед. Именно Рамазанов прозорливо заметил в свое время, что будущее пейзажной живописи за С. Щедриным и А. К. Саврасовым. Не однажды говорил ученикам своим, что «классический» пейзаж Клода Лоррена и Пуссена перестает уже быть непререкаемым образцом, что следует вспомнить о «живой форме» голландских пейзажей и что «ныне... девизом пейзажного искусства стала правда и разнообразие, почерпнутое прямо из лона природы».

(Заметим в скобках, все преподаватели московского Училища живописи и ваяния в отличие от маститых и ортодоксальных профессоров Академии художеств никогда не считали себя непогрешимыми, не слишком давили на молодежь авторитетом и не закрывали пути самостоятельным исканиям. Дух братства витал в здании в Юшковом переулке. Здесь болели за русское искусство, душу художника.)

Живой рассказчик, вдумчивый человек и художник, Рамазанов умел заворожить слушателя своими рассказами, мыслями, живостью речи.

И нетрудно представить, с каким наслаждением мог слушать Иван Шишкин размышления Рамазанова о природе.

— В зимнюю пору видописец сам не свой, — говаривал Николай Александрович, — он почти не касается красок и палитры. Вьюга злится, и он ворчит на нее в свою очередь, и лишь с появлением грачей и жаворонков все существо его начинает оживать, а лицо проясняется. Совершенно сочувствую этому положению художника, но все-таки замечу, что как осень, так и зима представляют нередко отрадные и живописные моменты для картины.

Раз, по дороге в Поречье, нам представилась такая картина во время сильных заморозков, что до сих пор забыть трудно. Мы ехали в тарантасе; крепкий мороз

в ночь высушил все кругом и грязь по дороге: но когда наутро солнце глянуло с горизонта на побелевшую землю, тогда, оттаяв, она стряхнула испарения прозрачными покрывалами, которые поднялись отовсюду с окрестностей, перерезая темные, еще не вполне освещенные леса и рощи; дым с топившихся изб, сдерживаемый холодным воздухом, лениво валил свои клубы чрез крыши; извивающийся под горою ручей силился обосноваться из-под студеной ночной пелены; группы стад пестрели игривою мозаикой на скате. Право, что для такой талантливой картины нужно особое талантливое памятование красот, каково оно, например, у Айвазовского; но кто из видописцев не изощряет своей памяти разнообразными явлениями природы, тот, верно, никогда и не разовьет его.

Такое «талантливое памятование красот» было у Шишкина.

Сам Николай Александрович был твердо уверен в одном: видописцы должны прежде всего писать родные мотивы.

— Живописные окрестности матушки-Москвы трудно пересчитать, — не раз говорил он, — самая растительность местами так богата и разнообразна, что есть над чем потрудиться с удовольствием. Не следует пренебрегать красотами, которые так близки нам.

Как близки были эти слова Шишкину, у которого к тому времени все подкладки на классных рисунках с гипсов изрисованы были пейзажами, удивлявшими товарищей. Просто поле, лес, река, а как здорово.

Училище живописи становилось ближе, роднее с каждым днем.

Поздно вечером, после занятий, возвращался Иван Шишкин в Харитоньевский переулок вместе с Петрушей Крымовым и Петром Мелешевым. По дороге обсуждали услышанное.

Быстро темнело в городе. Кончалась осень. Валил мокрый снег. Фонарщики зажигали огни.

В первый год обучения Шишкин вместе с товарищами начал зарисовывать на улицах разные бытовые сценки, старинные церкви, странников в лаптях и с сумами. Всякая интересная фигура привлекала его внимание.

«На товарищей он производил впечатление очень скромного малого, — писала Комарова, — держался в стороне от буйной компании и удивлял всех только

своей работой. Его костюм и сильная медведеобразная фигура заставили даже товарищей, привыкших к разным костюмам, прозвать его семинаристом. В скором времени этот семинарист удивил всех своими успехами, быстро проходя гипсовые классы один за другим».

Он зарисовывал в тетрадь все мало-мальски привлекавшее внимание. (Вспомним, Брюллов, Венецианов — учителя Мокрицкого настойчиво рекомендовали приобщаться к живой действительности, быть верным «натуре», требовали учиться умению передавать «материальное различие» предметов, пространство.)

«Образование, труд, любовь к занятиям» — вот девиз Шишкина в ту пору.

Он прилежно рисовал гипсы, но не мог постичь их красоту, лишь видел в них странные формы. («Нельзя пейзажиста, видевшего природу, сажать сразу за рисование гипсов», — скажет он на склоне лет).

В классах училища Шишкин, как, впрочем, и другие ученики, узнал, что такое соперничество, азарт, порожденный желанием рисовать лучше других. Как ревниво каждый из учеников относился к успехам другого! И ревность эта подчас и была главным движителем в работе учеников.

Часто вспоминалась Елабуга, Кама. Задумается, а родные места так и стоят перед глазами: Танайский лес с глухими оврагами, Лекаревское поле, на окраине которого сосны в три обхвата растут. Он в Москве отыскивал места, схожие с елабужскими.

«Я, — вспоминал Иван Иванович, — первый в то время из пейзажистов начал рисовать с натуры, и первые мои 10 рисунков заслужили общую похвалу и ходили по рукам разных покровителей и ценителей, также и преподавателей. Они же уговаривали меня бросить пейзаж как низший род живописи и заняться исторической живописью и были недовольны за то, что многие из учеников стали рисовать пейзажи, животных и пр., что, по их мнению, было потерей времени; в изучении античного гипса они видели ключ к искусству. Единственный из преподавателей, человек образованный, любивший природу и искусство, был А. Н. Мокрицкий — ему я и многие обязаны правильным развитием и пониманием искусства».

В первую же зиму Шишкин подружился с некоторыми из учеников Училища. Все были нрава кроткого, робки и крайне молчаливы. Вечерами собирались у кого-ни-

будь дома, рисовали, читали книги, купленные у Варварских ворот. Общим любимцем был Н. В. Гоголь. Читали Овидия, Данте, Гомера, Гиббона — этих авторов в свое время советовал одолеть Мокрицкому К. Брюллов. Аполлон Николаевич, напомним, дорожил заветами «Карлоуса». Не без влияния Мокрицкого Шишкин принялся знакомиться со статьями художественного критика Н. В. Кукольника. Рассказывая о тех или иных людях, знакомых ему, Мокрицкий отмечал характерное в их мыслях, чувствах, пробуждал интерес к ним, к их творчеству.

Бедность была всеобщей. Художник П. И. Нерадовский-младший со слов отца записал в конце прошлого столетия: «Отец мой учился вместе с И. И. Шишкиным в Московском училище живописи, а затем и в Академии художеств. В Петербурге они жили вместе. Отец был немного более обеспеченным. Шишкин был беден настолько, что у него не бывало часто своих сапог. Чтобы выйти куда-нибудь из дома, случалось, он надевал отцовские сапоги. По воскресеньям они вместе ходили обедать к сестре моего отца». (Питались обычно в лавочке, что располагалась под училищем. Денег из дома приходило немного, и иногда Шишкин целыми неделями питался хлебом и патокой).

Сохранился и любопытный рассказ дочери Н. А. Рамазанова. Как-то в доме был журфикс *. Съехались гости, все сидели за столом. Раздался звонок, и лакей сообщил хозяину, что какой-то ученик просит Николая Александровича выйти к нему в переднюю. «Рамазанов вышел и тотчас вернулся, — пишет его дочь, — сказав супруге: «Это ученик Перов, наша восходящая звезда, принес картину, которую мы посылаем в Академию на соискание золотой медали, нужна моя подпись». — «Проси его сюда скорее, Николенька, к нам, к чаю!» — «Нет, Любушка, он сюда не придет, он стесняется, у него рваные сапоги, пришли нам чаю в кабинет». (Перов в училище, напомним, был близок с Шишкиным.)

Вот и зима на исходе. Тихо, бело кругом. Кружит снег. В инее деревья. Редкий прохожий встретится в поздний час, когда из училища возвращается Иван Шишкин на квартиру к Марии Гавриловне. А там печь топится и товарищи поджидают. И есть каждому что сказать друг другу. О сердечности отношений, сложившихся между

* Определенный день в неделю для приема гостей.

однокашниками, сохраненных на долгие годы, свидетельствует письмо, написанное в 1895 году П. Я. Мелешевым из Лубен Ивану Ивановичу Шишкину.

«Дорогой, незабвенный друг и товарищ Иван Иванович!

Не могу не высказать того, как я был обрадован Вашим милым, товарищеским письмом. Не шутка — 40 лет, в которое мы с Вами ни разу не видались. 40 лет! Ведь это почти целая жизнь человека. Сколько воды утекло за это время и сколько человек мог перечувствовать, перепытать всего? Отчего, когда подумаешь об этом, делается грустно? Не об улетевшей ли молодости? Но как бы то ни было, а воспоминание о той жизни, когда мы ютились у Марьи Гавриловны Шмаровиной, трогает сердце, вселяя в него какое-то неизъяснимо отрадное впечатление. Я в этой давно прошедшей жизни все, все решительно помню. Помню худенького, бледного мальчика Петрушу, который подписывал свою фамилию «Крымав». Помню другого Петрушу — приказчика, приходившего домой в большинстве случаев пьяным, с посоловелыми глазами, похожими на уснувшего судака. Помню Ознобишина, Е. Нерадовского, скромного и милого юношу; Шокорева, с которым мы вместе рисовали в оригинальном классе: он голову Фингала, а я св. Мученицу Екатерину, и были за эти рисунки переведены на «фигуры». Помню Пукирева... с которым Вы, впрочем, кажется, не состояли в близкой дружбе; а также помню К. Е. Маковского и многих других, воспоминание о которых доставляет удовольствие мне по сие время. Да и можно ли забыть вечно, бывало, смеющегося Петрушу Крымова! Сила-ветр, порт-моло — словечки действительно очень комичные. А другого Петрушу, ночью взбирающегося ощупью по лестнице и что-то бормочущего вроде: «Ма... ма... маменька... ну-да, ну-да!.. Гм!.. Мелешев! Иван Иванович Шишкин!.. Ну-да, ну-да!.. Гм!...» и проч. и потом — хлоп на постель, если доносили до нее его ноги. Да, все это помнится мне, и притом так живо, как будто это случилось все не 40 лет тому назад, а недавно. Да будет благословенна эта память, которая меня всегда поддерживала на многотрудном поприще моей жизни, всегда идеализируя прошедшее в самых радужных и приятных глазу красках...»

(Петр Яковлевич Мелешев, получив в 1855 году звание неклассного художника портретной живописи, раньше товарищей уйдет из училища, станет преподавать жи-

вопись в гимназиях. До кончины своей бережно будет хранить два офорта Шишкина, Иван Иванович же сбережет автопортрет Мелешева, написанный в годы ученичества.)

* * *

Сказываются, сказываются признаки весны. Еще москвичи прогуливаются по улицам, укутанные в меха, а дворники принимаются выгонять зиму из города ломами, скребками. Снег с тротуаров сметают.

— Ксения-полухлебница прошла, — скажет иной старик соседу, присаживаясь на завалинку, поглядывая на ласковое солнышко. — В деревне-то, слышь, половину запасного хлеба съели, пора и о новом посеве подумать. Говорили у нас в деревне: «Не будет пахотника, не будет и бархатника». Эх-ма.

Вот и Василий-капельник прошел, пожал зиму, заплакала она. Подтаявшие снега зароняли слезы с крыш. А воздух-то, а воздух какой!

Да, после долгой зимы весна дивом кажется!

В деревнях старики, кряхтя, спускаются с полатей, надевают опурки и переселяются на завалинки, на солнышко. Ребята в тулупах внакидку выбегают из изб отмыкать тряпицы из окошек, чтобы воздух свежий впустить.

«Но не настал еще Егорий с припеком, еще щука не разбила хвостом своим лед на реке, птичка овсянка не запела веснянки, еще девушки не бегали на реку почерпнуть свежей водицы, пока ворон не взмутил ее, не обмочил крыла своего, еще черноносые грачи не облепили макушки сосен, как черными шапками, хотя домовитые хозяева уже справили сохи, закрепили в бороньи зубья и перетянули шины на колесах.

Но вот, особенно на солнцепеке, остаток снега растопился, побурел, блеснули ручьи на полях, забегали змейками, поднялся пар от земли. Кончился великий пост, и наступило Светлое Христово воскресенье», — читаем чудесные строки у ныне забытого литератора, знатока русской старины С. М. Любецкого.

Колокола звонят кругом. Улицы народом запружены. Все с куличами, у детишек в руках свистульки, деревянные крашеные яйца. Как все это Елабугу напоминало! И росла любовь к Москве, рождавшая ощущение чего-то родного и величавого. Позже, оказавшись в Петербурге и ощутив его холодность, он напишет родителям: «Пасха в Петербурге, сколько я могу думать, не будет так великолепна, как в Москве, что очень жаль. Разумеется, нужно более своего, духовного торжества, но все как-то внешнее торжество и величание более вливает чувств в душу, например, в Москве минута, когда сотни тысяч народу в Кремле ждут первого удара колокола, но какого колокола! Громадного, как сама Москва. Он потрясает всю вашу душу одним звуком и, кажется, высказывает всю важность события. И с этим первым звуком разольется тысяча звуков, и ваша душа трепещет от восторга и радости. Нет! В Петербурге не бывать того. Здесь в этот праздник и насмотришься одних только мундиров, да лент и прочее, и прочее».

Ах, как бы хотелось теперь в Елабугу! Лед на Каме прошел. Скоро земля подсохнет, трава появится. Луга зазеленеют, и пойдет, пойдет гулять ветр весенний по зеленям. А по дорогам потянулись скрипучие возы, а там базар, да крики, да говор родной вятский.

Едва представлялась возможность, ученики отправлялись за город, на этюды. Любимым их прибежищем сделались Сокольники. Кроме Сокольников, тогда чудесного живописного леса, любил Ванечка бывать на Лосином острове. Места тамошние напоминали Елабугу, о коей не забывал ни на день.

В 1895 году П. И. Нерадовский, воспоминаниями которого мы вновь воспользуемся, побывал в гостях у Ивана Ивановича Шишкина и записал рассказ его о годах ученичества.

— Ваш отец любил антики с гипсов рисовать, — говорил Иван Иванович. — А я и мои товарищи, еще когда мы учились в Москве, весной, как становилось тепло, всегда уходили куда-нибудь за город, часто в Сокольники, и там писали этюды с натуры. Любили писать коров.

Там-то, на природе, мы и учились по-настоящему. И как это было там интересно. И приятно же и полезно было работать на воздухе. Мы оживали там. Особенно мы испытывали это после длинных зимних занятий в классах.

На природе мы учились, а также отдыхали от гипсов. Уже тогда у нас определялись наши вкусы, и мы сильнее и сильнее отдавались тому, что влекло каждого из нас».

«...я думаю, что ты уже все Сокольники нарисовал», — писал 29 августа 1854 года Шишкину его сокольнический товарищ Егор Ознобишин.

В Сокольничьей роще, что в сумеречных дебрях. Зве-

рей множество. В старину, старики рассказывали, считалось святотатством делать большие вырубки в этом лесу. Хворост, валежник под ногами. И воздух смолистый.

Работал Шишкин без устали. Многие диву давались: за день нарабатывал столько, сколько иные за неделю едва могли сделать. Рисовал и дома до глубокой ночи, по памяти. Все пытался уловить «прихоть форм» природы, краски его даже не интересовали, и этюды той поры скорее можно назвать рисунками в красках.

Ходила сокольницкая братия летом на этюды и в Останкино, и в Свиблово, несколько раз — в Троице-Сергиеву Лавру. Сколько старинных преданий связано было с этими живописными местами. Зарисовывая их, запоминали сильнее историю русскую.

Троицкая дорога, ведущая богомольцев к Троице-Сергиевой Лавре, исстари была самая людная. Дорога к обители занимала два дня. Останавливались в Мытищах. Поклониться святым мощам Сергия Радонежского шли и ехали православные из самых дальних уголков России. Святой угодник, как сказано в жизнеописании его, сокрыв себя в пустыне, не смог скрыть имени своего. Один из краеведов прошлого писал: «По этой дороге ходили наши прадеды, русские святители, великие князья и цари, многие именитые иностранцы, в подражание св. Сергию, который никогда не ездил на коне, ходили на поклонение к его мощам пешком. Патриархи отправлялись в этот путь с целою свитою и клиром; на перепутьях, где они останавливались, около хором их, теснился народ, прося благословенья. Сколько полчищ вражеских кишело на дороге этой во время тяжких годин. Шли по ней поляки, стремясь удушить непокорных русских, сокрывшихся в Троицкой Лавре. По ней везли с Белого моря мощи св. Филиппа Митрополита и тихо, скромно двигался поезд из Москвы в лавру с гробами, под черными покровами, в которых находились останки царя Бориса Годунова, жены его и сына Федора, сопровождаемые несколькими монахами и обливавшеюся слезами дочерью Бориса, царевною Ксенею. По этой дороге везли тело царского кума, патриарха Никона, с Белоозера в Новый Иерусалим (к которому царь Алексей Михайлович, в день именин его, ходил с пирогом, а после патриарх, быв в опале, сам таскал кирпичи для построения храма в Новом Иерусалиме). Сколько воспоминаний!

Не забудем и похода Дмитрия Донского к Сергию

Радонежскому для испрошения благословения пред Куликовской битвой».

В обитель, основанную св. Сергием, и ходили наши предки испрашивать победы или благодарить за нее Всевышнего.

Хочется Ванечке знать старину, какова ни была бы она. Не интересно ли, проходя через деревню Ростокино, узнать, что здесь народ московский встречал царя Иоанна Васильевича, когда он, взяв Казань, с торжеством возвращался в столицу? Летописцы писали: вся дорога от Москвы до ростокинского моста была занята восторженными жителями. А царь снял с себя воинскую одежду, надел корону Мономахову и в величественном смирении пошел за крестами в город. Как тут не зарисовать мост древний, историю хранящий!

Вьется широкая дорога по полесью, среди огородов с шалашами. Идут паломники по ней, пыль взбивая. Среди них — ученики Училища живописи.

Неожиданно кто-то говорит:

— Слышь-ка, братцы, местность-то сия грабежами славится. Тут-ко в лесах разбойница ростокинская Танька жила, богатырь-девка, с шайкой. С того и рощу ту Татьяниной назвали.

— Гляди-ка ты, — удивится какой-нибудь путник.

— Да, а опосля один из дружков ее — Ванька-Каин — словил ее да и выдал сыскной полиции. Вот какие дела. А как повесили ее, в ту же ночь под ее ногами гора трупов появилась. Дружки-то ее так помянули ее.

Далее шли молча...

За Ростокином дорога сворачивала к Тайнинскому. Жуткое, сказывали, то было селение. По берегам тамошнего пруда еще во времена Малюты Скуратова выкопаны были потайные землянки. Людей живыми сажали в мешки и в болото кидали. Здесь же царица Мария встретилась со Лжедмитрием и якобы сына родного в нем признала.

И болото и сельцо в альбом зарисовывались.

В Мытищах богомольцы обычно отдыхали. Пили ключевую воду или чай. Отдыхали и наши путешественники, спрятавшись в густой тени какого-нибудь куста.

Отдохнув, двигались далее. Пекло солнце. Высоко в небе пели жаворонки. Вилась, петляя по степи и меж холмов, дорога.

И вновь следовали нескончаемые рассказы.

— А вот я скажу вам, — обращаясь к Шишкину, говорил седой старик, — с лишком за сто лет до нас, в деревне Голыгиной, под мостом, в каждую полночь, жаловались и плакали души человечьи. Сказывают, Хованских. Их ведь казнили и затоптали в гати Голыгинской. Вот ведь какие места. Жуткие. Я в ночь-то там ни разу не проходил. Люди сказывают, недавно совсем тени чьи-то вновь являлись ночью на дороге, проезжих останавливали и требовали от них вызова свидетельств к суду Божью на князя Василия Голицына. А один из Хованских, говорят, кланяясь, снимал свою отрубленную голову, как шапку.

К вечеру, едва солнце касалось кромки леса, добирались до Рахманова, откуда все верующие сворачивали в Хотьков монастырь, поклониться праху родителей преподобного Сергия: Кириллу и Марии.

А верст за семь от Троицы открывались среди зелени лесов златые главы обители вокруг огромной колокольни.

Троицкая Лавра с основания своего была истинно русскою защитою. Благочестивые старцы ее, как писал Н. М. Карамзин, не только молитвами, но и делом ревностно служили Отечеству.

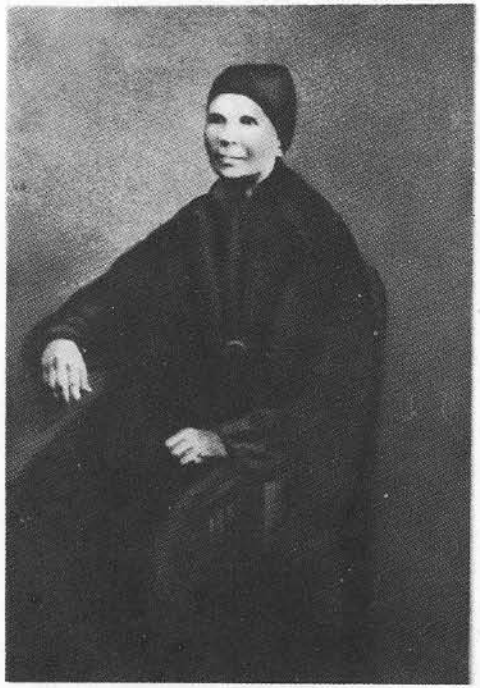
Монахи монастыря, заступники России в смутную пору стойко отбивались от поляков. Не дали им себя одолеть. Отсюда Аврамий грамоты по Руси рассылал...

Зная тягу Шишкина к истории, можно предположить, что испытывал он, пребывая в Лавре. Не произносил ли он те же слова, которые вырывались много позже у В. И Сурикова: «Я на памятники как на живых людей смотрел — расспрашивал их: «Вы видели, вы слышали — вы свидетели».

Трудно, а скорее всего и невозможно отыскать рисунки, сделанные Иваном Ивановичем во время путешествий в Троицкую Лавру. Но нельзя не прийти к мысли, что само путешествие, вызванное уважением к прошлому, помогало Шишкину, как и всякому совершающему паломничество в обитель, глубже познать русскую историю, крепче полюбить родные места. И (сделаем такое предположение), утверждая много позже, что пейзаж должен быть не только национальным, но и местным, Шишкин имел в виду историю места, чувства, пережитые здесь художником.

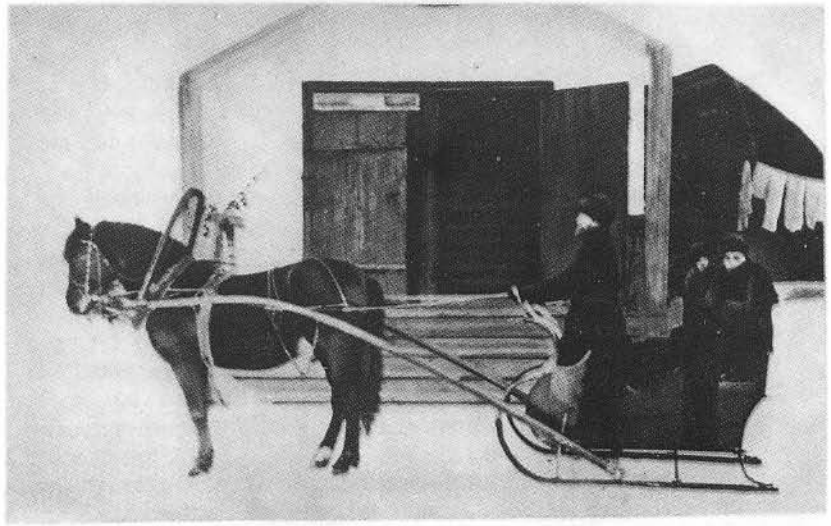
О том, что такие путешествия не прошли бесследно для товарищей Ивана Ивановича, можно судить по тому, что В. Г. Перов напишет известное «Чаепитие в Мыти-

И. Шишкинъ



Мать художника.
Фотография.
Собственность ДМШ
в Елабуге.

Отец художника. Фото.
Собственность ДМШ.



Во дворе дома Шишкиных в Елабуге.

Д. И. Стахеев (старший). Фото. Собственность ДМШ.

Д. И. Стахеев (младший), писатель.

Гимназия в Елабуге, построенная на средства Д. И. Стахеева (старшего).

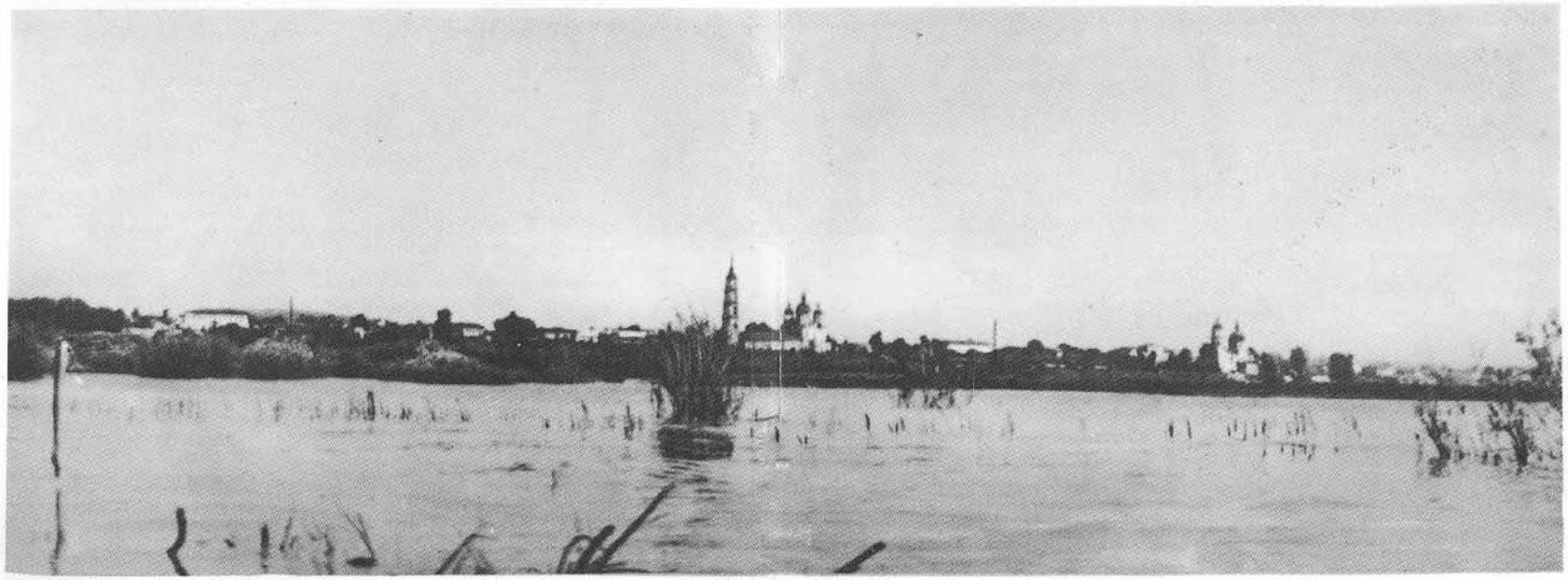
Насосная станция водопровода в Елабуге, построенного И. В. Шишкиным.

И. И. Шишкин в 1850 г. Портрет работы И. Осокина.

И. И. Шишкин. Автопортрет. 1854.

Пожарная каланча в Елабуге.

Троицкий собор в Елабуге. Совр. фото.



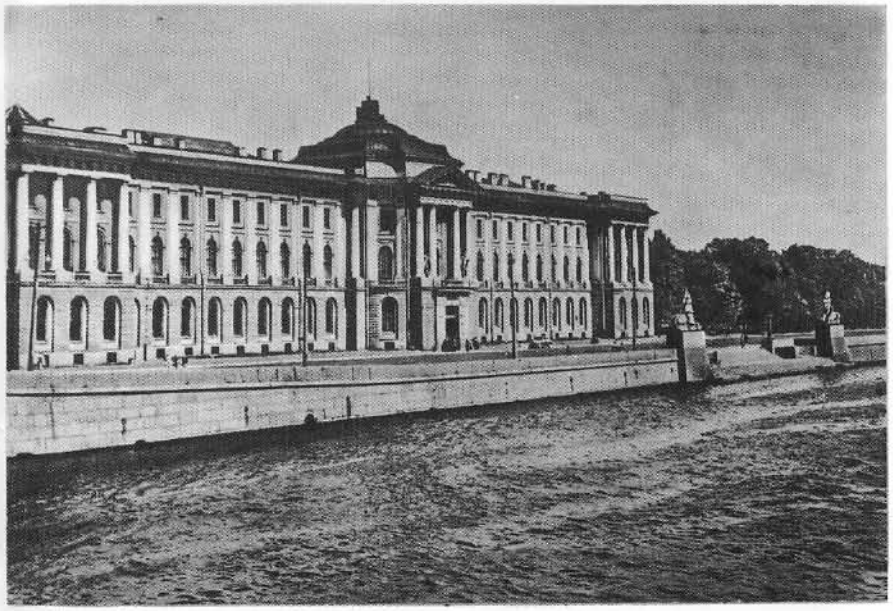
Панорама города Елабуги. Старинная фотография.

Виды Москвы в середине XIX в.

И. И. Шишкин.
Портрет работы
К. А. Маковского. 1856.

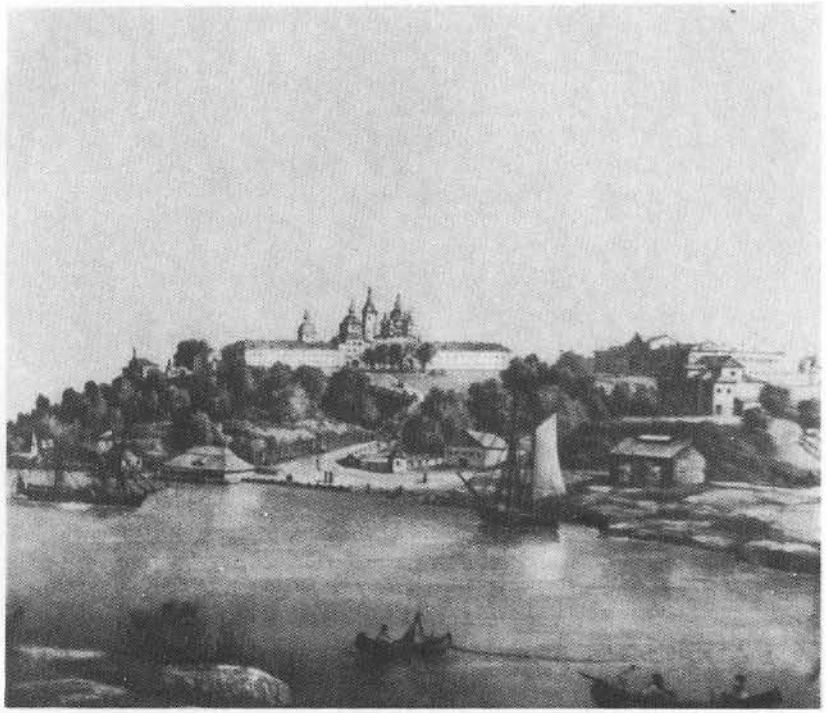
И. И. Шишкин.
Портрет работы
Г. С. Седова. 1859.

Здание Московского училища живописи, ваяния и зодчества.



Академия художеств в Петербурге.

Игумен Дамаскин.



Валаамский монастырь (общий вид). С гравюры XIX в.

Скит на острове Валаам: С гравюры XIX в.

щах», Г. С. Седов обратится к исторической живописи, в 1870 году получит звание академика за картину «Иван Грозный и Малюта Скуратов».

Впрочем, сама школа, дух, витавший в ней, много способствовали пробуждению интереса к русской истории, познанию ее.

Свидетельство тому письмо К. Н. Борникова и Е. А. Ознобишина к И. И. Шишкину от 13 апреля 1856 года, в котором они сообщают о работах, начинаемых учениками училища: «...В классе у нас что-то затевают новое, именно программы... Астрахов будет писать площадь — фигур 60, Маковский — Минина в Нижнем Новгороде, когда народ приносит свое имущество. Брызгалов Дмитрия Донского, когда он молится перед битвою».

К. Маковский в 1861 году получит золотую медаль за картину «Агенты Дмитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова».

Общаясь между собой, ученики Училища живописи и ваяния своими взглядами на жизнь, живопись воздействовали друг на друга. Молчаливый «Семинарист» — Шишкин — был явно интересен товарищам. Они рисовали его. Сохранился портрет Шишкина, сделанный Г. Седовым в 1859 году. Известен и его портрет работы К. Маковского, сделанный в 1857 году.

Ближайшими друзьями Шишкина были: Гине, Ознобишин, Седов, К. Маковский, Борников, Колесов, Перов. Некоторые фамилии нынче забыты. Но именно их влияние невольно сказывалось на взглядах молодого Шишкина, так же, в свою очередь, и он влиял на них.

Мокрицкий сумел объединить учеников, создать дружескую обстановку. А полученные знания помогали в поисках истин.

«Товарищи передавали друг другу свои познания, никакое явление жизни не проходило для них бесследно, и в Иване Ивановиче развилась та необыкновенная наблюдательность, которая потом составляла важную черту его характера, — писала Комарова. — На этих вечерних собраниях будущие русские художники покончили с классицизмом и при взаимной поддержке могли дать отпор классическому направлению школы».

В набросках автобиографии Шишкин напишет о той поре: «Явный протест против классицизма: я, Перов, Маковский К., Седов, Ознобишин».

О спорах, мыслях, вызревающих в них, косвенно мож-

но судить по работам художников, написанным в последующие годы.

По-разному сложится их судьба. Станет держать себя большим барином Константин Маковский. Немалые деньги сумеет заработать, сбывая посредственные картины. Но запал юности даст о себе знать, и на конкурсе 1872 года Маковский получит первую премию по жанровой живописи за картину «Отдых во время жатвы». Не все погибнет в небесталанном человеке.

Саша Гине — старый товарищ по гимназии («Фамилия хоть и немецкая, но он чисто русский, славный малый», — писал Шишкин родителям) — «человек с талантом». Третьяков приобретает две его работы: «На Ладожском озере» и «На острове Валааме». С конца 1856 года они вместе станут учиться в классе у С. М. Воробьева.

Мокрицкий в письме к Шишкину напишет: «Гине, по моему пониманию, на прекрасной дороге, у него пресчастливый талант, обещающий отличного и симпатичного художника. У вас с ним совершенно разные характеры, и сходитесь только в одном — в любви к труду и сознании необходимости трудиться».

В Петербурге они будут жить на одной квартире, вместе станут выезжать на этюды в Сестрорецк, на Валаам.

И лишь с отъездом Шишкина за границу, связь между ними начнет прерываться.

Гине не станет отвечать на письма Шишкина. Зависть ли заговорит в нем или другие какие причины послужат поводом к тому, трудно сказать.

Егорушку Ознобишина Шишкин пригласит на лето 1855 года в Елабугу. Родители примут гостя сердечно, и он отплатит привязанностью, будет поддерживать переписку с Иваном Васильевичем, вспоминая с удовольствием разговоры с ним о политике, крымской войне и о старине.

(В скобках приведем любопытную запись Комаровой о том времени:

«На лето Иван Иванович ездил домой, и в первый же раз приехал туда совсем другим человеком; все домашние и знакомые заслушивались его рассказов и удивлялись перемене, происшедшей в нем. Иван Васильевич начал гордиться сыном, хотя и смущался его работами, сомневаясь, что и в пейзаже можно далеко уйти и много сделать. Весь день, по обыкновению, Иван Иванович пропадал в лесу, но не бродил по-прежнему, а писал

и рисовал и после каждой поездки привозил массу этюдов и рисунков»).

В апреле 1857 года Шишкин, ученик Академии художеств, подарит Ознобишину рисунок. Егорушка напишет в ответ: «За рисунок спасибо — дорога черта твоей руки, дорога и память!..»

Егорушка Ознобишин получит звание классного художника второй степени и будет преподавать рисование в Новочеркасске, Ростове-на-Дону и на Кавказе.

Подарит Шишкин свою работу и Борникову. Старый друг будет тронут вниманием.

Сделав первые оттиски литографии, Шишкин отправит их в Москву на отзыв Борникову. У него же, возвратившись из-за границы, остановится, чтобы повидать старых товарищей и рассказать о своих заграничных похождениях.

О большой близости поведают шутливо-доверительные письма В. Перова к Шишкину, показывающие, каким непререкаемым авторитетом пользовался у товарищей Иван Иванович. В. Г. Перов его первого попросит дать отзыв о картине «Приезд гувернантки в купеческий дом».

Глубокий художник, крайне самолюбивый человек, много размышлявший о религии и назначении священнослужителей на Руси (в скобках заметим: ни в одной из картин не отрицающий религии), он под конец жизни обратится в работах к русской истории, обостренно продолжая размышлять о России, судьбе ее (не есть ли это отголосок мыслей, рожденных во время походов в Троице-Сергиеву Лавру?).

Одно несомненно — то, о чем думалось, спорилось, переживалось, осмысливалось за годы пребывания в Училище живописи и ваяния, нашло выражение в работах художников последующего времени.

Картина «Иней», написанная Шишкиным незадолго до окончания училища — свидетельство тому, что выбор им сделан окончательный, местный пейзаж, природа, как Божье творение, мысли, порождаемые общением с нею, — отныне суть главное в его работах.

«Успехи Шишкина к концу прожитого им в Москве были неоспоримы, все товарищи уже стали подумывать об академии, к которой они относились тогда с благоговением. В 1855 году, — пишет Комарова, — между товарищами было решено, что И(ван) И(ванович) и еще два ученика съездят в Петербург, чтобы все там разу-

знать и осмотреть. Путешественники отправились зимой, в товарном вагоне, за три рубля, в Петербурге пробыли недолго, но были в Академии, на выставке и в музее, и И(ван) И(ванович) совсем растаял от виденных им пейзажей. Они разузнали условия петербургской жизни и, вернувшись, сообщили всем товарищам, из которых И(ван) И(ванович) первым перебрался совсем в Петербург».

Мокрицкий напишет в очередном рапорте инспектору училища о Шишкине: «Лишились мы отличного и даровитого ученика, но надеемся увидеть в нем со временем отличного художника, если он с такой же любовью будет заниматься в академии».

* * *

В канун отъезда в Петербург Шишкин по просьбе Капитона Ивановича Невоструева написал вид Елабуги.

Работая, мысленно переносился в родной город. «...сколько впечатлений всяких и воспоминаний. А все-таки очень приятно было писать, в особенности дом и сад наш, — сообщал он родителям. — Это мне рисовалось ясно и отчетливо, так вот и кажется, что у окна большой спальни сидит маминька, тогда как, бывало, идешь вечерком понизу из гор, за ней видишь кого-то, это, верно, Катенька или кто-нибудь из сестриц. Да и что и говорить; много-много воспоминаний сладких.

Потом окна залы напоминают, как, бывало, мы с вами, тятенька, рассуждали о башке «Чертова городища» и читали записки отца Петра или вы, тятенька, разговариваете о политике с Ознобишиным, который и теперь с удовольствием вспоминает это...»

С Капитоном Ивановичем Шишкин поддерживал отношения самые дружеские.

Приятно, приятно было навещать келью Чудова монастыря, в которой жил Капитон Иванович, труженик великий.

«Вся жизнь его была посвящена изучению и исследованию памятников церковнославянской письменности, — напишет о нем впоследствии Иван Аксаков, — работе тяжелой и неблагодарной — в том именно смысле, что она менее всего была способна доставить ему у нас в России видное положение, выгоды материальные и ободряющую популярность. А между тем его ученые разыскания драгоценны для нашего исторического самосознания, — и одно уже его описание рукописей Синодальной библиотеки способно увековечить его имя в русской науке. Но все это не помешало Невоструеву жить и умереть преждевременно в совершенной бедности, почти непризнанным и неоцененным, как бы в загоне. Только опустивши его в могилу, поздно схватились и поняли у нас, какая схоронилась вместе с ним громада ученого знания, какая исполинская сила труда — и какая нравственная доблесть, какое величие смирения!»

И помощь неоценимую не однажды оказывал Капитон Иванович.

Горит свеча. За окном темень. На стене отражение фигуры Капитона Ивановича. Голос глуховатый, серьезный, а глаза, кажется, в душу заглядывают. Говорит, будто мысли чужие читает.

— Самые мудрецы языческой древности, Иван Иванович, изумлялись уже, замечая в человеке борьбу добра со злом. Удивлялись они, как один и тот же смертный может неумеренностью своих пожеланий низвергать себя в пропасть и в то же время останавливать других от своих пороков. Полагали, в теле человека двоякая душа. Конечно, сатана, попущением Божиим, соблазняет человека на зло. Но чаще всего из нашей чувственной природы истекают необузданные чувства, грубые побуждения, которые, уподобляя нас скоту, уничтожают наши благороднейшие намерения.

Нет, зло происходит от злой воли человека; Он, Всесовершеннейший, дал добро; не дар есть грех, а злоупотребление дара...

Дни наши пролетают в вихре. Некогда порой о себе подумать, не токмо о времени, в коем живем. Нет желания, часто, что греха таить, поразмышлять о главном, чего стóю я в современном обществе, какую роль играю? Вопрос не праздный. Самолюбие задевает. И задумываешься глубоко лишь в вечернее или ночное уединение, когда никому не принадлежишь, кроме самого себя и Бога. Тогда лишь пытаешь себя, крепка ли вера твоя, поступил ли ты в дни суетные, как заповедала тебе Христова вера, какие дела сделал, которые свидетельствовали бы пред Спасителем нашим о доброй воле твоей?..

И длится беседа за полночь. А позже Ванечка возвращается по пустым московским улицам на квартиру. Лишь луна из облаков выглянет да залает собака глухо. А Ванечка думает об услышанном, благодарит Бога за беседу.

Отъезд Ванечки в Петербург огорчил и Капитона Ивановича. Как-никак, жаль было расставаться с человеком полюбившимся. Приняв рисунок с видом Елабуги, он дал Шишкину несколько рекомендательных писем к своим давним знакомым. Сказал на прощанье:

— В одной из книг вычитал я слова, кои запали в сердце. Только тот, кто в каждом состоянии, в каждый день недельный, в каждый час дневной, — всегда умеет делать самое полезнейшее, самое приличнейшее для блага собственного и других, только тот заслуживает имя мудрого; он, благоразумно располагая своею деятельностью, обладает искусством извлекать большие выгоды из капитала драгоценного времени. У него ни один день, ни один час не проходит без пользы.

Поцеловал и благословил на новую жизнь.

Морозным январским днем Иван Иванович отправился в Петербург, в Академию художеств.

Постукивали колеса на стыках рельсов. Мерно покачивались фонари в вагоне, а он поглядывал в окно, на заснеженные равнины и думал о том, как сложится судьба его, как-то Бог поможет ему в Академии. В Москве-то сжился, любовь товарищей и наставников приобрел.

А каково на новом месте будет?

Глава третья
ЕСТЬ, ЕСТЬ БОГ НА СВЕТЕ

В Петербурге людно. По улицам сани, кареты катят. Спешат по Невскому молодые люди в шапках-треуголках, много военных, барынь и барышень.

Впрочем, ни в первый приезд, ни теперь северная столица не произвела впечатления. Не будь в ней Академии художеств, известных профессоров, кажется, незачем бы и ехать из Москвы.

Но стоило извозчику, миновав мост, свернуть влево и оказаться близ Академии, как сердце екнуло — страшно было от одной мысли, что надлежит представляться строгим профессорам.

Шишкин нанял квартиру по пятой линии Васильевского острова, между большим и средним проспектом в доме мещан Захаровых, на дворе, в каменном флигеле, в третьем этаже, и на исходе третьего дня известил родителей о посещении Академии.

Судьбе угодно было определить Ивана Ивановича в

класс профессора Алексея Тарасовича Маркова, члена Совета Академии, за ним числилось несколько превосходных копий с Рафаэля и ряд образцовых религиозных композиций. Близкие люди за глаза называли Алексея Тарасовича философом, а за приверженность к классике «Колизеем Фортунычем». Любил он более гулять задумавшись, то есть философствовать, нежели работать. Главным трудом его жизни была картина «Фортуна и нищий», написанная еще в Риме, в период пансионерства*. За нее получил он в 1836 году звание академика. Написана на сюжет басни И. А. Крылова. Сюжет престранный. Нищему явилась Фортуна и принялась сыпать червонцы:

Да только с уговором:
Все будет золото, в суму что попадет,
Но если из сумы что на пол упадет,
То сделается сором.

Сгубила нищего алчность, порвалась под тяжестью монет сума, и обратилось золото в прах.

Трудно сказать, почему на этой теме остановился Алексей Тарасович. Возможно, повлияла на него смерть брата, скончавшегося в бедности и долгах.

Из Рима он вернулся в Петербург, где в Академии художеств полновластно царствовал тогда его друг инспектор академик Андрей Андреевич Кругов. Как вспоминает Иордан, с помощью Кругова, графа Ф. Л. Толстого и архитектора К. А. Тона, Марков «поместился в Академии и, не написав ничего на профессорное звание, был самым влиятельным профессором и имел бездну учеников».

В классе Маркова Иван Иванович принялся рисовать с натурщиков, но дело прискучило, и он обратился к пейзажам. Марков не смог понять Шишкина. «...Он обругал меня за пейзаж и послал к С. М. Воробьеву», — вспоминал Иван Иванович.

Так через месяц он оказался в классе Сократа Михайловича Воробьева.

Поступи Шишкин годом ранее в Академию, ему бы повезло, мог попасть к удивительному пейзажисту и педагогу Максиму Николаевичу Воробьеву, которому были обязаны художественным образованием М. Л. Лебедев, И. К. Айвазовский, Л. Ф. Лагорио...

Академик К. Н. Рабус так отзывался об учителе:

* Учащийся, получающий полное содержание в учебном заведении.

«Драгоценный дар, малому числу людей известный, дар преподавания вполне принадлежит М. Н. Воробьеву. Сокращенно, сжато, но с изумительной ясностью разрешал он труднейшие задачи, так что ученику, слушавшему его, впоследствии не приходилось затрудняться никакими другими задачами...»

В картинах М. Н. Воробьева не было заученных, условных эффектов, не было ни сухости, ни нагромождения предметов.

«Особенная же сила его была в передаче воздуха, которому он умел в совершенстве придать местный колорит, — замечал критик. — Его воздух над Иерусалимом, над Мертвым морем и над Невою представляет столько характерности, что сразу переносит зрителя совсем в иной край, под другое небо».

Его всегда занимали живопись, милое, добродушное семейство и скрипка.

Рассказывали, какой-то французский путешественник посетил его мастерскую. Внимание его привлекла картина, изображающая ночь на Неве. Он залюбовался всплесками волн. Заговорил с жаром о них с Воробьевым.

— Мысль о волнах подал мне Моцарт, — заметил художник.

Гость не понял его слов. Тогда Максим Николаевич достал скрипку и сыграл короткую пьесу Моцарта. Как пишут, француз, изумленный, признался, что никогда не предполагал столь тесной связи музыки с живописью

Ученики Академии знали, что после смерти любимой жены Максим Николаевич по целым ночам играл на скрипке, скрывая горе свое...

Сократ Воробьев учился в мастерской у своего отца. Любимый всеми за нрав, он, впрочем, занимался мало. Отлично рисовал и чертил, но в красках был слаб. Однако, вспоминает Иордан, успел написать хороший «Вид гор при закате солнца».

Любимый сын Максима Николаевича был отправлен отцом в Рим. Старик ездил в Италию смотреть за успехами сына. И говаривал близким, что все заработанное в жизни оставит сыну, дабы сделать его независимым.

Возвратившись из Рима, Сократ был утвержден преподавателем ландшафтной живописи. К тому времени он успел увлечься замужнею женщиной-полячкой. Увлечение отдалило от занятий живописью. Неожиданно к худшему изменились дела отца. Написав несколько картин,

которые обычно государь приобретал у него, Максим Николаевич вдруг назначил за них высокие цены. Николай Павлович был удивлен и сказал:

— Воробьев не мой более живописец.

С Максимом Николаевичем скоро сделался удар. Сына не было подле, он находился у любимой женщины. Родственники, принявшиеся ухаживать за стариком, обстряпали дело таким образом, что воротившемуся в Петербург Сократу осталось увидеть пустые кошельки и комоды. Обеспеченная будущность для него исчезла.

Впоследствии сын сменил отца в должности профессора пейзажного класса (звание профессора он получил в 1858 году).

Сократ Максимович, по словам И. С. Остроухова, «растерял все, что было красивого и значительного в заветах его отца. Его картины холодны и жестки, рисунки либо сладки, как те, которые он рисовал на papier pere *, либо архаичны и примитивны, как тот рисунок сепией, который висит в галерее (Третьяковской. — *Л. А.*) и изображает итальянский вид. Глядя на него, можно подумать, что автором его был кто-либо из учеников пейзажного класса Академии в 80—90-х годах XVIII века. Точно не было у нас ни Сильвестра Щедрина, ни Максима Воробьева...»

О складывающихся отношениях между учеником и учителем можно судить по письмам Ивана Ивановича.

«...Профессор, к которому я поступил, принял очень ласково и внимательно», — сообщает он родителям в одном из писем. «Профессор мой со мной очень хорош, как я уже вам писал, — написано в другом, — но он меня теперь все выпытывает и высматривает со всех сторон, узнать обоюдно еще мало времени».

Близости не получилось. Общее отношение к нечаянному учителю Шишкин высказал много позже племяннице Комаровой: «Перейдя в Академию... поступил к профессору Маркову, но он обругал меня за пейзаж и послал к С. М. Воробьеву — художнику и учителю бездарному; во все время пребывания моего в академии от него ничем не пользовался и не научился. Являлись мы обыкновенно раз в год на экзамен этюдов и рисунков — до нас прежде обычая этого не было; нам давали медали и награды; не зная лично ничего, мы не знали, за что нас хвалили и порицали».

Густовато, мрачновато, но верно.

* Разновидность плотной бумаги.

Тогда в Академии богами ландшафтной живописи считались Николай Пуссен и Клод Лоррен, поражающие величием и грандиозностью пейзажей, созданных богатою фантазией. Молодые художники изучали их, подражали им, но уже до такой степени, писал Н. А. Рамазанов, что не замечали, как эти славные в своем роде художники заслоняли им другое изучение, более обширное, разнообразное и плодовитое — изучение самой природы.

Нетрудно понять состояние Ивана Ивановича, тяготеющего к реальному пейзажу и принужденного находиться в классе С. М. Воробьева.

Отрадно было одно — изучать работы Матвеева и Щедрина, висевшие на стенах Академии.

Матвеев, живя в Риме, первым повернул от классического пейзажа и обратился к живой натуре, Щедрин завершил дело.

Холодность и чопорность петербуржцев бросалась в глаза. Здесь, казалось, не верили чувствам, да и не нужны они были. «Дело», только «дело» и еще деньги интересовали столичных жителей. Ученики Академии, уроженцы Петербурга, признавались, что чувствуют сей недостаток в земляках. «Это делает им честь, — отмечает в одном из писем Иван Иванович, — но все-таки невольно отдаешь преимущество нашему брату, заезжему, который родился не на этой почве». (Подчеркнуто мною. — *Л. А.*)

Одиночество не покидало первое время. Получив письмо из дому, перечитывал его по нескольку раз. «...При получении каждого вашего письма ощущаешь радость. Но это письмо доставило более обыкновенного. Оно мне как бы непосредственно открыло круг знакомый и родной, и я тогда не был один в столь далекой стране, да и в стране такой, где не верят почти никаким чувствам, души здешних обитателей такие черствые и холодные, как и самый климат».

Не было рядом и друзей. Ходил в церковь. Священник казался своим человеком.

«...У нас в Академии в самом здании церковь, и мы во время богослужения оставляем занятия, идем в церковь, вечером же после классу ко всенощной, там заутрень не бывает. И с удовольствием вам скажу, что это так приятно, так хорошо, как нельзя лучше, как кто

чего делал, все оставляет, идет, приходит же и опять занимается тем же, чем и прежде. Как церковь хороша, так и священнослужители ей вполне отвечают, священник старичок почтенный, добрый, он часто посещает наши классы, говорит так просто, увлекательно, он мне живо напоминает покойного нашего Федора Фомича. Певчие — свои, академические ученики, поют хотя неучено, но хорошо, им некогда изучать нотное».

Его тянет к священнослужителям. Тянет, потому что ищет ответа на главное: для чего пришел в мир? Правилен ли выбор его? Летом, живя в Лисьем Носе, он будет беседовать о том со священником. («...уже сооружена церковь, хотя деревянная, но прекрасная, прекрасивая. Мы туда ходим ко всенощной и к обедне, служат очень хорошо, священник очень хороший, мы с ним познакомились и ходим к нему, и он к нам частенько приезжает, и мы с ним беседуем почти по целым ночам...»)

О напряженной работе мысли свидетельствует письмо, отправленное Шишкиным родителям 14 мая 1856 года:

«...Но на что же Бог? Он меня поставил. Он указал мне этот путь; путь, на котором я теперь, он же меня и ведет по нему; и как Бог неожиданно приведет к цели моей. Твердая надежда на Бога утешает в таких случаях, и невольно сбрасывается с меня оболочка темных мыслей...»

Старикам нашим стоило неимоверных трудов и усилий попасть на путь к правде, к полному ознакомлению с природой, — заметил один из критиков. — Трудно прокладывать дорогу через лес (непроходимый) и притом так, чтобы непременно прийти к цели!

«Скажу вам о себе: в настоящее время я совершенно борюсь с собой, и эта борьба лишает бодрости и силы, вся надежда на Бога, — читаем в одном из писем, — Скажу яснее: приближается сентябрь, он решит, каков будет плод моих летних трудов... В сентябре же месяце я должен вам сказать о своей судьбе решительно. Если получу медаль, то... а если нет — сбрасываю с себя оболочку художника, и я тогда в полной вашей воле. Тогда время придет, что я должен же быть полезным родителям».

Исповедующий свои принципы, он чувствует себя одиноким, не находя отклика ни в преподавателе, ни в новых сотоварищах. И обстоятельно начинает подумывать о том, что ежели медали не получит, то не станет далее идти этим путем, перестанет заниматься живописью.

Работал неистово. Интуитивно стремился к утверждению национального в пейзаже. Отстаивая свое, противясь космополитизму романтической тематики, он боится попасть под влияние очередных кумиров. «Вы мне говорили, — писал ему Мокрицкий, — в способе и манере рисования рисунки ваши напоминают Калама. Я этого не вижу. В манере есть нечто свое, не менее удачно приспособленное к выражению предметов, как и у Калама». Это нечто «свое», подмеченное Мокрицким, было элементами реализма.

Работа, работа и еще раз работа. До полного изнеможения.

Бесовская мысль, что только медаль может утвердить в истинности, правильности выбранного пути, словно овладела им. Подстегивало в работе и осознание множества конкурентов.

Учителя обратили внимание на прилежание Шишкина, рисунки его были замечены, и было предложено ему рисовать с натуры. Хотя в начале весны природа скудна и бедна, рисунки были представлены такие, что профессора удивились и не смогли не отметить правильности ведения системы учения Шишкина.

К весне в Петербурге объявились москвичи К. Маковский, Седов, Соломаткин, Нерадовский, Лемох, Ознобишин и образовали свою группу. Первое время, как и Шишкин ранее, они пугались имен именитых преподавателей, но вскоре, возможно, благодаря Ивану Ивановичу, свыклись и начали отличаться в работах, чем вызвали недовольство у питерцев, перешедшее даже во вражду.

Не эта ли вражда пробуждала порывы скуки и грусти, вызывала желание видеть близких подле себя, но их не было. («Это не в Москве, там, бывало, пойдешь на посольское подворье, и уж верно кто-нибудь да есть из наших елабужских, и получишь сведения и об вас, а здесь не то, сюда так редко ездят наши елабужане, и почти не у кого услыхать что-нибудь родное и близкое сердцу».)

Весна в разгаре. Солнце. Холодная Нева. Первая зелень. Ивану Ивановичу назначено на лето работать в Лисьем Носу, в двадцати пяти верстах от Петербурга. («Местность великолепная и растительность богатая».)

Там из-за неимения денег и прожил до осени в обществе товарищей: Волковского и Джогина. Голодали, холодали, упорно работали.

Не всегда море спокойно. Вдруг взбесится, вздыбится. Несколько дней кряду бушует. Дом ходуном ходит. Ветер гнет и ломает деревья. Брызги с моря долетают до окон. Барки и лодки волной выбрасываются на берег. Жутковато. Вода прибывала и прибывала. Ночевать страшно.

...Едва стихла буря, появился рисунок «Сваленные дубы». В нем много академического, ложно-романтического, что, в общем-то, претит душе его. («В настоящее время совершенно борюсь с собой, и эта борьба лишает бодрости и силы, вся надежда на Бога».)

Море вскоре прискучило, но пищи для занятий было предостаточно.

В Петербург возвратился с большой папкой рисунков и работ маслом. С трудом дождался рокового 17 сентября, но... экзамен перенесли на конец месяца. Деньги кончились, и он, внутренне краснея, просил родителей не отказать помочь ему ввиду крайней нужды. Он все больше склонялся к мысли, что, видимо, после экзамена вынужден будет покинуть столицу.

Будь бы жив Максим Николаевич Воробьев, казалось ему, жилось бы легче. Тот русское в живописи отстаивал, а в Академии, что ни год, то новые идолы. Теперь вот Каламу фимиам курят.

Отчаяние, отчаяние брало его. Угадывалось оно и родителями и, можно сказать, результаты экзаменов были важны не только для него. Лишения и трудности, которые он испытывал, не могли не удручать родителей, и они всерьез подумывали, не ошибся ли он в выборе. В письмах своих усиленно звали его в Елабугу, на что Шишкин с горечью отвечал: «... я был на многих уже поприщах и ни на одном из них не основался, и вы желаете, чтобы я и от последнего отказался, более всех мне свойственного. После же этого что я буду за человек, буду как растрепанный, человек, который за многим гонялся и ничего не поймал».

В то лето им написаны были две картины: «Вид из окрестностей Петербурга» и «Пейзаж на Лисьем Носу». Заканчивал их на квартире и потому не ходил в академические классы. Одну из них готовился выставить на экзамен.

Нужно было выразить теплоту воздуха и прозрачность его. Важно было передать жизнь жарко дышащей натуры. Можно предположить, что такую задачу Иван Ива-

нович сам поставил перед собой, и на то указывают косвенные обстоятельства. Мокрицкий, напомним, будучи близко знаком с Н. В. Кукольником, обращал внимание Шишкина на его статьи. Иван Иванович не обходил их вниманием. В одной же из статей Н. В. Кукольника о творчестве М. И. Лебедева есть следующие строки: «Лебедев отличается от многих художников, по моему мнению, творческою теплотою, особенною поэзией своего художества; ему мало верности, сходства портретности; он дерзает подметить и передать зрителю жизнь, биение сердца жарко дышащей натуры». Надо думать, работы М. Н. Лебедева были близки Ивану Ивановичу, как и статья о нем Н. В. Кукольника.

Много «своего» находил Иван Иванович в пейзажах рано ушедшего художника, и было еще одно общее в картинах их, главное, о чем не раз Шишкин думал: «Правду сказал один известный мыслитель, что живопись есть немая, но вместе теплая, живая беседа души с природой и Богом».

Работая, Шишкин продолжал внутренний разговор с родителями и с самим собой: «Мое увлечение безукоризненное во всех отношениях, оно бы вполне оправдало меня, если бы представляло все выгоды существенности, оно бы тогда не казалось таким странным и бесполезным, и вы бы, любезные родители, не изъявили бы желание, чтоб я отказался от него, такие желания меня сильно расстраивают, я иногда бываю готов на ваши желания, но мне сейчас представится избитый путь моей прошлой жизни, что я был на многих уже поприщах...»

Серебряная медаль, которую художник мог получить на экзаменах, убедила бы родных, да и его самого в правильности выбранного пути. Но работа была отобрана у Шишкина, опечатана вместе с работами других учеников. претендентов на медали, и экзамен решительно перенесен на март следующего года. Мучиться предстояло всю зиму.

Долгие, тягучие месяцы прошли в тревожном ожидании. Он с трудом дождался 19 марта 1857 года и после экзамена, тревог, волнений, надежд вечером следующего дня спешил известить родителей, не умея и не желая скрывать радости, что удостоился первой академической награды. («Вы не старайтесь искать суждения об них в журнальных статьях, о выставке. Мои вещи еще так слабы, что не возбудят никаких толков, — это еще первый шаг к чему-то».)

Да, есть, есть все же Бог на свете!

На радостях отправил Ознобишину рисунок в подарок. Москвичи, до которых дошел слух об успехе Шишкина, присылали поздравления.

Наступила Пасха. Но она вышла в Петербурге скучная, дождливая. Колоколов не слышно. В один из дней надобно было явиться во фраке и белых перчатках, со шляпой в руках в актовый зал Академии для получения награды. Но у него с давних пор было органическое неприятие всего казенного, оно было противу его души. В залу Академии он не явился.

Медаль он получит из канцелярии через посредство профессора Воробьева и отправит родителям. В их глазах она решит участь Ивана Ивановича как художника.

Все лето он станет заниматься «с ожесточением» в деревне Дубки, под Сестрорецком. Воробьев, неплохой психолог, подметив большое самолюбие Шишкина, решил сыграть на нем и порекомендовал руководству Академии художеств прикрепить к Шишкину учеников, не сомневаясь, что это принесет пользу им и их учителю.

Гордость, прозвучавшая в письме Шишкина к родителям, свидетельствует, что Воробьев добился цели, попал в точку. («...и со мной как бы под покровительство или художественный надзор назначено еще двоим ученикам начинающим. Это уже настоянне нашего профессора Воробьева,который со мной очень хороши и меня любит и хорошо знает... другому кому, пожалуй, не сделает этого предложения»).

За лето лишь однажды выбрался в город, не хотелось отрываться от карандаша и красок.

Работалось споро. Каждый день, в одно и то же время, выходил из дому с мольбертом. Места окрест чудесные. Лес из дубков, посаженных Петром Первым. Сюжетов было предостаточно.

В свободное время читал «Губернские очерки» М. Е. Салтыкова-Щедрина, которые печатались в «Русском вестнике». («Не знаю, как вы, а я без смеха не мог смотреть на исправника и лекаря, и признаюсь, не без удовольствия бы на них посмотрел, таких оригинальных мошенников», — сообщал он родителям и был приятно удивлен, узнав о знакомстве папеньки с автором очерков.)

Приходили из Елабуги и другие новости. Сестра Анечка вышла замуж. В городе, на деньги купца И. И. Стахеева, основали монастырь.

Не страшно было теперь являться на родину. Он, сомнений в том не было, нашел себя. Казалось, все исполнялось как нельзя лучше.

Удачный год близился к концу, и перед самым Рождеством Шишкин получил серебряную медаль за рисунки карандашом. В Академии, ознакомившись с ними, были весьма довольны. Еще и еще мог повторить он про себя: «Есть, есть Бог на свете».

Глава четвертая
НА ВАЛААМЕ

Как и всякий большой русский талант, Шишкин подчас чувствовал неуверенность в своих силах. Нужен был человек, соприкосновение с которым способствовало бы утверждению духа, возрождению уверенности в себе, в правоте избранного дела. Таковым человеком для Ивана Шишкина в пору его ученичества был Дмитрий Иванович Стахеев — муж сестры Александры, человек натуры крепкой, своей благочестивостью и почтительностью вызывающий глубокое уважение у людей, знающих его. Стахеев по делам изредка наведывался в Москву, и каждый его приезд становился праздником для Ивана Шишкина. От него многое можно было узнать о родительском доме, Елабуге, городских новостях. А об Елабуге и жителях ее сильно приводилось скучать Ивану. Он и на этюды выбирался из города чаще всего с тем, чтобы отыскать места, хоть сколько-нибудь напоминающие далекую камскую родину.

Кроме родственных отношений, было еще одно немаловажное обстоятельство, сближавшее обоих. Стахеев имел тягу к искусству. Картин маслом Дмитрий Иванович не писал, неизвестны и какие-либо рисунки его, сделанные пером или карандашом, но дошла до нашего времени книга, написанная этим человеком в стихах и посвященная описанию памятного елабужского пожара 1850 года. С отрывком из поэмы мы уже ознакомились.

Много сие событие принесло забот вятской администрации, особенно М. Е. Салтыкову, который ведал тогда хозяйством губернских городов. Распоряжения о мерах по восстановлению Елабуги шли через него.

В конце книжки автор, как тому и положено, отметил место написания и обозначил год завершения труда: Елабуга, 1857. Несомненно, памятное событие оставило

неизбывный след в душе молодого купца, но, думается все же, толчком к попытке воспроизвести средствами изящной словесности минувшие события послужило то немаловажное обстоятельство, что именно Иван Иванович Шишкин своей верностью и преданностью к искусству затронул сокровенное и в душе Стахеева. Была она у него — эта тяга к сочинительству, увы, за обыденными делами так и не нашедшая развития. Может, поэтому он так и ценил Шишкина.

«...мне невольно пришли на память эпизоды чуть ли не детства, — писал Ивану Ивановичу в 1890 году его двоюродный брат М. Н. Подъячев, — вероятно, помнишь детскую поэму Д. И. Стахеева, выправленную мною и К. И. Невоструевым в Москве, «Пожар города Елабуги», который мы... покушались описать, а ты художественно изобразить... Но это, конечно, чепуха: мы оказались не поэты и ты не специалист изображать подобные катастрофы!!»

Так и видится картина давно минувшего: монашеская келья Чудова монастыря, мрачная, тесная, заполненная книгами, и три молодых человека, окружившие маститого профессора и со вниманием слушающие его. Капитон Иванович Невоструев, человек, в кругах ученых пользующийся уважением и авторитетом, был большим тружеником и времени свободного имел мало, но для любезных елабужан, как, впрочем, и для других, обращающихся к нему, все же находил его. В ту пору Капитон Иванович вместе с профессором Александром Ивановичем Горским занимался ученым описанием славянских рукописей, находящихся в патриаршей библиотеке, и основное время его проходило в тяжелой и кропотливой работе, в занятиях по различным библиотекам, в штудировании всевозможных книг по своей специальности, которые могли видеть молодые люди, пришедшие в гости к нему, в келью Чудова монастыря, где он жил. Имя этого человека звучало здесь уже не единожды, но пора сказать о нем особо, ибо знакомство и сближение с ним сыграли роль немаловажную в жизни Ивана Шишкина.

«Рассказывают, — писал о нем его биограф, — что когда в конце 1849 года скромный преподаватель семинарии Капитон Иванович Невоструев впервые появился в Москве в качестве описателя одного из древнейших его книгохранилищ, — первопрестольная столица встретила его не очень дружелюбно: над этим робким, застенчивым провинциалом в длинном плаще и порыжевшей шляпе

откровенно смеялись, а московский генерал-губернатор Закревский даже от души удивлялся, что есть еще люди, занимающиеся такими пустяками. Однако, когда появилось описание, никто уже не смеялся. Наоборот, было признано, что это — труд солидный, подобные которому не часты и на Западе, а Академия наук увидела в нем даже «гражданский подвиг». Когда же, вслед за описанием рукописей синодальной библиотеки, появились и другие издания и труды Капитона Ивановича, общество должно было признать, что это «лучший труженик науки». И оно признало...»

Человек благочестивый, он с детства привык к строгому порядку и строгой трудовой жизни. Еще в училище хорошо усвоил латинский язык и делал прекрасные переводы. Про него говорили, что он работал без устали, не покладая рук, сполна отдаваясь одному делу, посвящая ему все свои силы и ничего уже более не предпринимая, хотя бы новое занятие и сулило что-нибудь привлекательное.

В Москве многие люди ученые искали возможности вступить с ним в отношения. То историк Михаил Петрович Погодин пришлет какие-нибудь свои работы для сличения с синодальными рукописями, то Макарий Булгаков (будущий митрополит Московский) примется осаждать его разными справками и просьбами о сличениях и выписках для своей церковной истории, и никому Капитон Иванович не отказывал в просьбах.

«Живя свободою знаний, — говорил о нем Б. В. Барсов, — философским взором смотрел он на жизнь общества и всего человечества. Труд он считал призванием человека, и история всех народов пред ним рисовалась не чем иным, как непрерывным и разнообразным движением всеобщего труда человеческого...»

Иной раз, сидя в своей келье и поглядывая на собеседника, принимался он рассуждать и говорил тихо:

— Не к тому должны мы стремиться, чтобы трудами других пользоваться для своего удовольствия, но к тому, чтобы своею жизнию облегчить труды других.

Понятно, разговоры и встречи с ним не проходили бесследно для молодого художника, как и свидания со Стахеевым.

Вот почему поездка в конце 1857 года в Москву и встреча со Стахеевым и Невоструевым резко изменила настроение упавшего было духом Ивана Ивановича. Вернувшись из первопрестольной, он пишет родителям:

«...Для меня проходящий год 57-й был счастлив. Дай Бог, чтобы следующий был одинаково хорош. Приятно и весело мне поделиться с вами в настоящее время радостью, радостью, которою мне Бог послал на экзамене, бывшем 23 (дéкабря), для этого экзамена я начал готовить вещи с начала декабря и потом должен был оставить по случаю поездки в Москву, к братцу Дмитрию Ивановичу; до того времени я занимался плохо и как-то неохотно; все что-то беспокоило, как и всегда, но тогда в особенности все эти мышления разного рода скопились. Но как повидался с братцем, поговорили и побеседовали обо всем, беседа его имеет всегда рано или поздно благодетельное влияние. Он как бы дал мне толчок: возвратившись обратно, я почувствовал и силу, и любовь к искусству и принялся с жаром и усердием.

...Пребывание мое в Москве и свидание с братцем рассказывать не стану, это бы нужно в свое время и теперь оно прошло, да и к тому же он, я думаю, вам сам передал. А все-таки скажу, что, увидевши братца, я много получил впечатлений самых приятных и полезных.

Капитона Ивановича видел, он был ко мне очень расположен, как и прежде, извинял мое невежество, подарил мне вашу книжку, тятинька, о мельницах, — что мне очень приятно».

Ему хочется скорее приняться за работу, и, заканчивая письмо, он признается: «Эти три дня праздников, заниматься как-то совестно, а без дела скука. Сегодня нашел себе дела писать письма, а завтра начну опять работать, приятно и весело, и на душе легко, а без дела о! о! как оно нехорошо, нет ничего горше и хуже». И впечатление такое, будто, писав сии строчки, видел он перед собой образ маститого профессора Капитона Ивановича.

Да, гостеприимная Москва, с ее колокольными звонами, с ее семейными обедами, дворами и дворíками, в которых так уютно себя чувствуешь, патриархальным укладом была ближе Шишкину, чем Петербург (про него говорили, и недаром, что это «город без историй», не имеющий ничего «оригинального, самобытного», «веками освещенных воспоминаний... сердечной связи со страною»). Да и что это за город? Люди словно чужие друг другу. Каждый замкнут в себе, каждый насторожен, подозрителен. Здесь спокойным себя чувствуешь, лишь

занимаясь делом да увидавшись с близкими товарищами, которых, как и тебя, донимает премерзкая погода. А то изморось возьмется, а с нею у каждого горожанина (чего уж там говорить о приезжем) тоска да невыносимая скука начинается. Нет, трудно забыть хлебосольную и радушную Москву. Сколько в ней церквей да памятников исторических. А люди какие простые да откровенные. Верно, верно говорят, Петербург построен на сваях да на расчете. Здесь во всяком приезжем соперника видят. Не оттого ли в письмах из Петербурга проскальзывала у Шишкина именно эта нотка — нотка неприязни к петровской столице.

«Были мы сегодня на Адмиралтейской площади, — пишет он на масленицу 28 января 1858 года домой, — где, как вы знаете, цвет петербургской масленицы. Такая все дрянь, чушь, пошлость, и на эту-то пошлую катавасию стекается пешком и в экипажах почтеннейшая публика, так называемая высшая, чтоб убить часть своего скучного и праздного времени и тут же поглазеть, как веселится публика низшая. А нам, людям, составляющим публику среднюю, право, не хочется смотреть».

В праздничные дни работы останавливались, а без дела Шишкин не мог. Безделье мучило его. Противоречивые мысли рождались у него. Откровенный и прямой в общении, привыкший видеть в людях доброту и порядочность, он в столице соприкоснулся с миром иным, подчас чуждым ему. Интрига, зависть в кругу студентов Академии художеств задевали его, глубоко огорчали. Преподаватели были суховаты в общении, и одна надежда была — забыть обо всем, почувствовать свободу, выбравшись на природу. Но до лета было далеко. Не было и внимательного преподавателя, как Мокрицкий, здесь в Петербурге. Тот бы сразу понял причину переживаний и нашел бы чем утешить любимого ученика. Умный он человек. Аполлон Николаевич, жизнь испытал, все-то знает, только далече.

Немудрено, что в таких условиях работать тяжело, а то и просто руки опускались. Зиму работал-работал Иван Иванович, а получить большой серебряной медали не смог. Медали ему не дали. «...Профессор мой в недоумении, от моей картины он ждал лучше. И странно было, я и сам думал, что будет лучше — это просто незадача, — я бы теперь новую писал лучше, но уже времени нет — поздно.

Соперники мои торжествуют моей неудачей (вскользь

замечу, что это общий недостаток художников, зависть), которых четверо.

А жаль, это экзамен самый важный и он бывает один раз в год. Следовательно, год потерян.

...Но вот и лето недалеко, постараюсь оправдать себя в глазах профессоров, мне предлагают ехать на лето на Валаам. Но не знаю, как кончится, туда бы недурно».

В письме Шишкин впервые упоминает о Валааме, еще не зная, какую роль сыграет в его жизни пребывание на этом острове, где которое столетие подряд жили монахи и куда со всех концов России устремлялись паломники.

Была и еще одна причина душевной смуты Шишкина.

Московская школа живописи, в которой большую роль играла натура, в те годы как бы вступала в схватку с академическими взглядами на пейзажную живопись («видопись»). Задачи Академии были несколько иными, и московское течение вызывало если не раздражение, то глухую неприязнь.

Если москвичи тяготели к изображению естества, неприукрашенной природы, находя в ней именно национальное, то петербуржцы требовали от видописцев доведения естества до установленных, выработанных годами канонов красоты. Понятно, какое отношение со стороны петербуржских профессоров могли ощущать на себе молодые художники — недавние выпускники Московского училища живописи и ваяния.

Под влиянием новых требований, а просто сказать по вынужденной необходимости, должен был придерживаться принятых канонов и Шишкин. Что это так, можно судить по двум его упоминавшимся здесь работам: «Вид в окрестностях Петербурга» и «Дубки под Сестрорецком», написанным в первые годы пребывания в Академии.

Однако он не мог забыть заветов московских учителей. И не кто иной, как Мокрицкий, возможно, вспомнив об уроках Венецианова, обращал внимание Шишкина на необходимость изучения натуры и поисков самостоятельного, неподражательного пути творчества. Не потому ли Иван Шишкин при каждом удобном случае садился писать письмо учителю и спрашивать советы. Мокрицкому он доверял как никому. И получал долгожданные ответы.

Да, тот и здесь был его преподавателем. К нему, а не к официальному руководителю по Академии профессору

С. М. Воробьеву обращался он в тяжкую для себя минуту, и у него находил помощь. Впрочем, по справедливому замечанию одного из историков искусства, то, что Воробьев не пытался всерьез руководить Шишкиным, «можно считать только положительным явлением».

Через много лет Иван Иванович, вспоминая те давние студенческие годы, запишет на листке бумаги: «Недостаточность руководителей и руководств по искусству вызывала необходимость добиваться всего своими силами, ощупью, наугад».

В те годы на ощупь и наугад пробивался не он один.

В конце пятидесятых годов внимание русских художников, которым начали претить итальянские виды, привлек Валаам.

«Остров Валаам, бесспорно, живописнейшее место старой Финляндии, — писал известный подвижник и духовный писатель XIX века Игнатий Брянчанинов. — Он находится на северной оконечности Ладожского озера. Подъезжаете к нему — вас встречает совершенно новая природа, какой не случалось видеть путешествующему лишь по России: природа дикая, угрюмая, привлекающая взоры самою дикостию своею, из которой проглядывают вдохновенные, строгие красоты. Вы видите отвесные, высокие, нагие скалы, гордо выходящие из бездны: они стоят, как исполины, на передовой страже. Вы видите крутизны, покрытые лесом, дружелюбно склоняющиеся к озеру. Тут какой-нибудь пустынник вышел с водоносом в руке почерпнуть воды и, поставив на землю водонос, загляделся на обширное озеро, прислушивается к говору волн, питает душу духовным созерцанием. Вы видите огражденные отовсюду гранитными, самородными стенами заливы, в которых спокойно дремлют чистые, как зеркало, воды, в то время как в озере бушует страшная буря...»

Издалека подплывающим к острову видны были главы монастырских церквей.

До середины XIX века отдаленность и труднодоступность Валаама препятствовали посещению его паломниками. В 1843 году было открыто регулярное пароходное сообщение с островом.

На Валаам раз в неделю приходил из столицы государства Российского пароход. Пассажиры добирались по неспокойному Ладожскому озеру до монастырской обители два дня. Толпившиеся на палубе путешественники с жадностью вглядывались в трудно различимые за густой

зеленью деревьев монастырские постройки. Молва об иноках-отшельниках, живущих на острове, разошлась далеко в глубь России. Паломники преодолевали огромные расстояния, чтобы посетить один из древнейших мужских монастырей. Люди, любящие и ценящие прошлое, могли многое увидеть и узнать здесь. Монастырская библиотека со вкусом собиралась в продолжение многих веков.

«Основание и существование монастыря Валаамского с достоверностью относится к глубокой русской древности — к такому заключению приводят некоторые исторические факты, — писал И. Брянчанинов. — Преподобный Авраамий, основатель и архимандрит Ростовского Богоявленского монастыря, пришел еще язычником в Валаамскую обитель в 960 году после Рождества Христова, там крещен и пострижен в монашество. В Софийской летописи сказано: лета 6671 (1163 после Рождества Христова) обретены были и перенесены мощи преподобных отец наших, Сергия и Германа Валамских. Другой летописец упоминает, что в 1192 году игумен Мартирий построил каменную церковь на Валаамском острове. Местное предание, подкрепляемое этими и подобными же до нас дошедшими скудными сведениями, признает преподобных Сергия и Германа греческими иноками, современниками равноапостольской великой княгини Ольги. Во все исторические просветы, в которые от времени до времени проявляется существование Валаамского монастыря, видно, что иноки его проводили жизнь самую строгую...»

О Валааме говорили не иначе как о «Северном Афоне». Сам остров, замечал один из исследователей, казалось, был создан для подвига человеческого духа.

В четырнадцатом веке на Валааме жил «несколько времени» преподобный Арсений Коневский, «положивший начало монастырю Коневскому». Здесь в пятнадцатом столетии (во второй половине) «безмолвствовал на Святом острове, в тесной пещере» преподобный Александр Свирский. Преподобный Савватий Соловецкий именно отсюда перешел «для глубокого уединения на Белое море, на дальний Север, в пустыни Соловецкого острова, дотоле необитаемые».

Читаем в воспоминаниях святителя Игнатия: «...Не раз Валаамский монастырь подвергался опустошению от шведов; не раз иноки его падали под острием меча в землю, орошенную пóтом молитвенным, орошали кровию мученическою; не раз пылали святые храмы и хи-

жины иноческие, зажженные рукою врага или неосторожности. Но местность Валаамского монастыря, его многообразные удобства для всех родов иноческой жизни скоро возобновили в нем черноризное народонаселение. Валаам назначен, освящен в место богослужения как бы самою природою... Когда взглянешь на эти темные, глубокие воды, на эти темные, глухие леса, на эти гордые, могучие скалы, на всю эту величественную картину, беспрестанно изменяющуюся и беспрестанно живописную; когда прочитаешь в ней глубокое поэтическое вдохновение, сравнишь с роскошною местностию Валаама скудную местность окружающей его Финляндии, — скажешь: «Да, здесь должен был жестокосердный и воинственный скандинав изменять свои бранные, суровые думы и ощущения на благоволение; здесь должна была душа наполняться всем, что возносит душу человеческую к высшим ощущениям, доставляемым религиею».

Первозданный вид природы, красота мест, аскетический нрав валаамских монахов влекли паломников. Приезжали с ними на остров и студенты Петербургской Академии художеств.

Пароход, привозивший их, приходил в субботу, поздно вечером. Освободившись от груза, мирно отчаливал, шлепая лопастями колес по воде, скрывался за поворотом монастырской бухты, и связь с миром обрывалась.

На Валааме шла другая жизнь.

«На этой суровой скале, — писал Н. С. Лесков, побывавший на острове несколько позже И. И. Шишкина, — не любят праздных прогулок. Откуда бы ни приплыл сюда дальний посетитель и как бы ни велико было в нем желание познакомиться с островом, он не может доставить себе этого огромного удовольствия, — говорю огромного, потому что остров поистине прекрасен и грандиозные картины его восхитительны.

На Валааме за обычай паломник подчиняется послушанию. Он должен ходить в церковь, молиться, трапезовать, потом трудиться и, наконец, отдыхать. На прогулки и обозревания здесь не рассчитано, но однажды мне... удалось обойти в одну ночь весь остров».

Суровая дисциплина на острове была сродни суровой природе. Неистовые штормы нередко бушевали вокруг Валаама. Волны пятиметровые набрасывались на остров. Неожиданные туманы окутывали землю. Невозможно было выходить из помещения.

Жить и работать в таких условиях, конечно же, было

трудно. Но Валаам год от года преображался трудом человека.

Крепкий был хозяин на острове, о котором нельзя не упомянуть, — настоятель монастыря, игумен Дамаскин. Нельзя не упомянуть о нем еще и потому, что многое сделано было этим человеком и для молодых художников, приезжавших на остров работать. Был он знаком со всеми из них и в каждом оставил добрый след. Его вниманием дорожил и Иван Шишкин, оставивший ему на добрую память несколько своих картин. Суровый то был человек, начитанный — выходец из крестьян, уроженец Тверской губернии Дамиан Кононович, — при постриге получивший имя Дамаскин. Человек непреклонной воли, он прошел тяжелую жизненную школу, хорошо знал людей и дело, на которое ставил их. По его повелению в скитах, сквозь скалы, пробивали колодцы, при нем начали действовать на Валааме заводы — лесопильный, кирпичный. Он будет печься о постройке бесплатной гостиницы, в которой, со временем, суждено будет останавливаться И. И. Шишкину, Ф. А. Васильеву, П. И. Чайковскому, Д. И. Менделееву, Н. С. Лескову... Сколько людей с благоговением будут вспоминать этого мудрого старца. Каждому уделит время, побеседует. Житейская мудрость и созидательная страсть его подкупали всякого.

Да и как иначе относиться к человеку, который задолго до назначения его игуменом Валаамского монастыря более десяти лет провел в уединении, приняв обет молчания.

Сохранился гравированный портрет этого умного, властного человека, так много сделавшего для Валаама, на котором прожил не один десяток лет. Портрет этот — одна из лучших работ ректора Петербургской Академии художеств Иордана, покоренного личностью игумена.

Да, строги были здесь правила. «На Валаам приедете — и ничего, кроме большой церкви, не увидите, — говорил один из спутников Н. С. Лескова, — ...по одному скиту показывают, а в некоторые, самые-то интересные, где самые строгие старцы живут, туда и совсем не ведут и одного туда не пускают, а ослушаться нельзя».

О Валааме многое слышали студенты Петербургской Академии художеств от своих товарищей, побывавших на острове. Годом ранее Ивана Шишкина на острове работал М. Клодт. Его картина «Вид на острове Валааме» — одна из удачных попыток живописца запечатлеть черты северной природы. Понятно, что стремление побы-

вать на этюдах на далеком острове не покидало и Ивана Шишкина, и потому в марте 1858 года, в письме к родителям, он не забывает упомянуть о предложении Академии: «...мне предлагают ехать на лето на Валаам. Но не знаю, как кончится, туда бы недурно». Кончилось благополучно. Совет постановил ему ехать на Валаам. И в апреле месяце он сообщает домашним: «...Я, конечно, согласился, и весьма рад этому. Да и жизнь будет для нас там совершенно новая. Вполне монастырская...

Монахи гостеприимны и приветливы, и художников очень любят, мы вчерась были в часовне Валаамского монастыря... спрашивали, когда пойдут пароходы туда, и познакомились с экономом и казначеем, которые очень добрые и приветливые. Ехать туда можно не ранее 15 мая, ладожский лед еще стоит. Нева прошла, кажется, 18 апреля... О подробностях жизни и впечатления буду писать с места.

Адрес туда таков: Выборгской губернии в город Сердобль, оттуда в монастырь Валаамский, или просто на Валаам. Художнику такому-то.

Не знаю, что Бог сделает, как он поможет мне на нынешнее лето».

Вздох неудовлетворения слышится в последней строке письма. И это понятно. Шишкин недоволен работой, которую готовит для экзамена. и, несмотря на приложенные усилия, положения выправить не удается и на экзамене он не получает медали. Вся надежда на Валаам. Подальше от людей, от Петербурга, поближе к природе, — на безлюдные острова, «куда... часто посылают на выдержку, потому там природа такая разнообразная, дикая и, следовательно, трудная...».

Письмо написано в день отъезда А. Н. Мокрицкого из Петербурга, куда тот приезжал повидаться с братом — правителем канцелярии обер-полицмейстера графа Шувалова и любезными учениками, которые держались крепко друг друга в чуждой им столице. Посетил Аполлон Николаевич в эти дни (шел снег, слякоть, мерзостно) выставку в Академии, посмотрел работы учеников, рассказал о московских новостях, о подающих надежды, и притом большие надежды, учениках училища Саше Попове и Льве Каменеве.

— Такие пейзажи пишут, все удивляются, — говорил Аполлон Николаевич. — Каменев лирик. Тонко природу чувствует Его Саврасов очень ценит, — добавил он.

Со Львом Львовичем Каменевым Шишкин был близко

знаком еще по училищу и потому радовался успехам товарища, слушая о том из уст Аполлона Николаевича. А вскоре Каменев появился в Петербурге. Отыскал Шишкина. Оба обрадовались встрече. Шишкин все приглядывался к товарищу.

Каменев был высокого роста, скромным молодым человеком. Они были одногодки. Неклассный художник Лев Львович Каменев и студент Академии художеств Иван Иванович Шишкин. И судьба-то их чем-то сродни была. Оба из купеческих семей. Обоих страстно тянула живопись.

— Ты знаешь, — говорил Каменев, — хозяин, дай ему бог доброго здоровья, дал мне денег для поступления в Академию. Я ведь служил у него в конторе, ты знаешь. Призвал к себе и говорит: «У тебя, Лев, есть охота и страсть к искусству. Учись, но знай — путь твой будет тяжел и одинок. Много горя хватишь ты. Мало кто поймет и мало кому нужно художество. Горя будет досыта. Но что делать. И жалко мне тебя, но судьба, значит, такая пришла. Ступай». И поехал я с его деньгами. А ежели бы не он, Ванечка, как бы все сложилось. А мне ведь учиться охота.

Ему суждено было стать одним из создателей русского лирического пейзажа. Его картины поражают душевностью. Оторваться от них трудно. Сколько можно простоять у его картины «Зимняя дорога» и благодарить за нее ее создателя. Волею судеб, Каменев не принадлежал к баловням судьбы. Нужда сопровождала его всю жизнь, и умер он в глубокой бедности. Но он притягивал к себе людей искренностью своею, честностью. С ним можно было быть откровенным. Ему Шишкин показал свои работы и рассказал о предстоящей поездке на Валаам.

* * *

Пароход «Валаам» отходил от Калашниковской пристани раз в неделю, в пятницу. Уверенные, что отправятся на остров без затруднений, художники приехали на пристань за час до отправления. Велико же было их удивление (даже растерянность появилась), когда на пристани они увидели гудящую толпу паломников, желающих попасть на переполненный вконец пароход. Толкаясь, задевая друг друга чемоданами, кошелками, узлами, люди кричали на разные голоса, размахивая руками, и старались пробиться к кассиру-монаху, выдававшему билеты.

Пришлось проявить сноровку, чтобы обзавестись билетами и подняться на палубу парохода. Видно было, как на пристани маленький проворный монах взобрался на тумбу и закричал отчаянным голосом:

— Господа! Больше ни один человек не получит билета!

Поднялись вопли и крики, но все заглушил пароходный гудок. Перед иконой отслужили молебен.

Третий гудок — и пароход медленно отвалил от пристани. Средняя, носовая и верхняя палуба были заполнены пассажирами; все крестились.

Но вот пристань исчезла из виду и пассажиры могли приглядеться друг к другу. Внимание художников привлекла старушка с красными воспаленными глазами. За плечами у нее был холщовый, туго набитый мешок, на ногах лыковые лапти, в руках — суковатая палка. Старуха охотно отвечала на вопросы и рассказала, что идет пешком из Казанской губернии на Валаам. Родных у нее нет, и она ходит теперь по святым местам. Была два раза в Киеве, два раза в Соловках, в Сарове, в Новом Иерусалиме; в Кронштадте... И это все пешком, а ей шестьдесят лет с лишком!

— Денег нету, пешком ходим, пешком... — говорила она и благодарила монастырскую братию, разрешившую ей добраться до Валаама бесплатно.

Рядом с Шишкиным мужчина, средних лет, с весьма умным лицом, говорил спутнику:

— Вот думается: какая сила живет в народе, что гоняет людей из Казанской, Вятской, Ярославской губерний то в Киев, то в Соловки, то на Валаам... и люди, совершающие столь великий нравственный подвиг, проходящие пешком тысячи верст, даже не считают это за подвиг. Просто идут «потрудиться за Бога».

— Того душа русская требует, — отвечал ему тихо собеседник, молодой священнослужитель.

— В давние времена и Иерусалим русские ходили. А сколько, помните ли, хождений было написано. Целая литература. А нынче и не пишут.

— Позвольте вам заметить, — отвечал молодой монах, — в шестнадцатом столетии Византия поступилась своим православием: греки перестали быть учителями и наставниками русских в православной вере, — они уже были отступниками. Флорентийская уния охладила стремление русских паломников к святым местам Востока, паломничество перенеслось внутрь страны, и литература заметно пала.

— Не исключено, что здесь сыграли роль и оказали влияние и отношения с Западом. Именно они внесли тот научный скептицизм, который разрушает, подтачивает веру.

— Вы верно подметили. Народ продолжал верить глубоко, искренне, но не решался доверить свои чувства бумаге, опасаясь этого самого, как вы выразились, научного скептицизма, — и народная вера стала замкнутой, бессознательною, верою не ума, а сердца. Вы взгляните на лица едущих. Не во всех, но во многих увидите истинную веру.

— Верно. Но многие едут из праздности, как ни грустно.

— Город людей портит. Люди удовольствий ищут. А удовольствия общественные развращают людей, делают слабыми их духовно. Человек тогда крепок, когда вера и нравственность крепка. Человек впадает в большую и опасную ошибку, если думает, будто цель его жизни, всех забот, трудов и попечений есть та, чтобы иметь возможность когда-нибудь порядочно повеселиться; или если почитает большим счастливцем того, кто столько богат, что может иметь всякие удовольствия, каких только душе угодно. Такое ложное понятие, смею заметить, сильно укоренилось в рабочем классе. Конечно, счастие есть цель жизни; но всяк тот достоин сожаления, кто не знает другого счастия, кроме доставляемого сердцу общественными увеселениями.

Миновали фабрики, пригороды, поселки и только верст через двадцать перед пассажирами открылись зеленые берега, небольшие рощи. По левому берегу пролегал тракт на Шлиссельбург.

Завидев пароход, люди на берегу начинали махать платками, руками. Ребятишки до изнеможения бежали по берегу за пароходом.

Наконец вышли в открытое озеро. Пароход взял курс к Коневцу. Небо ясное, воздух чистый и холодный. Солнце ласково грело. Озеро сливалось с горизонтом. Пароход мерно подрагивал.

— Красота, — радостно произнес кто-то. — Воистину Божья благодать.

— Ну да, — возразили ему, — видать впервой едете.

— Оно так и есть, а что?

— А то, что пофартило вам. Как вздыбится море,

только держись, и молитва иной раз не помогает. Того и гляди пароход перевернется.

— Ну?

— Вот те крест. К вечеру будем в Коневце.

Вскоре солнце сморило всех и на пароходе молчали, лениво поглядывая на обгоняющие пароход волны, на чаек, кричащих за бортом. Глаз отдыхал на этой необозримой водной глади. Шишкин думал о Валааме, об услышанном нечаянном разговоре, искал взглядом монаха, думая о том, кто он. Мысли его чем-то были близки Ивану Ивановичу, и хотелось послушать его, побеседовать с ним, но он не решался сделать этого.

К вечеру, едва зашло солнце, захолодало. Наконец пароходный гудок возвестил приближение к Коневцу, и здесь только Шишкин возымел возможность обратиться к монаху.

— А отчего такое название, извольте вас спросить?

Монах глянул на него изучающе и, увидев любопытство не праздное, вежливо и обстоятельно ответил:

— Есть на острове камень. Носит он название Конькамень. От сего удивительного дара природы остров и получил название Коневец. Камень этот, по преданию, служил предметом особого почитания язычников корел, кои ежегодно приносили ему в жертву одного коня. Ныне на вершине камня часовня небольшая деревянная поставлена. Да вон, глядите, приближаемся.

Все паломники сошли на берег и направились в церковь, где служился молебен пред иконой Коневской Божьей матери и чудотворцу Коневскому преподобному Арсению.

Заночевали в Коневце и на следующий день были на Валааме.

Гостиница на тысячу мест была переполнена. Художников разместили в мансарде с деревянным потолком, который весь был испещрен различными надписями и инициалами. Одни просились работать на огороде, но их не допустили. Другие расписывались в том, что косили сено. Из окна видны были соседние строения, лес, воды озера. Жарко палило солнце. Было за полдень. По двору сновали монахи.

Вскоре художники знали, что всей братии на острове около тысячи человек. Нельзя было сказать, глядя на них, что у них постные лица. Да и то верно, замечали приезжие, что никогда крестьянин у себя дома не видит такой пищи, — а большинство монахов было из крестьян, — но даже городские жители монастырской трапезой бывали довольны.

Подивил стол и художников. Дневная трапеза наступала после поздней обедни. Вот как описывает ее один из паломников: «Народ из церкви направился в трапезную и рассаживался по своим местам в ожидании игумена. В громадной зале в три ряда в длину были расставлены столы, застланные белыми скатертями. Богомольцы трапезовали вместе с братиею, женщины отдельно, в гостинице. При входе игумена все поднялись, певчие запели положенные молитвы.

Игумен с двенадцатью монахами из старшей братии заняли особое место за первым столом в средней линии. Снизу к столу был подвешен колокол, в который игумен ударял, и это служило знаком инокам к перемене блюда и конца трапезы. Пока за столом ели, чтец за аналоем, посреди трапезной, читал громко «жития святых».

Купанья были отменные, и художники переглядывались между собой. (В городе Иван Иванович часто обедал только хлебом с квасом, который брал постоянно в одной лавке.) Сытный здесь, в монастыре, был обед. На первое подали холодное — мелко нарезанный лук, капусту, свеклу и еще что-то растительное; все это было полито квасом. На второе щи, на третье суп, на четвертое каша...

Как то и положено, паломников во время их пребывания на Валааме возили каждый день по скитам на катерах и маленьком пароходе. Шишкин мог впервые увидеть скит Всех Святых, замечательный скит на острове Александра Свирского. Собственно, не скит, а самый остров: высокий, скалистый, поросший лесом, с прекрасным видом на озеро.

Приближался праздник — Вознесение Господне — и на остров, кроме паломников, приезжали олончане и корелы. Приплывали нижегородцы с Ильменя.

«В половине четвертого утра уже звонили к ранней обедне, — писал современник. По первому звону колокола братия выходила из келий, и неторопливо, один за другим, в клобуках и мантиях, как положено, направлялись монахи в церковь.

По вечерам обширный храм тонул в полумраке; четко выделялись потемневшие иконы, освещенные множеством свечей. Из алтаря доносился проникновенный голос иеромонаха*, ему отвечал отлично подобранный хор».

* Иеромонах — монах, имеющий сан священника.

И остров, и жизнь на нем поразили воображение художников. В первые же дни побывали они в монастырской библиотеке, насчитывающей около двадцати тысяч томов. В библиотеке же помещалось несколько витрин, в которых хранились предметы, составляющие небольшой монастырский музей.

На самом верху колокольни устроена была башня с окнами во все стороны; там находилась сильная подзорная труба и несколько морских биноклей; в башне постоянно дежурили монахи. Они извещали о приближении судов и о каких-либо несчастиях с судами на озере; в таких случаях из монастыря, как о том говорили люди бывалые, немедленно высылалась помощь.

И только глядя отсюда на бескрайнее озеро, можно было осознать, как далеко от острова материк. На Валааме шла другая, совсем иная жизнь.

«Монахи сначала встретили Шишкина, Каменева, Феддерса и Гине не особенно дружелюбно, — пишет Комарова, — чему причиной был Пискунов, который там жил летом 1857 года и позволял себе разные издевательства над монахами, бранил их и рассказывал про них разные анекдоты. Монахи сперва терпели, но потом пришли к нему, взяли его под руки, привели в общее собрание и начали отчитывать раба Божьего от нашествия злого духа, после чего Пискунову оставалось только уехать из монастыря. Теперь вновь приехавшие ученики быстро сделались любимцами монахов, как только те поняли, что это люди совершенно другие. Для Ивана Ивановича Валаам «девственно новый, суровый и величавый», был просто откровением, наложившим печать на всю его дальнейшую деятельность; изобилие воды в лесу, вековые сосны на скалах до последнего времени остались его любимыми мотивами.

Тамошняя жизнь пришлась ему как нельзя более по сердцу; даже постный, но изобильный и разнообразный монашеский стол всегда казался ему самым вкусным.

Жил он там всегда в веселой компании товарищей; на дальние этюды они ездили на лодке, иногда в сопровождении игумена Дамаскина; возвращаясь домой, неоконченные этюды покрывали клеенкой и прятали под скалами вместе с ящиками и красками, так как трогать было некому (кроме монахов, никто не имел права ходить по острову). Мольберты они себе строили на месте из целых бревен, рубили деревья и связывали их веревкой».

Игумен приглядывался к художникам. Ему нравилась работоспособность Шишкина. Да и внешним видом, костюмом своим и сильной медвежьеобразной фигурой он невольно напоминал семинариста. Недаром и товарищи его так в шутку называли. Близки Дамаскину были эти молодые люди, все внимание которых не было устремлено на внешнюю приятность, щегольство в одежде, любезность и ловкость в обращении. А сколько этот пожилой человек знал таких, кому и на ум не приходило, что благородство в чувствованиях, возвышенный дух, услуги, оказанные согражданам, Отечеству и ближним, славнее способности и искусства нравиться в свете. Скольких погубила страсть к блистанию в обществе. Жалкие люди.

Симпатичны ему были молодые художники. Видел он в них людей ищущих. Но изо всех выделял Ивана Шишкина. Благочестив, делу предан. Разве что душа успокоения не находит, но то признак таланта. Не тот творец, у кого душа не живая. Особенно близок ему стал этот художник после того, как услышал игумен его слова о назначении живописца:

— Посвятить себя живописи — значит отказаться от всяких легкомысленных занятий жизни. Изящные искусства ведут ко всему прекрасному, искреннему, благородному — ко всему, что зовется надеждою, советом и утешением.

То прорывались сокровенные мысли Ивана Ивановича, которые он вынашивал с давних пор, еще с первых лет обучения в Московском училище живописи и ваяния.

Расположившись у жаркого костра, художники иной раз всю короткую белую ночь проводили в беседах.

— Природу должно искать во всей ее простоте, — говорил Иван Иванович. — Мне кажется, истина в том, что рисунок должен следовать за ней во всех ее прихотях формы.

— И все-таки она прекрасна — природа, — говорил кто-то из товарищей. — Какая-то божественная красота в ней. Славно, что мы выбрали ландшафтную живопись.

— Красота, о коей вы говорите, — замечал Шишкин, — есть Божественное откровение, нам данное...

Валаамская природа напоминала родную елабужскую, и Иван Иванович чувствовал себя здесь спокойным. Спокойным и уверенным, и мысли, которые заглушались учителями в Академии, здесь обретали свободу и развитие.

Церковный колокол, сзывавший монахов к утренней

молитве, иногда заставал художников на озере, далеко от острова. Тишину нарушал крик чаек. Всходившее солнце освещало вековые сосны, скалы, тропинки, ведущие к берегу.

В разных концах острова видели монахи высокую фигуру петербургского художника. Расположившись в глубине леса, принимался Иван Иванович «штудировать природу», зарисовывать увиденное в альбом. «Главнейшее для пейзажиста есть прилежное изучение натуры — вследствие сего картина с натуры должна быть без фантазии» — мысль эта, записанная в ученическую тетрадь еще в Москве, ныне стала одной из главных в его работе.

В то лето Иван Шишкин как бы воскрес духом. Работалось споро, да и жизнь на острове восстановила его нравственные силы. Не без жалости он покидал осенью остров, теперь уже имея твердую намеренность в следующее лето прибыть сюда. Краше Валаама и ближе природы по духу ему в здешних местах не виделось.

Глава пятая
В ПЕТЕРБУРГЕ. ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ

«... К Петербургу после Валаама я понемногу привыкаю, а то сначала на все смотрел глазами чудака, до того я свыкся с тишиной монастырской жизни и Валаамом вообще, что трудно отвыкнуть, — писал Иван Иванович вскоре после возвращения в столицу родителям. — Бог даст, на следующее лето туда опять. Монахи будут рады, они нас полюбили. На днях у меня был казначей валаамский и от лица игумена звал нас на следующее лето. Игумен прислал нам по просфоре и благословил по долгу и назначению. Уезжая оттуда, он нам тоже сделал подарки — книгу описания монастыря, плодов своего сада — яблоки и теперь водятся у нас. Все это приятно, но главное, сам Валаам живописен в высшей степени. Занятия наши на нем принесли нам пользу и успех».

Шишкин и Гине жили на Васильевском острове, на Малом проспекте, между 5-й и 6-й линиями, в доме Бернардаки, на четвертом этаже. По вечерам к ним приходили товарищи по Академии. Народу множество. Приходили с приятелями люди и вовсе незнакомые. Разглядывали картины и рисунки, развешанные на стенах, расспрашивали о Валааме, рассказывали о петербургских новостях.

Шишкин ознакомил профессора С. М. Воробьева с летними работами и оставил того в приятном расположении духа. Воробьев пообещал, что Совет академии наградит его достойным образом. А некоторые рисунки и картины, писанные с натуры, профессор советовал издать.

Работы много, но в свободную минуту Иван Иванович принимается бродить по городу. Нужно увидеть, какие изменения произошли за лето. Да и приятно, чего уж там, просто побывать на людях.

В тот год состоялось открытие Исаакиевского собора. В газетах и журналах появились хвалебные статьи в адрес Монферрана, по проекту которого был построен собор.

До нынешнего лета студенты Академии художеств часто могли видеть, как ранним утром на набережной Мойки, близ Прачечного переулка, появлялась невысокая, подвижная фигура пожилого щеголя, одетого в наглухо застегнутый синий фрак с золотыми пуговками. Белоснежные воротнички подпирали румяные щеки. Маленькие глазки, живые и умные, освещали всегда улыбчивое лицо. Это был Август Августович Монферран. Пешком отправлялся от своего дома к месту постройки собора. На улице он постоянно раскланивался. Его знал весь город.

О нем говорили во всех домах. Из уст в уста передавались всевозможные истории и сплетни. Необыкновенная судьба этого человека интриговала многих старых петербуржцев. Ведь многие из них помнили, как этот «французик» ютился под самой крышей в каморке.

Как известно, работы по постройке собора затянулись на сорок лет и были завершены лишь в то лето 1858 года.

По Петербургу тогда упорно ходил слух, будто один «ясновидец» предсказал, что строитель Исаакиевского собора тотчас умрет, как закончится постройка. И потому (тут петербуржцы переходили на шепот) Монферран не спешит с постройкой. Более здравые люди объясняли все очень просто: Монферрану невыгодно заканчивать строительство, приносящее ему огромные деньги.

Архитектор имел роскошный особняк, утопал в роскоши. Каждый имел к нему какое-нибудь дело. Люди искали его расположения.

30 мая 1858 года собор при огромном стечении народа был торжественно освящен. Государь император был доволен. Архитектор получил 40 тысяч рублей золотом и золотую медаль с бриллиантами. А через месяц зловещее предсказание сбылось — Монферран умер.

Он выразил желание быть погребенным в стенах Исаакиевского собора, над созданием которого трудился столько лет. Но император счел возможным разрешить лишь обнести гроб с телом покойного вокруг собора. Затем траурная процессия направилась к католической церкви на Невском проспекте, откуда прах был отправлен во Францию для погребения.

«Собор Исаакиевский мне не нравится, страшно пестрый и тяжелый и безвкусный, наружность гораздо великолепнее — а богатство страшное», — сообщает Шишкин в письме домой. Его самостоятельность суждений в письме проглядывает очень явственно. Да и трудно человека со сложившимся мнением сбить с мыслей газетными статьями.

Посетил он и Румянцевский музей, где и то время демонстрировалась картина А. А. Иванова «Явление Христа народу».

«...видел знаменитую картину Иванова», — писал он родителям 19 сентября, едва приехав в столицу. От товарищей он услышал о похоронах художника, вернувшегося в Петербург из Рима и умершего через шесть недель по возвращении на родину. Некоторые из студентов Академии художеств в то лето уехали писать этюды в Дубки. Когда сделалось известно о смерти Иванова, несколько художников отправились пешком туда, сообщить печальную новость своим собратьям. Джогин и другие отправились в Петербург. Боясь опоздать к выносу тела, они ускоренными шагами шли всю ночь. Впечатление от смерти Иванова было очень сильным.

Известно, что в Риме художник жил затворником. Все мысли были сосредоточены на главной своей работе. Только расстройство зрения да недомогания прервали его работу.

«Как это вы можете, Александр Андреевич, терять понапрасну самое дорогое время в году, — говорили ему товарищи. — Придет лето — тут только бы и работать, смотришь, а вы как раз тотчас уезжаете: то в Венецию, то в Неаполь, то в Субиако, то в Перуджио! Как это можно! Этак вы и в сто лет не кончите картину». — А как же-с, нельзя-с, — отвечает Иванов. — Этюды, этюды, мне прежде всего-с этюды с натуры, без них-с мне никак нельзя с моей картиной». — «Что с ним поделаешь! Так и отступишься. Упрям и своеобычен был сильно», — вспоминал об Иванове ректор Академии художеств Иордан. Для этой картины Иванов исполнил свыше трехсот этюдов с натуры. Они и вызывали удивление у Шишкина. О картине он слышал от Мокрицкого и Рабуса в Москве. Читал о ней у Гоголя. Но вот этюды... Они поражали воображение.

«...вид сей живописной пустыни, окружающей группу, исполнен так, что изумляются сами ландшафтные живописцы, живущие в Риме, — писал Н. В. Гоголь в «Избранных местах из переписки с друзьями». — Иванов для этого просиживал по нескольким месяцам в нездоровых Понтийских болотах и пустынных местах Италии, перенес в свои этюды все дикие захолустья, находящиеся вокруг Рима, изучил всякий камушек и древесный листок, словом, сделал все, что мог сделать, все изобразил, чему только нашел образец».

Да, чувствовалось, что для него, как для пейзажиста, было наслаждением наблюдать жизнь речного берега, камни и растительность, обогреваемые солнцем. И Шишкин искренне жалел, что не смог и не сможет теперь познакомиться с великим живописцем. Еще совсем недавно Иванова можно было видеть на выставке. Скромный, молчаливый, он, говорят, бродил среди своих этюдов, прислушивался к отзывам зрителей. Говорили, что он, видимо, страдал душою. Передавали, что ехать в Петербург он как-то суеверно боялся: ему казалось, с этим кончится его художническая жизнь. Да и денег на поездку не было.

Великая княгиня Елена Павловна, посетив в 1858 году студию Иванова, предложила на свой счет отправить картину в Петербург. Иванов отправился вместе с ней, но в дороге заболел сильным кровотечением из носа и настолько ослабел, что долго не мог ехать дальше.

Его картина была выставлена в Зимнем дворце, где ее осмотрел государь, а затем она вместе со всеми этюдами и эскизами была помещена в Академии художеств, чтобы дать возможность ознакомиться с ней публике.

Петербург встретил картину холодно. И он болезненно воспринял это, так как еще в Риме более всего боялся петербургской оценки. «Его произведение создало ему известность, но она совсем не была похожа на громкую славу русского художника, победителя в состязании талантов всего мира, о которой некогда мечтал Иванов», — писал его биограф.

Да и материальные дела вернувшегося в Петербург художника были неважными. Жить практически было не на что. Наконец, Иванов узнал, что получит за картину

10 тысяч рублей единовременно и 2 тысячи рублей ежегодной пенсии. Через три дня он поехал в Петергоф, чтобы заявить о своем согласии. Здесь ему сказали, что окончательный ответ он узнает у министра двора. «Измученный тревожным ожиданием, — пишет биограф, — Иванов упал духом и утратил всякую надежду на благополучный исход. Возвратившись к себе домой из Петергофа, он вечером в тот же день почувствовал себя дурно, то был припадок холеры, от которой он через три дня скончался».

Вскоре после его смерти картина была приобретена за 15 тысяч рублей и впоследствии подарена государем Румянцевскому музею.

«Это просто чудо искусства, и вы, я думаю, следите за суждениями о ней в нашей литературе», — пишет Иван Иванович домой, родителям. В письме он, вероятно, имеет в виду брошюру А. Н. Мокрицкого «Явление Христа народу. Картина Иванова. Разбор академика Мокрицкого». М., 1858 (утверждена цензором фон Крузе 9 сентября 1858 года). Свой разбор произведения Иванова Мокрицкий заключил словами: «При таких высоких художественных достоинствах, не заслуживает ли оно стать наряду с первыми произведениями искусства? И, выполняя в такой мере современные требования, может ли не заслужить первого места!»

Посещение выставки еще больше подстегнуло Ивана Ивановича. Работать, работать, работать...

«Посвятить себя живописи — значит отказаться от всяких легкомысленных занятий жизни», — записал в ученическую тетрадь еще в Москве во время обучения в Училище живописи Иван Иванович. Не со времени ли прочтения статьи Н. В. Гоголя об А. А. Иванове мысль эта стала близкой, кровной ему?

«...Устройте так, — писал Н. В. Гоголь, заканчивая статью, — чтобы награда была выдана не за картину, но за самоотвержение и беспримерную любовь к искусству, чтобы это послужило в урок художникам. Урок этот нужен, чтобы видели все другие, как нужно любить искусство, — что нужно, как Иванов, умереть для всех приманок жизни; как Иванов, отказывать себе во всем, даже и в лишнем блюде в праздничный день...»

Да, москвичи знали, что такое труд. Недаром так душевно они отнеслись к картине Иванова.

Меж тем наступила осень. Дни стали короче. Работа отнимала все время, и редко какое событие могло обратить на себя внимание. Разве что какое-нибудь необычайное.

«Как-то на днях в Петербурге был пожар за Летним садом, горели барки с сеном числом около 50. Зрелище удивительное, горящие барки плыли по Неве по разным направлениям и их растаскивали железом маленькие пароходы».

В поизношенной беличьей шубе, с трубкой в руках редко теперь Иван Иванович появлялся на петербургских улицах.

В декабре, на экзаменах, он получает серебряную медаль первого достоинства («Совет Академии удостоил серебряной медали 1-го достоинства: К. Маковского... Василия Верещагина за рисунки с натуры, Ивана Шишкина за пейзажную живопись «Вид на острове Валааме...»). Результат сверх чаяния хорош. Шишкин выставил «восемь вещей красками и три рисунка пером, и эти-то рисунки произвели страшный фурор, некоторые приняли их за превосходную гравюру». Радостный Иван Иванович спешит сообщить родным все, что говорилось профессорами: «Совет Академии торжественно объявил, что таких рисунков Академия еще не видела, и хотели за них дать золотую медаль, но отложили до марта. Всех своих сверстников зашиб совершенно», — пишет он, ничуть не питая к ним недоброжелательства, а только невольно не умея скрыть настоящей своей радости.

Картина «Вид на острове Валааме» ныне хранится в Киевском музее русского искусства. Солнечный день на скалистом, поросшим мхом, кустарником и лесом, острове. Недвижима водная гладь залива, таинствен лес на другом берегу. Местность заброшенная, дикая. Человек будто бы только-только попал сюда, пробравшись сквозь бурелом и чащу, и остановился, пораженный красотой увиденного. Именно эту радость открытия и передает художник.

Реалистичен и строг этюд «Сосна на Валааме». Красота и суровость жизни — это, пожалуй, главная мысль картины. Подле высокой сосны, растущей на вершине скалы, заброшенная могила, отмеченная покосившимся деревянным крестом. Веет от картины какой-то мощной духовной силой.

Сравнивая выставленные Иваном Ивановичем картины с его ранними работами, видишь, как заметно выросло его профессиональное мастерство. Казалось, сама по-

ездка служила тому, чтобы осень и зиму оставалось пожинать плоды летнего труда.

Глубокой осенью остров Валаам посетил Государь император с супругой. От знакомого валаамского эконома Шишкин узнает приятную для него новость, о которой сообщает родителям: «...картину, которую я писал для подарка в монастырь, бывши там, они (монахи) поднесли в подарок государыне, которой Валаам очень понравился, и она изъявила как-то желание, и желание ее предупредили.

Две вещи, одна моя, а другая художника, который уже теперь за границей и тоже там был и оставил в подарок. Но при всем том монахи неохотно расстались с ними, но надеюсь, что еще напишем им».

Всего добиваться своим трудом: материального достатка и особенно признания. Признания, без которого немыслима жизнь ни одного художника. Картины должны говорить сами за себя. У них отдельная жизнь. Своя жизнь, и только те из них тронут зрителя, вызовут в нем желание запомнить их, поразмыслить над ними, кои написаны с любовью, выстраданы. И уж пустым картинам не помогут никакие заказные хвалебные статьи. Статьи прочтут, а картина сама о себе все скажет. Не потому ли так явственна гордость Ивана Ивановича, что успех добыт своим трудом, что выполнена заповедь Аполлона Николаевича Мокрицкого («Истинные достоинства художественного произведения заключаются в прочных и твердых началах искусства, а не в случайных эффектах или бойкости кисти»), что москвичи дают фору чванливым питерцам: «...Всех своих сверстников зашиб совершенно. Впрочем, из нас трех друзей только Гине останется ни при чем, а Джогин получил тоже медаль серебряную 1. А всего выставлялось человек 15, и все не получили ничего, кроме благодарности за занятия, несмотря на то, что у некоторых сильные и очень сильные протекции, но, увы! Не помогли. Истина и прямота действий всегда восторжествуют, у меня решительно никакой протекции, да я и враг подобного, но берет свое, и все мои вещи назначены уже на выставку».

С утра и до вечера в комнате художников народ: знакомые и незнакомые люди приходили поздравлять Шишкина с наградой.

Мокрицкий, прибыв в Петербург и увидев рисунки, захотел, чтоб они были выставлены в Москве. Он испытывал гордость за своего ученика. Его радость была оправданной. Рисунки представлены художественной выставке в залах московского Училища живописи и ваяния и замечены критикой. Цензор Николай Федорович Крузе, известный строгостью суждения, саму выставку работ преподавателей и учеников училища считал неудовлетворительной: подробно разобрал только выставленные в залах училища картины А. А. Иванова, дал им высокую оценку и отметил из молодых художников одного Шишкина.

После выставки рисунки были куплены одним из любителей художеств, фамилию которого ныне установить невозможно. Иван Иванович получил первые большие деньги. Эту зиму он уже не так нуждался, как раньше, когда, как вспоминала его племянница, «он часто обедал только хлебом и квасом, которые постоянно брал в одной мелочной лавке, где однажды, зачерпывая квас из кадки, вместе с квасом выловил скелет крысы, сгнившей в кадке, которая, очевидно, никогда не мылась». Присылаемых ему денег из дому едва хватало на квартиру да на покупку художественных принадлежностей, на которые он обыкновенно не жалел денег.

Теперь же он мог купить себе даже два офорта Калама, давно облюбованные им в окне магазина, где они были выставлены. С каким торжеством молодые художники принесли купленные оттиски! Поставив их на стулья, они почти всю ночь простояли перед ними на коленях, рассматривая и изучая их.

Почетный вольный общник * Петербургской Академии художеств швейцарский живописец, рисовальщик и график Александр Калам был тогда в моде. Его работы закупила Академия. (1857 год. 12 февраля. Совет Академии. «...По представлению г. Ректора Бруни о необходимости в пейзажный класс купить для руководства учащихся несколько образцов, для чего и выбрано им 58 литографированных пейзажей Калама, стоящих 30 р., а потому, испрашивая на покупку оных разрешения, просит выдать следующие за то деньги Г-ну Исправляющему должность профессора С. М. Воробьева. Определено: купить»). В Академии художеств было обязательным копирование его произведений. Калам восхищал современников главным образом внешней романтикой своих произведений, посвященных суровой альпийской природе. С Каламом, Куанье и еще одним пейзажистом, учителем Калама, Ф. Диде, Шишкин знакомился по «эстампам», отдельным

* Звание, в какой то мере сходное с понятием «член-корреспондент».

листам и альбомам, главным образом литографским. «Запоздалая романтика «Красивых видов», а затем облегченная, становящаяся эклектичной и условной трактовка пейзажа — гор, озер, деревьев, неведомых пород, каких-либо в живописных «шале» — полухижин, полудач, вот что означало поветрие, родившее даже особый глагол «окаламиться», — писал А. А. Сидоров. Сам Шишкин, через несколько лет, вскоре по приезде за границу, запишет в своем дневнике по поводу сверх меры возвеличенного в Академии популярного швейцарского пейзажиста: «Калям очень плох», а в пейзажах его учителя Диде Иван Иванович найдет «сухость и однообразие». Но тогда, зимой 1859 года, друзья, увлеченные замыслом выпуска альбома литографий, с интересом изучали технику выполненных работ.

Всю эту зиму Иван Иванович трудился над большой картиной, за которую в апреле месяце получает золотую медаль второго достоинства. Для экзамена им был исполнен «пейзаж» с натуры из окрестностей С.-Петербурга». Совет Академии предоставил ему право свободного выбора места работы на лето 1859 года. Шишкин, не раздумывая, выбирает Валаам. С ним собираются ехать Александр Гине, Иван Волковский, Егор Ознобишин — все давние друзья, с которыми ему легко себя чувствовать.

Здесь самое время рассказать о друзьях, в кругу которых Шишкиным проведено так много времени.

Фамилии А. Гине, П. Джогина, Е. Ознобишина мало что говорят нынешнему читателю, а между тем это были своеобразные и самобытные художники, уступающие в таланте своему товарищу, но имеющие свое вполне определенное лицо, и забывать их несправедливо.

«Павел Джогин, о котором почти молчит наша литература, — мастер, незаслуженно забытый, — писал искусствовед А. А. Сидоров. — Его карандашные рисунки в ГТГ *. высоко законченные и художественно новые... Рисунки Джогина, как и Л. Каменева, доныне встречаются в числе тех, которые приписывались Шишкину, ценившему Джогина, владевшего приемом его рисунка. В сопоставлении с Каменевым Джогин, возможно, значительнее. Он изображает лес, не деревья: стремится передать общее, не единичное. По сравнению с «настоящими» передвижниками Джогин более декоративен и, может быть, недостаточно реалистичен. В. В. Стасов не упоминает его вовсе, как и А. В. Гине, товарища Шишкина по Казанской гимназии и Академии.

А. А. Гине, рисовавший много, хорошо представленный в ГТГ, стал в первую очередь разрабатывать мотивы приморского пейзажа; вместе с тем ему принадлежат рисунки, изображающие сельские дороги и сцены жатвы с наличием человеческих фигур и определенным стремлением передать общее настроение трудовых дней. Крупным мастером Гине не был, но полного забвения он не заслужил».

В декабре 1858 года Джогин, как и Шишкин, получил «медаль серебряную 1». Весной Иван Иванович сообщает в письме к родителям: «...товарищ мой Гине, который со мной живет, тоже получил медаль серебряную. Ознобишин получил малую серебряную и прочие, золотых 2 и серебряных 4 только по нашей отрасли, а претендентов было 38 человек». Шишкин, отмечая заслуги товарищей, как бы выделяет московский кружок художников, подчеркивает его замкнутость, то, что они крепко держатся друг друга. Не выпускает из виду своих питомцев и А. Н. Мокрицкий, искренне радующийся успехам их в далеком Петербурге.

«...Душевно, душевно радуюсь Вашему счастью, — пишет он Ивану Ивановичу, едва узнав о присужденных наградах, — тем более что знаю, как неутомимо и доблестно вы его достигали, — соберите же теперь все Ваши силы и сделайте последний важный шаг, чтобы окончательно и навсегда упрочить за собой то, о чем Вы стремились в мечтах своих и к чему направлена была вся Ваша деятельность. Помоги Вам Бог!

...Поздравьте от меня Гине и Ознобишина, молодец Гине, не отстает от Вас и идет если не вровень с Вами, то не далее ружейного выстрела, такое расстояние в военном деле не велико».

А. В. Гине получил большую серебряную медаль за пейзаж «Берег финского залива».

Трудно отыскать в наше время работы Ознобишина. Они неизвестные. Время разбросало их, затеряло. Возможно, в квартирах каких-нибудь москвичей или ростовчан и висят они, но мы не знаем о них. Но знаем, однако, об истинной, сердечной привязанности этого человека к Шишкину, его душевной внимательности и близости.

Приведем здесь одно письмо, написанное из Ростова-на-Дону 26 января 1879 года Егором Александровичем Шишкину.

* Общепризнанная аббревиатура названия Государственной Третьяковской галереи.

«Дорогой и старый друг и товарищ Иван Иванович.

Ввиду того неизвестного будущего, которое готовит нам грядущая чума, я счел моею нравственной обязанностью переслать тебе юношеские труды и заметки, хранимые мною до сего времени как драгоценные и светлые воспоминания прошлого, и которые, вероятно, в случае моей смерти сожгут без всякого внимания, а через это твой будущий биограф упустит одну типическую сторону твоего высокого таланта — это инстинктивное поклонение идеалам искусства и сознательное отыскивание этого идеала во всем, что ты где-либо рисовал, — будут ли это сосульки соседней крыши или типическая шляпа мазиловского крестьянина.

В присланных тебе твоих набросках уже резко определялся тот реальный путь в искусстве, идя по которому ты достиг такой завидной славы, за прогрессивным возвышением которой я, художник в душе, всегда следил по газетам с глубоким уважением и даже гордостью, потому что имел тебя столько лет товарищем и даже обжирался вместе вареньем и медом.

Прощай же, мой друг; поезжай лучше за границу на время чумы, которая не разбирает ни бездарности, ни гения.

Жму долго и крепко твою руку.

Ознобишин».

По письму можно судить, с какой любовью относился Егор Александрович к своему другу. И когда случилась непоправимая беда у Шишкина и умерла Ольга Антоновна Шишкина-Лагода, Ознобишин одним из первых откликнулся на горе друга. Отбросив все дела, он пишет глубоко проникновенное и продуманное письмо, цель которого — поддержать Шишкина, указать на роль и значение его в искусстве.

«...Знаю, что в переживаемых нами горестях никакое сочувствие не облегчит страданий; но тем не менее не могу утерпеть, чтобы не выразить тебе, славный художник, испытанное мною чувство прискорбного сожаления о постигшей тебя утрате супруги и художницы, о чем узнал из ее некролога, помещенного в 8 номере «Художественного журнала».

Конечно, утешить тебя в потере я не сумею и не в силах. Я только могу сказать тебе: крепись, мой друг, и помни, что ты художник, отмеченный особым талантом, то есть тем роковым даром природы, который, давая гений, отнимает у ... человека утехи его земной жизни (нрзб)

большинства великих людей искусства и науки, и в их страданиях найди себе мужество.

Вспомни, что жизнь твоя принадлежит России и что твою биографию будут читать тьма будущих художников и точно так же будет искать в своих жизненных невзгодах для себя утешения и мужества.

Крепись и работай!

Твой всегда почитатель и товарищ Ознобишин».

Можно порадоваться судьбе Шишкина, которая свела его с такими верными людьми. Ну да ведь и друзей-то мы сами выбираем, и не бывает дружбы односторонней.

Иван Иванович жил в ту пору, как уже говорилось, на одной квартире с Александром Гине, а их верный товарищ Павел Джогин место жительства имел на Большом проспекте по третьей линии, дом Юнкере, в квартире № 27, в которой соседями его были два сибиряка — художник Песков и студент университета Николай Щукин. Благодаря Джогину Шишкин весной 1859 года познакомился с одним из интереснейших людей своего времени — будущим ученым-ботаником Григорием Николаевичем Потаниным, тогда только-только появившимся в Петербурге. Приехав из далекой Сибири, Потанин искал друзей по духу, и нечаянно судьба свела его с художниками.

Характеризуя молодого человека, Бакунин из Сибири писал Михаилу Николаевичу Каткову, известному журналисту и публицисту, в рекомендательном письме, благо у сибиряка, отправляющегося в далекую столицу, не было никаких знакомств: «...Теперь пора мне сказать Вам несколько слов о молодом человеке, подателе сего письма... Григорий Николаевич Потанин учился в Омском кадетском корпусе, где в нем пробудилась редкая и благородная любознательность, и, дослужившись до чина поручика в казацком войске, с большим трудом выхлопотал себе отставку с целью поехать в Петербург и учиться в университете. Он сам лучше меня расскажет, как и чему он хочет учиться. Он человек дикий, неопытен и наивен часто до детства, но в нем есть ум действительный и оригинальный, хотя и не всегда проявляющийся, благородное стремление ко всему лучшему, жажда знания и редкая между русскими способность трудиться, есть также и упорное постоянство, залог успеха. Эти качества заставляют меня думать, что из него может что-нибудь выйти, несмотря на настоящую, впрочем, при неведении его до-

вольно естественную, неясность стремлений... Или Москва очень изменилась, или Потанин не пропадет между вами... Пожалуйста, обласкайте нашего сибирского Ломоносова».

Близкий знакомый Чокана Валиханова, Потанин ехал в Петербург с желанием поступить на естественно-историческое отделение университета. Думая, что в столице он будет первым сибиряком, голова которого занята сибирскими общественными вопросами, Потанин ошибался. В Петербурге он встретил студента-сибиряка Щукина, который также мечтал служить родному краю, собирался возвратиться на родину и служить ей, мечтал издавать в Иркутске литературно-политический журнал. Живший с ним на квартире художник Песков строил планы, скопив от продажи своих картин капиталец, основать в Иркутске школу живописи. Студенты-сибиряки еще до приезда Потанина организовали кружок, который собирался раз в неделю на квартире у Щукина. Это было первое сибирское землячество в Петербурге. Понятно, с какой радостью начал посещать квартиру Щукина Григорий Николаевич. А Джогин, мы помним, был соседом по квартире Щукина и Пескова. Ранней весной 1859 года Песков уехал на Пинские болота писать этюды с крестьян, и Щукин предложил Потанину занять освободившееся место. В течение лета Потанин ежедневно виделся с Джогиным и часто с Шишкиным.

«Три художника, Шишкин, Джогин и Гине, были связаны крепкой дружбой, — вспоминал Г. Н. Потанин. — Шишкин и Гине учились в казанской гимназии и там еще сдружились: оба они были пейзажисты. Шишкин уроженец города Елабуги, и в петербургских окрестностях писал сосновый лес, напоминавший ему родину; Гине в Петербурге специализировался на изображениях плоского болотистого прибрежья Финского залива. Джогин был уроженец Черниговской губернии; предпочтения к какому-нибудь виду пейзажа у Джогина еще не проявилось.

Эти три друга очень часто виделись между собой и всегда втроем посещали картинные галереи и выставки. Часто они и меня брали с собой. Они знакомили меня с новостями художественного мира и волнениями в академической массе».

Три друга-художника познакомили сибиряка с художественными богатствами Петербурга. Сводили его в картинную галерею Прянишникова и в Эрмитаж; художникам разрешалось посещать это последнее хранилище в

обыкновенном костюме, но нехудожники должны были надевать фрак, которого у Потанина не было. Тогда друзья художники подогнули полы сюртука Григория Николаевича, прикололи их булавками и в таком псевдофраке повели его в Эрмитаж.

Потанин вспоминал, что больше всего уделял ему внимания Джогин, и из рассказов ученого мы можем представить себе облик этого друга Шишкина.

«Мы бродили с ним по островам и окрестностям Петербурга. В одном направлении до Голодая, в другом — до Коломак. Он брал ручной мольберт и краски. Джогину же я обязан своим знакомством с петербургскими церквами и их достопримечательностями. Он завел меня в какую-то церковь на Аптекарском острове, показал изображение четырех евангелистов кисти Брюллова. На Шпалерной он завел меня в церковь Божьей Матери «Всех скорбящих», похожую снаружи на часовню, чтобы показать икону одного молодого свободомыслящего художника, изображающего Богоматерь, окруженную скорбящими; тут на коленях пред нею, стоят: кандальник, нищий, больные и невеста в свадебном наряде; икона была большая, фигуры, кажется, в рост человека, и невеста была изображена такой миловидной и привлекательной, что, как только вы войдете в церковь, прежде всего вам бросается в глаза бедная невеста. Другая интересная икона, тоже нового письма, изображала две церкви, небесную и земную. В небесной, т. е. в верхней половине картины — бог Саваоф, окруженный ангелами и святыми; в нижней художник написал внутренность церкви Богоматери «Всех скорбящих». Стены и иконостас были списаны со стен и иконостаса этой же самой Церкви: батюшка, служащий в алтаре, тот самый отец Иван, который в то время служил в этой церкви; все молящиеся тоже — портреты прихожан. Всех их можно узнать; вот знакомый генерал, вынувший из кармана и распустивший фуляровый платок (вероятно, после того, как запустил пальцы в табакерку); батюшка стоит на коленях в алтаре, и на нем всякий узнавал его большие сапоги. Джогин привел меня к собору всех учебных заведений (или Смольному монастырю) и показал, как этот собор, если смотреть на него с одной точки, представляется широко развалившимся зданием, а если смотреть с другой — стройным, изящным, компактным сооружением. Джогин затащил меня в Исаакиевский собор, чтобы показать, как варварская рука оскорбительно покрыла золотом скульптуру Пименова».

Рассказ Потанина интересен еще и потому, что это же видел и Шишкин, ибо друзья жили интересами друг друга.

Художники были молоды и веселы. Ходили наблюдать толпу на гуляньях, случайно попадали в подвальный этаж на встречу Нового года в мещанской среде, выслеживали в окнах соседнего дома предмет для игры в романтическое приключение; заводили как бы знакомство издали и переписку через разносчиков апельсинов и иногда дурачились. Однажды Джогин, идя рядом с Потаниным, в момент, когда мимо с громом проезжала карета по модной улице, закричал: «Долой монархию! Да здравствует Лафайет!» Оглушительный стук колес о мостовую покрыл его слова, и никто из полицейских не подбежал к нему, чтобы прекратить сие безобразие. В другой раз Шишкин и Джогин во время белых ночей, когда взошедшее солнце освещало пустынные улицы, на глазах у Потанина вскарабкались на фонарный столб и тоже безнаказанно.

— Милый, — спустившись на землю, говорил, смеясь, Иван Иванович новому приятелю, — мы вот тебе расскажем, что мы проделывали в Москве во время крестного хода.

Все трое шли рядом по тротуару, и Иван Иванович продолжал:

— Толпа, представь, проходит в Кремль через Спасские ворота и так в них бывала стиснута, что мы, да простит нас Бог, подогнем, бывало, ноги и повиснем в воздухе. А как толпа вынесет из ворот, ставим ноги на землю да бежим в другие, соседние со Спасским, и снова — нырк в толпу. Да, брат, дурачились иногда. На то и молодость.

Потанин оживлялся, говорил с увлечением:

— Рассказывают, во время карнавала в Риме солидные немцы, ученые и профессора, так увлекутся общим весельем, что дурачатся, как дети, и назавтра сами удивляются тому, что проделывали вчера.

— Натура человеческая требует, чтобы иногда давать свободу игривому своему настроению, — добродушно замечал Шишкин.

— А вы все трое — чистые пейзажисты? — спросил Потанин. — И оттого не пишете фигур?

— Отчего же, — отвечал Шишкин, — я хотя и избегаю фигур на своих пейзажах, но не всегда.

— А когда пишете, о чем думаете?

— О разном. Я, брат, все в голове держу. И лес, и

людей И как люди ходят, и как лес шумит, и как ворона летит. А видел, как она по земле идет? О, гляди, — и он удачно принялся передавать ее походку; расставив ноги, Иван Иванович шагнул сначала одной ногой вперед, потом другой, а потом, не сгибая ног, сделал прыжок траверсом вбок. — А вот как татарская телега едет? — поглядывая на хохочущих друзей, довольных увиденным, произнес он и изобразил едущую, рассыпающуюся татарскую телегу. И вот уже друзья явно видели: то левые колеса идут на сторону влево, а правые направо, то все четыре колеса — на одну сторону; воображая себя татарской телегой, он поднимал руки и делал из них то букву Л, то римскую V.

Побывал Потанин и в мастерской Шишкина, понаблюдал за работой. «Когда он писал какое-нибудь нутро лесной северной трущобы, выходившей на картине безмолвной, лишенной живых существ, в это же самое время в памяти его рисовалась не пустыня, а лес, оживленный жизнью. В нем пролетали и кричали птицы и раздавался звериный рев. Когда в это время его заставал за работой какой-нибудь гость, он увлекался рассказом, как в написанной им трущобе, по тропинке, проложенной художником между стволами деревьев, бродит крестьянин со старомодным ружьишком, промышляющий рябчиков, посматривающий на ветки и постреливающий. Иногда из этого воображаемого художником мира какая-нибудь фигура переселится и на картину; на каком-нибудь высунувшемся из земли корне сосны он посадит ворону».

Неискушенный в живописи сибиряк, посещая с новыми товарищами выставки картин, удивлялся совершенству техники. Лист водяного лопуха, затонувший в воде, фарфоровое блюдечко, через которое просвечивает солнце, — все это казалось ему живой действительностью, а не сочетанием красок на полотне.

«Я не представлял себе, что искусство может подняться до такого совершенства, — вспоминая прошедшие годы, писал он на склоне лет и следом приводил любопытный штрих, который позволяет нам увидеть отношение молодых художников к живописи: — Я... смотрел на ожившие полотна, как на чудеса, но друзья удержали меня от увлечения этими успехами техники; они невысоко ставили преодоление технических трудностей: в особенности они отрицательно относились к произведениям, если не путаю фамилию художника Шустова (в данном случае память изменила Григорию Николаевичу, речь идет о

художнике Угрюмове. — *Л. А.*), который на своей картине «Избрание на царство Михаила Федоровича Романова» с таким искусством изобразил бархат, шелк, соболий и бобровый меха на боярских шубах, что можно было бы определить стоимость их по нынешним ценам. Они называли подобную живопись «табакерочной» или «вывесочной». Очень сдержанно также они относились и к громкому имени Айвазовского, некоторые полотна художника, совмещавшие все цвета радуги, они называли «сторублевыми бумажками».

Они научили меня искать в картине настроение. Иллюстрациями к их проповеди послужили для меня в первый же год моего пребывания в Петербурге, во-первых, выставка русского художника Лагорио, только что вернувшегося из Италии, и, во-вторых, выставка немецких художников».

В июле 1859 года «С.-Петербургские ведомости» сообщили: «На постоянной выставке художественных произведений... появилось пять картин, написанных известными художниками дюссельдорфской школы: Освальдом Ахенбахом, Фламмом и Михелисом, из всех этих картин особенно замечательна одна — Ахенбаха, изображающая похороны девушки во время праздника».

Из художников Джогина привела в восхищение картина Ахенбаха. На картине фабулы никакой не было. Изображался большой немецкий деревянный дом с огромным чердаком. Перед ним, на первом плане картины, затон со стоячей водой. Поверхность воды сплошь затянута желто-зеленой ряской; посредине затонула кадка; края ее выступали только на вершок из воды; вода внутри кадки тоже затянута ряской. На заднем, за деревенским домом, поле, а за ним лесок. Все это залито солнцем.

— Чем дольше смотрю, тем больше кажется, что ощущаешь июльский зной, — говорил Джогин. — В воздухе парит. Вам же кажется, что вы слышите запах болота. запах моллюсков, рыб и гниющих водорослей. Даже слышно жужжание мухи. Ведь это картина разрушения. А сколько света! — И он принялся молчаливо восторгаться картиной. — Смотрите, Потанин, — вдруг сказал он, пораженный своим открытием, — смотрите на открытое окно в чердаке. Как он изобразил выветрившиеся стекла.

— Действительно, — согласился тот. — От этой детали еще более веет горячей сыростью.

— Надо бы ожидать, что зритель убежит от этой картины, — продолжал Джогин, — убежит от этой гнили,

которая возбудит в нем отвращение к смерти. А между тем — наоборот: эта яркая жизнь ряски, этот бьющий в глаза, разлитый по картине свет, это ощущение зноя возбуждает в зрителе не отвращение к смерти, а жажду жизни.

— Волшебник — солнце! — вступил в разговор Гине. — Что бы оно ни освещало, — распустившуюся розу или труп утопленника — все равно оно вызывает радость бытия.

Шишкин молчал. Вглядывался в картину, слушал друзей. Его тянуло к Потанину, человеку наблюдательному, любящему, как и он, реальное в природе. Нравился его живой ум.

— Как в живописи, так и в литературе и, наконец, в самой действительности жизнь всего ярче рисуется чертами разрушения, — произнес вдруг Джогин и оглядел товарищей. — Вот, скажем, вы видите, что по тротуару проходит человек, несущий в починку связку дыроватых соломенных шляп или корзину сапог со стоптанными каблуками, вы же не печалитесь, что на свете все изнашивается, рвется и трухнет, а думаете, что эти изношенные шляпы и подошвы свидетельствуют только о том, что человечество живет, что оно носит платье, отплясывает трепака, веселится, устраивает свадьбы и влюбляется. — Джогин говорил с воодушевлением, ибо был в ту пору влюблен. О чем, правда, умалчивал. — Чуть ли не лучшей демонстрацией этой мысли служит картина пожара. На мостовую из горящего здания вынесена мебель и скарб, кухонная посуда и ночная утварь. Рядом с дорогими пианино, люстрами и фешенебельной мебелью сюда вынесено много и такого, чего посетители квартиры никогда не видели, что тщательно скрывалось от постороннего глаза.

Иногда на этой выставке, устроенной пожаром, ваш глаз увидит старый капор, который барыня надевает только, когда идет в баню, или какую-нибудь апокрифическую принадлежность костюма или утвари. Тогда этот банный капор, существование которого вы не подозревали, производит в ваших мыслях целый переворот. У этих «полированных лиц», живущих в бельэтаже, под «белыми жакетами» вы всегда подозревали сердце «каторжника», а этот банный капор убеждает нас, что под ними — «белыми жакетами» — тоже бывает сердце, способное к смущению и стыду.

Ноздрев, другие герои Гоголя — это те же выветрившиеся стекла, отливающие цветами радуги, те же истер-

занные соломенные шляпы и стоптанные каблуки. А если бы их не было, как бы наша жизнь побледнела и потеряла свои краски.

— Что же ты, Иван Иванович, слова не скажешь? — обратился к Шишкину Потанин. — Ты, право, ныне еще более похож на монаха. Валаамская жизнь не прошла бесследно.

— Могу сказать одно, пейзажист — истинный художник, — отвечал тот, — он чувствует глубоко, чище. — Шишкин еще раз пригляделся к картине. Ахенбах ему был не по душе. Это о нем он скоро скажет в письме из-за границы: «Освальд Ахенбах недурен — белая каменная стена и по бокам деревья, особенно стена чертовски хороша; деревья просто мазаны, но ловко — и все-таки это бестолочь».

Споры продолжались на улице или дома, в кругу гостей художников. А их бывало немало. Увлеченные разговорами, не замечали, как наступала ночь. Иногда оставались ночевать у кого-либо в мастерской. Ночи были тихие, теплые. И даже лежа продолжали беседу.

В тот год Шишкин часто виделся с Валерием Якоби, с которым ему вскоре предстояло ехать за границу. Они были почти земляками. Якоби родился в деревне Кудряково Лаишевского уезда Казанской губернии. Живой, остроумный собеседник, он был неплохим рассказчиком и частенько с юмором говорил о своей жизни в Симбирске и Казани.

— В сих городах, — говорил он, — я бывал принят в домах местных сановников. Однажды зашел к казанскому губернатору. Тот беседовал с одним из важных чиновников, которого он посылал в уезд по какому-то делу и давал ему наставления. При этом губернатор высказывал свое сожаление, что дороги испортились, что чиновнику придется туго — нет хорошего пути. Не знаю как, но черт меня подмывал, я неожиданно перебил губернатора и говорю: «А ведь он, ваше превосходительство, всегда ездит без пути». В другой раз, это было после большого пожара города Казани, губернатор рассказывал, какую печальную картину представляла площадь около пожарища. На земле был сложен грудами скарб погорельцев: мебель, зеркала стенные, картины и прочее. И это не какие-нибудь мещане, а статские советники, с генеральшами и с дочерьми, говорил губернатор. Барышни, мол, а должны жить бедно. «Им не привыкать к голодной жизни», — заметил я ему.

Друзья рассмеялись. Они были неразлучны. Потанин много рассказывал о сибирской жизни, о встречах с Чоканом Валихановым, с Михаилом Бакуниным. Молодой человек, которому предстояло сыграть большую роль в духовной жизни Сибири и о котором впоследствии напишут, что он «пользовался во всей Сибири громадной популярностью, почти такой же, как Лев Толстой в России», и в ту пору был знаком со многими интересными людьми, о которых рассказывал Шишкину. Рассказывал о своей жизни, об учебе в кадетском корпусе, о жизни в Омске, о новом своем товарище Щукине.

— Интересный он человек, — говорил Потанин о своем сибирском земляке. — Когда требуется подвиг, он долго не задумывается; еще не окончен рассказ, вызывающий сочувствие, как он уже хватает фуражку и бежит на помощь. Каждую минуту он готов встать на баррикады. Несправедливость моментально превращает его в протестующего: беспрерывно ввязывается он в уличные сцены, спасает женщин от побоев пьяных мужей, читает нотации городовому, вторгается в участок и водворяет там торжество правды. Словом, на полицейском жаргоне это «беспокойный человек», а на самом деле — героический юноша, василеостровский Дон-Кихот, который очаровывает быстротою рефлексии своего благородного сердца.

— Верно, верно, — соглашался Шишкин. Николая Щукина он знавал и бывал у него на квартире, когда навещал Джогина.

Бесследно не прошло знакомство с Шишкиным и для Потанина. Может быть, это постоянное стремление художника к объективности в изображении природы послужило толчком к тому, что и сам Потанин в дальнейшем, описывая свои путешествия, стремился к лаконизму, точности, памятуя о работах Шишкина. Приведем лишь один отрывок из его путевых заметок под заголовком «От Кош-Агача до Бийска»:

«Здесь мы оставили реку и стали подниматься вверх по узкой долине реки Улегумена. Это горная река, поросшая разнообразным лесом, очень живописным, серебристо-белые облака берез, опушенных инеем (это значит, что лес стоит близко к полынье), перемежаются с лесом из голых ярко-пурпурных прутьев тальника; иногда дорога шла хвойным лесом, заваленным валежником из целых бревен, иногда своими многочисленными обломившимися сучьями напоминавших валы шарманок, усаженных шипами. В одном месте мы ехали в полугоре и мог-

ли смотреть на дно горной долины сверху: река, скованная ледяным саваном, лежала неподвижно под вашими ногами как в гробу между двумя отвесными стенами из твердой горной породы, вытянутыми точно по шнуру...»

Автор стремится прежде всего к точности, живописная сторона его словно бы совсем не интересует, а картина все-таки возникает. Так же, как и в работах Ивана Ивановича Шишкина.

«Занимаясь биографией Потанина, вчитываясь в его воспоминания, отчетливо представляешь, что 1858—1865 годы были для него годами взлета по интенсивности и разносторонности в приобретении знаний, по участию в политической жизни страны. Именно в это время Потанин прочно и осознанно переходит на социалистические позиции, выступает за освобождение крестьян от крепостной зависимости, организует сибирское землячество, входит в состав.. организации «Земля и воля», выполняет ее задания. активно участвует в студенческом волнении 1861 года; вместе с большой группой студентов его арестовывают и держат в Петропавловской крепости. Через два месяца Потанина освобождают с требованием немедленно покинуть Петербург. Друзья были вынуждены взять его на поруки. В Сибирь Потанин вернулся с созревшим убеждением способствовать ее пробуждению к общественной деятельности», — читаем мы в одной из книг о Г. Н. Потанине.

Увлеченный его идеей обновления земли, познанием ее богатств. Шишкин дает ему денег для поездки в Олонецкую губернию. Об увиденном и перечувствованном Потанин написал в очерке «Поездка на Олонец», который был опубликован в девятом номере журнала «Русское слово» за 1860 год.

Тянувшийся к людям, более общительный Потанин познакомил Шишкина и со своими друзьями — журналистом Николаем Ядринцевым и математиком Перфильевым.

На знакомства им везло. Да и как же быть иначе? Ежели ты человек любопытный, то и тебя не обойдут вниманием люди.

Однажды трое художников и Потанин были в бане; вымывшись, одевались в общей зале и разговаривали; припомнили, между прочим, о том, как русские бани удивили апостола Андрея Первозванного; кто-то привел цитату из летописи: «Хвощутся, хвощутся, овии живи вылезут...» Не успел он докончить, как из дальнего угла залы кто-то докончил цитату: «квасом успеянным облеются, снова оживут». Друзья посмотрели в угол и увидели, что зала была не пуста; там одевался молодой человек, которого они прежде не заметили. Друзья продолжали свой разговор; экспансивный незнакомец продолжал вмешиваться в него (мы приводим слово в слово рассказ самого Потанина. — *Л. А.*), так что когда художники и Потанин оделись и пошли из бани, он уже был настолько короток с ними, что Шишкин, пригласив компанию пить чай в трактире «Золотой якорь», любимом художниками, не решился исключить из нее нового знакомого. «В трактире, — рассказывает дальше Г. Н. Потанин, — за чашкой чая случайный знакомец рассказал свою интересную биографию».

— Отец мой — бедный дьячок пермской епархии, — начал новый знакомый. — Когда я, окончив семинарию, пришел домой, отец дал пять рублей и сказал: «Иди в Пермь, отдай эти пять рублей секретарю консистории и попроси, чтоб он дал тебе невесту с приходом». Ну, вернулся в Пермь, а тут у меня другой план вырос — новый: вздумалось мне пешком пойти в Москву, поклониться московским святителям; пришагал в Москву, понравилось, и протесал я пешком в Киев, а там захотелось в Иерусалим — поклониться главным христианским святыням. Дошел до Одессы, здесь достукался до одной важной дамы, называть ее имени не стану, доставила она мне даровой проезд на пароходе до Яффы и дала письмо в русское посольство в Константинополе, письмо, предоставившее мне возможность — что тогда редким счастьем было — проникнуть под своды мечети Ая-София. В Палестине я немного задержался, зарабатывал деньги, служил псаломщиком в арабской православной церкви и обучал арабчат русской грамоте. Здесь, к слову, и сам подучился арабской грамоте. Скопил денег, сел на пароход и доехал до Константинополя, оттуда в Болгарию. Там снова принялся детишек русскому языку обучать, на церковном клиросе пел. Нужно было деньги на дорогу в Россию зарабатывать. Пока зарабатывал, с хорошими людьми сошелся. Наши братья-славяне, они против турок шли. Размышляли разумно. И я им сочувствовал. Но понимал, верите ли, что не хватает у меня знаний, чтобы правильно происходящее в мире понимать. А без этого жить невозможно. Невозможно, вы, уверен, к этой мысли раньше меня пришли. И решил я во что бы то ни стало добраться до Петербурга и заняться основательно. В Невской

лавре и Петербургской духовной академии меня радушно встретили. И вот я уже месяц здесь, в столице.

«Духовенство и славянофилы, — писал Г. Н. Потанин, — обрадовались этому оригинальному, выносливому и полному жизненной энергии человеку. В нем увидели будущего миссионера. Его исключительная история облегчила ему знакомства; им интересовались разнообразные круги петербургского общества! Вот почему он так и сыпал в разговоре с художниками именами: Иван Аксаков, Владимир Ламанский, Кавелин...

Время от времени художники слышали о новом незнакомце, которым оказался Е. Д. Южаков — молодой литератор и честнейший человек. (Недаром, когда приехавший в Петербург тобольский губернатор А. И. Деспот-Зенович обратился к писателю С. В. Максимову с просьбой пригласить на государственную службу несколько литераторов, рассчитывая, что их честная служба внесет в чиновную атмосферу чистую, свежую струю, Максимов указал на Южакова, к которому испытывал, по словам Г. Н. Потанина, симпатию.)

В «Современнике» появились две статьи Южакова о его жизни среди арабов. Через студентов Духовной академии познакомился он со студентами университета и начал посещать занятия вместе с ними. Вовлеченный в студенческое волнение, он попал в Петропавловскую крепость, где просидел два месяца.

Его, равно как и С. В. Максимова и Павла Якушкина, причисляли к каликам перехожим. И он, вероятней всего, не возражал, слыша об этом сравнении. Он был цельным человеком и жил своей идеей...

С Потаниным Шишкин поддерживал отношения долгие годы, даже после того, как Григорий Николаевич покинул Петербург. Свидетельство тому письмо, написанное Г. Н. Потаниным из Сибири 24 апреля 1887 года:

«Многоуважаемый Иван Иванович.

Ваши «Офорты» лежат у меня на квартире. Огромное сибирское спасибо Вам, огромное, как сама Сибирь.

Жалею, что не увижу тех этюдов, которые Вы вывезете из Вологодской губернии. Не изобразите ли багунное болото, то есть моховое болото внутри словника, заросшее багуном? Какие разнообразные оттенки цветов торфяникова мха! Можно бы комбинировать из них рисунки, розаны и прочее.

Еще раз спасибо за офорты. Ваш

Григорий Потанин».

Будущий ученый не раз бывал в мастерской художника, наблюдая за его работой. Знаком был и восхищался этюдами, сделанными на Валааме. Шишкин пригласил на лето Потанина приехать на монастырский остров. Потанин принял приглашение, но смог осуществить поездку только через год.

Глава шестая
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНО ТИХАЯ, БЕЗМЯТЕЖНАЯ

Пасха в Петербурге скучная. Нева прошла. Погода прекрасная, весна в разгаре. Скоро лето, скоро вновь поездка на Валаам. И это единственное, что радовало.

«Надоел нам Петербург, — писал Иван Иванович родителям 9 апреля 1859 года. — Явился этот неумолкаемый гром экипажей по булыжной мостовой, зимой хоть не беспокоит. Вот настанет первый день праздника, явится бесчисленное множество на улицах всего Петербурга, треуголки, каски, кокарды и тому подобная дрянь делать визиты.

Странное дело, в Петербурге, если вы прошли в обыкновенное время, не в праздник, в какое хотите время дня, вы ежеминутно встречаете или пузатого генерала, или жердину офицера, или крючком согнутого чиновника — эти личности просто бесчисленны, можно подумать, что весь Петербург полон только ими, этими животными...»

Усталость чувствуется за строками письма, скепсис и какой-то внутренний протест против столичной жизни. Даже о великой княгине Марии Николаевне — президенте Академии художеств пишет в это время с пренебрежением: «...долго очень ждали пресловутую Марью Николаевну».

А может, это отклик противоречивых размышлений над происходящим, которые овладевали им в это время?

Не мог не знать Иван Иванович, что́ великая княгиня Мария Николаевна сделала для развития русского искусства. Живя в Италии, серьезно занималась изучением творчества западноевропейских мастеров. Ее коллекция была одной из лучших частных коллекций в Европе. В ней были работы Тициана, Тьеполо, Перуджино, Боттичелли, Кранаха Старшего...

Умной и образованной женщиной считал ее А. И. Герцен. Едва ли не от великой княгини Марии Николаевны исходило пожелание, чтобы Академия художеств обрати-

лась к византинизму, ибо — так считали при дворе — восприятие византийского наследия после долгого пренебрежения к нему могло помочь выработаться подлинно русскому стилю в архитектуре, живописи, помогло бы необычайно полно и глубоко выявить народный дух, народные понятия и верования.

Размышляя о назначении Академии, великая княгиня приходила к следующей мысли: «Императорская Академия художеств, как и само название показывает, есть высшее заведение для образования художественного, обязанное направлять и поддерживать его в строго классическом духе. Таким образом, Академия должна быть не началом воспитания, а продолжением его. Молодой человек, поступающий в Академию, падет на бесплодную почву, и цель воспитания академического не только не принесет хороших плодов, а, напротив, будет одним из путей к пролетариату».

У этой женщины были свои противники в Академии, куда теперь заглянем и мы.

«Мастерские Академии художеств похожи на мастерские неопрятного ремесленника и битком набиты изнуренными учениками, будущими русскими художниками, — писала газета «Голос». — На... тесном и узком пространстве с неудобными сиденьями ученики притиснуты плотно друг к другу, точно сельди в бочонке. Они сидят поджав ноги или подняв к лицу колено, на которое кладут папку с рисунками; спины их сильно согнуты, а рука и локти плотно прижаты к бокам; концы папок и рисунков иногда поддерживаются спинами или головами сидящих впереди...

Классы освещаются прескверно, лампы задевают за головы учеников последнего ряда; о чистоте воздуха никто не заботится: дыхание присутствующих смешивается с газами от ламп и образует в классе удушливую атмосферу».

Илья Ефимович Репин, обучающийся в Академии несколькими годами позже И. И. Шишкина, оставил такие воспоминания о ней: «В середине 60-х годов Академия была... грязной, закоптелой и душной. Ее грязные холодные коридоры и темные шинельные имели казарменный вид. Там нестерпимо ел глаза запах миазмов от неудобств старого закала. Только в начале да в конце коридора светилась точка у стены, а посередине огромного узкого пространства приходилось шагать, высоко поднимая ногу, чтобы не споткнуться о какое-нибудь полено, оброненное истопником. Почти ощупью добираешься до аудитории». Но, несмотря на большие неудобства и трудности, ученики выказывали прилежное отношение к труду. «Тишина была такая, что скрип ста пятидесяти карандашей казался концертом кузнечиков, сверчков или оркестра малайских музыкантов.

Профессоров ученики боялись как начальства и не знали как художников. Профессора совсем не интересовались учениками и избегали всякого общения с ними. Глядя на их мундиры, никому и в голову не могло прийти дерзкой (и нелепой) мысли обратиться к ним за советом по искусству. Мундиры наводили ужас».

П. П. Гнедич, автор многотомного труда по истории русского искусства, как бы дополняя эту картину, вспоминал о своих студенческих годах: «Сушь, академическая сушь охватывала учеников сразу. Она носилась в воздухе, она слышалась в шипении газа, она чувствовалась на мертвенной массе Геры. Все ждали, что зрелые художники придут делиться своим опытом с молодежью... но вместо этого перед нами стоял чиновник и сразу своими приемами выдавал тайну: он думал о казенной квартире, казенных заказах и месячном жалованье. Он не любил учеников, не любил преподавания. Он не был лицом, которому надлежало просветить неофитов: это был чиновник.

О них же писал и Шишкин в письме к родителям 22 января 1859 года: «...Я теперь работаю картину на выставку; работы пропасть, а время немного. Да еще тут нужно будет хлопотать, чтобы меня назначили конкурентом на золотую медаль; дело, кажется, прямое. Академия назначила, да тут формальности различные, это уже буду дело иметь с чиновничьим лицом, с конторою Академии, а там чиновники, **как и везде чиновники**!!!!!» (подчеркнуто мною. — *Л. А.*).

Чиновничье обхождение удручало более, нежели тяжелые условия обучения в Академии. Оно-то и порождало нигилизм, скепсис и усмешку в адрес власть имущих.

Академией управляло ведомство императорского двора. Но бо́льшую роль, чем президент Академии художеств, в делах, жизни Академии играли вице-президент и конференц-секретарь. Они делали политику. К ним со вниманием приглядывались и прислушивались чиновники.

Императрица Елизавета Петровна и граф Шувалов, учредив в 1757 году «Академию трех знатнейших художеств», задались великой и благородной целью — насадить в России художества и не скупились на средства, привлекая из Европы лучшие силы: скульптора Жилле, братьев Лагрене, де Лорреня.

В царствование Екатерины Великой делу немало способствовали европейские знаменитости: Дидро, д'Аламбер, Гримм, Рейфенштейн. Поток знаменитых мастеров заметно усилился.

Приезжающие оседали в Петербурге. Насколько непопулярна была Москва, можно судить по следующему факту: задуманная Шуваловым Академия художеств при Московском университете не смогла открыться, ибо иностранцы-преподаватели отказывались ехать в первопрестольную.

Не станем забывать и того, что иностранные мастера исповедовали иную религию и многому в России были решительные противники.

Приезжающие стремились попасть в Академию; известно было, что «ученые» художники, состоящие при ней, не подпадали ве́дению цеха, а это сулило немалые доходы.

По-разному складывалась судьба у них. Появлялись вельможи от искусства. «Штукатур и квадрантный мастер» Джованни Росси под конец жизни становится русским статским советником, гравер Антиг — флигель-адъютантом А. В. Суворова, Габриэль Виоллье — секретарем личной канцелярии Марии Федоровны, человеком, близким Павлу Петровичу, тогда еще великому князю. Некоторые попадали в высшие сословные круги благодаря бракам. Сальватор Тончи, к примеру, сделал карьеру, женившись на княжне Гагариной.

Правительство было внимательно к иностранцам, им предоставлялись крупные и выгодные заказы. Томон с русскими мастерами строил Биржу, Кваренги — Смольный и Екатерининский институты, Монферран — Исаакиевский собор. (Воронихин, Шубин, Гордеев, Козловский и другие в это время находились без дела. Шубин со слезами упрашивал дать ему какую-нибудь платную должность при Академии. «Так что воистину не имею чем и содержаться, будучи без жалованья и без работы», — писал он в прошении.)

Талантливые зодчие Ринальди и Кваренги, скульпторы Жилле, Фальконе, Шварц не избегали эмблем своего искусства: циркуля, молота и палитры, как то делали

Растрелли и Виолле. Изображали их на портретах и гордились ими.

Не нашедшие заработка принимались за комиссионерство: продавали привезенные с собой работы Гольбейна, картины старых мастеров, статуи и гравюры.

В Петербурге открылись дорогие антикварные магазины.

Модным стало приглашать иностранцев-художников учителями рисования в семье знатных русских вельмож, в чем подражали им и дворяне. У Строгановых значится живописцем Калау, у Гагариных — Фогель...

Некоторые из живописцев принимались за дела, далекие от искусства. Христинек в продолжение многих лет давал деньги в рост, покупая и перепродавая дома, давали деньги в рост также Ротари, Чиполла, учитель рисования Паризо.

Не устроившиеся в столице отправлялись в Москву.

Начиная со времен Екатерины Второй, за столетие, иностранцы наводнили Россию: французы и англичане, немцы и итальянцы. Шведы, заполнившие Петербург, не поддавались учету.

Опытные в житейских делах, они искали связей при дворе, работали над портретами царских сановников, членов императарской семьи и государей. Кабинетные заказы оплачивались особенно щедро. Сколько брал Дау за копию своего оригинала, сказать трудно, известно, что один гравированный портрет оценивался в сто рублей.

А сколько денег заполучили Крюгер, Иебенс, Вихман, Ладюрнер, Орас Верне, писавшие членов царской семьи? Надо ли упоминать здесь Коллучи, Швабе и Френца, изображавших любимых собак Александра Второго и Александра Третьего?..

Немудрено, что множество влиятельных постов в Академии художеств, Кабинете и Эрмитаже, Адмиралтействе и Дирекции Императорских театров было отдано иностранцам.

На Россию они смотрели, как на золотое дно.

Истины ради скажем: среди приезжавших были и такие, которые серьезно интересовались Россией, ее историей, бытом, нравами, народным характером, древней культурой.

Своеобычной, не сравнимой с другими европейскими странами виделась им Россия.

Не могла оставить их равнодушной и природа России. Они зарисовывали увиденное, желая понять его, но для

того нужно было время, и время длительное, нужно было жить в России не одно десятилетие, дабы проникнуться духом ее, оценить нравственную красоту людей, ее населяющих.

Существовал и иной взгляд на русских. Француз Анжело, посетив Петербург в 1826 году и любуясь его архитектурой, писал: «На каждом шагу мы находим здесь следы наших соотечественников», и далее с иронией добавлял: «...чтобы наблюдать первобытных людей, переплываются моря и подвергаются тысяче опасностей, а здесь (в России. — *Л. А.*), в нескольких сотнях лье от Франции, можно наслаждаться интересным зрелищем, видеть первобытного человека среди культурной обстановки». (Такие мысли были сродни мыслям и некоторых русских по рождению. Небезызвестный В. П. Боткин, к примеру, стыдился своей национальности.)

Мысль о превосходстве европейского над русским, напомним, была едва ли не главенствующей в обществе. Иностранное влияние было значительно на протяжении многих десятилетий.

После смерти основателя Академии графа И. Шувалова, когда президентом стал И. И. Бецкой, она напоминала иезуитскую школу. Множество их открывалось тогда в России. Туда приглашали и детей православных, преследуя определенную цель: обучаясь латинскому языку, ученики осваивали и латинские правила жизни и должны были осознать преимущества католичества перед православием. Воспитанник школы (и на это также рассчитывалось) по окончании курса обучения с некоторым недоверием относился к собственно-русскому.

Из этой среды и выходили вполне русские по крови люди, которые затем надевали мундиры и треуголки, становясь государственными чиновниками, нередко влиятельными. Их отношение к Отечеству становилось источником многих его бед.

Выработанное И. И. Бецким «Генеральное учреждение о воспитании детей» гласило: «Никогда не давать детям видеть и слышать ничего дурного, могущего их чувства упоить ядом развратности, и чтобы даже ближайших своих сродников могли видеть только в самом училище в назначенные дни и не иначе как в присутствии своих начальников, ибо обхождение с людьми без разбора вредительно».

И. И. Бецкой, незаурядный государственный деятель, прекрасно понимал, что искусство является мощным идеологическим орудием. Поэтому и придавал большое значение делу перевоспитания детей. За годы пребывания в Академии ученики, конечно же, в какой-то степени отрывались от родной среды, быта, родительского мировоззрения. Из этих выпускников образовывались в последующем чиновники Академии.

Как метеоры промелькнули в должности президентов Академии А. И. Мусин-Пушкин и Шуазель-Гуфье. О последнем известно: более чем что-либо интересовали его политические и дипломатические интриги. При нем пост вице-президента Академии получил В. И. Баженов, знаменитый архитектор и притом влиятельный член масонской ложи. Впрочем, масонство проникло во все поры бюрократии русского общества. Известно, что ему одно время, будучи великим князем, покровительствовал Павел Петрович, который затем стал гроссмейстером мальтийского ордена. Связь «братьев» с будущим российским императором как раз и осуществлял талантливейший архитектор.

Взгляд на масонство как серьезнейшее и опаснейшее явление высказывается и в наше время. «Известно, — пишет критик М. Лобанов, — что под личиною мистического масонства скрываются его вполне земные планы мирового господства. Это глубоко законспирированная так называемыми степенями посвящения международная тайная организация, разветвленная во множестве стран, ставящая своей целью подрыв в этих странах основ государственной, религиозной, национальной жизни, духовное подчинение и порабощение народов».

Придя к власти, Павел Петрович отойдет от «братьев», но в марте 1801 года погибнет в результате дворцового заговора. Его сын Александр Павлович всерьез одно время увлекался мистическими учениями, но, осознав их главную истину, как серьезный государственный деятель, в 1822 году, подписал указ о запрещении масонских лож в России, что вовсе не означало их полное исчезновение, о чем не мог не догадываться император Николай Павлович, вступивший на престол вскоре после неожиданной для всех кончины старшего брата.

Впрочем, вернемся к Академии. Преемником В. И. Баженова на посту вице-президента оказался А. Ф. Лабзин.

Внешне учтивый, хорошо знающий природу человеческого характера, он умел выгодно отличаться от людей своего круга. Слыл либералом. Приглашал в дом студентов разучивать русские песни. Был внимателен к ним,

выпытывал мнения и без устали вербовал «профанов».

Ученик Шварца (тот, напомним, был диктатором, орденским настоятелем всего русского масонства), А. Ф. Лабзин возглавлял одно из течений масонства, а именно мартинизм. Издатель «Сионского вестника», обходительный в общении, человек не без литературных дарований, А. Ф. Лабзин преследовал одну цель — влиять возможно большим образом на деле Академии, подчинить ее веяния своим. В том ему помогал конференц-секретарь В. Григорович.

А. Ф. Лабзин настолько был уверен в себе, своих силах, что весьма решительно однажды усомнился в необходимости избрания общим собранием Академии почетными любителями лиц, приближенных к государю.

Когда же назначение произошло, это взбесило его. Он выразил протест, о чем доложили военному генерал-губернатору графу Милорадовичу, тот поспешил известить о случившемся государя Александра Павловича, находящегося в Вероне, и не забыл прибавить, что А. Ф. Лабзин с возмущением высказался о закрытии масонских лож, заявив: «Что тут хорошего? Ложи вреда не делали, а тайные общества и без лож есть».

Государь нашел время заняться «наглым поступком» А. Ф. Лабзина. Было приказано «немедленно отставить его вовсе от службы, ибо подобная дерзость терпима быть не может».

По отставке А. Ф. Лабзина должность вице-президента занял Ф. И. Толстой (того же поля ягода — в свое время он возглавил масонскую ложу, как пишет о том современная исследовательница Н. Л. Приймак).

Нетрудно предположить, что хорошо поставленное в художественном отношении преподавание в идейном не всегда отвечало русским национальным требованиям и интересам.

В какой-то степени этим можно объяснить, что в Академии, в ландшафтной живописи вершиной считался чисто космополитический пейзаж. Пейзаж выражает особенности национального характера живописца. Русский же характер сковывался самой методой преподавания, системой мировоззрения, проповедуемой чиновниками Академии.

Надо сказать, что голландцы, немцы, французы, итальянцы, принесшие на чужую почву традиции своей родины, оказали несомненную пользу русскому искусству (ни одно направление в искусстве, заметим в скобках, не миновало России). Эти традиции впитывались нашими художниками, которые на основе православной нравственности прокладывали путь к национальному русскому искусству.

Раздвоение России коснулось и художников. Долгие годы они смотрели на родной пейзаж как бы «двойным» зрением. В реальной жизни чувствовали его и воспринимали как русские, но при воспроизведении, связанные условностями, смотрели на холст глазами англичан, французов, немцев, голландцев.

Трудно утверждать, что создание национального пейзажа тормозилось влиянием таких людей, как А. Ф. Лабзин, но и невозможно отрицать, что осознание художником себя как частицы России, стремление к познанию ее настораживало вице-секретаря и он всячески гасил подобные тенденции, возникающие в стенах Академии, хотя и пел с ее учениками русские песни.

В русском же человеке и особенно художнике, не порвавшем со своей средой, вызревал бунт против этого раздвоения. Индивидуальные всплески бунта можно увидеть в работах М. Лебедева, С. Щедрина, в работах преподавателей Академии, обращавшихся к русским сюжетам и пейзажам.

Происходили перемены в обществе, и они не могли не отразиться на мировоззрении художников. Если в XVIII веке своеобразие развития русской культуры виделось в отрицании всего самобытного, народного, то теперь, наоборот, вызревала тенденция к переоценке ценностей. Культура народа начинала ставиться во главу развития русской национальной культуры.

«Коренная Россия не в нас с вами заключается,.. господа умники, — скажет Н. А. Добролюбов. — Мы можем держаться только потому, что под нами есть твердая почва — настоящий русский народ».

Всеобщий пробудившийся интерес к русской истории свидетельствовал о национальном самосознании. Впрочем, поворот не был всеобщим, скорее намечалась тенденция.

Так или иначе нельзя не упомянуть о настоятельном требовании К. Брюллова обратиться к натуре. Напомним и несколько резкие слова протеста Н. А. Рамазанова, записанные в дневнике: «Когда художники оставят в покое Олимпийскую сволочь? Когда перестанут они обезьянничать бессмысленно? Когда обратятся к предметам, которые должны быть близки их сердцу?»

Реализм, русская тема прорывались сквозь плотные стены Академии.

Напомним, к русским, историческим сюжетам прибегали такие преподаватели, как В. Шебуев, но в изображаемых ими русских людях пока не было русского характера, была иностранная заученная надуманность. Сказывалось господство чиновничества в Академии, порожденное длительным пребыванием на своих постах И. И. Бецкого, затем А. Ф. Лабзина.

Этот дух чиновничества претил и Шишкину, угадывающему это чиновничество во всей системе бюрократического аппарата России (вспомним слова его: «...а там чиновники, как и везде чиновники!!!!»).

Настроение его заметили родители.

«Меня удивляют ваши опасения касательно моей нравственности, — напишет он им в сентябре 1860 года, — вы боитесь, что, проживши в Петербурге четыре года, я переменился или даже мог испортиться нравственно. Относительно первого я действительно переменился, но не думайте, чтобы перемена эта вела к худшему— нет! Относительно второго, т. е. что я могу испортиться, я вам на это тоже скажу, что нет. Словом сказать, я все тот же, что и был в Москве и дома, и такой же точно и здесь. Петербургская жизнь с ее мишурой и прежде на меня не производила ровно никакого действия. Но в этой же самой жизни есть великолепные стороны, которые нигде у нас в России покамест встретить нельзя, и действие их так сильно и убедительно, что невольно попадешь под их влияние, и влияние это благотворно. Не принять и не усвоить их — значит предаться сну, и неподвижности, и застою».

Был Петербург чиновников, и были люди, болеющие за судьбу России.

Протест против чиновничьего, мертвого духа порождался знанием другой жизни — наполненной нравственными идеалами, искони народной. Не о том ли говорит и статья «Художники и студенты», хранящаяся в архиве Шишкина, которая, замечает искусствовед И. Н. Шувалова, «возможно, явилась плодом коллективного творчества группы студентов университета и учеников Академии, среди которых мог быть и Шишкин. В статье содержится призыв к молодым художникам войти в жизнь русского общества, заинтересоваться его судьбой...».

«Правду сказал один известный мыслитель, живопись есть немая, но вместе теплая, живая беседа души с природою и Богом», — думалось Ивану Ивановичу, и потому

не терпелось выехать из города и оказаться на Валааме. Жизнь среди природы — жизнь прекрасно тихая и безмятежная.

18 апреля 1859 года, на экзамене, Шишкин получил золотую медаль второго достоинства. Воробьев наговорил ученику кучу комплиментов. Через три недели в актовом зале, в торжественной обстановке, под музыку, медаль была вручена ученику Академии. На медали было выбито: «Достойному».

«...2-я золотая медаль есть уже награда значительная и весьма важная к Вашему будущему, она допускает Вас к соревнованию достигнуть первой золотой, которая, можно сказать, для художников есть золотой ключ к дверям земного рая... соберите же теперь все Ваши силы и сделайте последний важный шаг, чтобы окончательно и навсегда упрочить за собой то, о чем Вы стремились в мечтах своих и к чему направлена была вся Ваша деятельность», — писал из Москвы Мокрицкий. Он верно угадывал состояние молодого человека. Достигнутый успех поощрял к новому успеху. Надежды волновали кровь, мечты возбуждали воображение, а страх за будущее заставлял удвоить, утроить силы в работе.

Шишкин так рвался на Валаам, что не счел нужным остаться на званый обед, который устраивал новый вице-президент, князь Гагарин, для знакомства с медалистами. Иван Иванович еще не подозревал, что с приходом этого человека многое изменится в жизни Академии. Да что там Гагарин, ему и до государя нет дела. («В воскресенье ждут государя. Он-то чем порадует?»)

О князе Григории Григорьевиче Гагарине Шишкин перед отъездом из Петербурга упоминает вскользь, но мы позволим себе несколько подробнее рассказать об этом человеке.

В молодости Г. Г. Гагарин пользовался советами К. Брюллова, с которым находился в дружеских отношениях. Жанрист и пейзажист, он много писал из кавказской жизни, проходя военную службу на Кавказе. Там же подружился с М. Ю. Лермонтовым. Серьезно изучал историю искусства, опубликовал ряд трудов. С конца пятидесятых годов проявил большой интерес к византийской живописи.

Сложившимся человеком пришел он в Академию и решительно принялся за ее реорганизацию. Именно Г. Г. Гагарин сурово обойдется с Ф. П. Толстым. Искусствовед Э. В. Кузнецова, автор книги о Ф. П. Толстом, вышедшей

в наше время, выражая недоумение действиями нового вице-президента, делая вид, что не понимает существа происходящего, так пишет о последних месяцах пребывания Толстого в Петербурге перед вторым путешествием за границу: «Неудачи следовали одна за другой: балеты, отнявшие у художника много здоровья, сил и времени, так и не увидели свет; многие скульптурные и восковые работы, находившиеся в мастерской Толстого в Академии, были разбиты, так как без ведома художника князь Гагарин по неизвестным причинам распорядился освободить его мастерскую и выкинуть все произведения в коридор».

Причины известны. Мастерские чиновников от искусства Г. Г. Гагарин передавал ученикам. Он брался изгнать чиновничий дух из Академии.

Можно понять, какую тайную злобу и интригу породили в среде профессорского состава действия князя. О новом вице-президенте начали распускать нелепые слухи. Немудрено ли, сколько их — сторонников А. Ф. Лабзина и Ф. П. Толстого — оставалось в Академии!

Слухи преследовали одну цель — породить неверное представление о новом вице президенте и его действиях. И, надо сказать, на первых порах, они достигали цели. Свидетельство тому письмо И. И. Шишкина от сентября месяца 1860 года, в котором он напишет родителям: «Князь Гагарин, этот дурак — наш вице-президент — бурбон, солдат, офицер и все военные привилегии, страшно на меня зол ..»

Осерчать на молодого художника доброжелательный к молодым художникам князь мог за одно: за стремление Шишкина уклониться от официальных приемов и встреч с высокопоставленными чиновниками руководителями.

Впрочем, мы забежали вперед и вернемся на Валаам, куда отправился с товарищами Иван Иванович.

Местность ему показалась в этот раз еще лучше прежнего, и работал он много. Мысли приходили в порядок, наступало успокоение.

Иногда непогода давала о себе знать. Тучи закрывали солнце, море начинало волноваться и накидывалось на остров. Высота волн пугала. Жуть брала видеть их. Ветер валил деревья.

Воистину жизнь прекрасно тихая, безмятежная.

В такую непогоду приплыл из Петербурга игумен Дамаскин. Сам посетил художников, посмеялся над своими страхами (кому в удовольствие в бурю на волнах оказаться?), увлек беседой.

Со вниманием слушал Иван Шишкин глуховатый голос игумена. Бил в окна дождь, барабанил по крыше. Вспыхивали зарницы.

— Время не знает покоя, и для человека нет покоя, — говорил настоятель. — Кто не сделал ближним своим никакой пользы в один день, тот уже повредил им, лишив добра. Истинное величие, понимаешь на склоне лет, в том состоит, когда ты делал добро на твоем месте. Ну-с, будем пить чай. Надеюсь, угостите старика?

— Как же, как же, — принимались суетиться художники и доставали кружки и сахар.

Дамаскин же просил ознакомить с работами. Особо приглядывался к шишкинским.

— Дух наш, помните, говорил вам не раз, Иван Иванович, проявляется через наши мысли и слова, — обратился игумен к Шишкину. — Вашу душу я хорошо вижу.

— А я памятую другие ваши слова, — отвечал Иван Иванович. — Природа есть проявление мысли слова Божия к человеческому духу.

Дамаскин, поглаживая бороду, согласно кивнул. По душе ему были чащобы, изображенные на этюдах Шишкина. Ландыши, купена, копытень с блестящими темно-зелеными листьями .

Северные ветры и дожди зачастили не на шутку и заставили уехать с Валаама в то лето много раньше. Расставались с ним не без сожаления.

В Академии узнали о переменах. Готовился новый устав. («...все это для блага нас, учеников, и вообще всего мира художественного, перемена эта нужна была, она, слава Богу, и делается».)

Зимой Гине, Джогин и Шишкин принялись за изучение литографии и много работали для альбома литографий, думая сделать его выпусками. В деле участие принял Иван Васильевич Шишкин, через него сын просил у Д И Стахеева средств для этого издания.

Интерес к офорту у Ивана Ивановича проявился еще во время обучения в Училище живописи и ваяния. Там им сделан офортный оттиск «Горная дорога». Искал он возможности заняться станковыми видами печати и в Академии. («Хочу попоробовать гравировать на меди», — сообщал родителям в декабре 1857 года.)

Теперь же, убежденные в том, что гравюра и литография способны донести до большего числа людей мысли художника, товарищи с усердием занялись литографией.

Работалось споро. Они ощущали прилив душевных сил. Еще задумывая выпуск альбома, Иван Иванович писал родителям: «Некоторые рисунки и картины, писанные с натуры, профессор наш советует издать, т. е. нарисовать на камне самим же, и издать альбом, который будет иметь значительный успех, потому более, что таких изданий у нас еще нет, а пользуются заграничными. Но в этом мы чувствуем уже силу, что можем сравняться». В работе помогал конференц-секретарь Академии художеств Ф. Ф. Львов, но, несмотря на помощь, выпущено было лишь несколько превосходных литографий. Альбом света не увидел. Литография Монстера вскоре закрылась. Ознакомившись же с первыми литографиями, Мокрицкий поспешил написать Шишкину: «Это лучшие литографии, какие доселе были у нас в России».

Суровая природа русского Севера начинала теснить «облегченные красивости» иноземцев. Национальный пейзаж пробивал дорогу и в литографии.

В марте 1860 года в Академии открылась выставка работ Л. Ф. Лагорио, вернувшегося после семилетнего пребывания за границей в Россию. Выставка имела успех среди учеников Академии. Хорошо отозвался о ней и Шишкин. Лагорио считал необходимым для художника правдиво отражать реальный мир, и это было близким для Шишкина.

Нельзя не привести одного любопытного суждения, высказанного А. Н. Мокрицким в ту пору и которое, конечно же, запомнит И. Шишкин: «Таинственность и обворожительность дает пищу воображению и прибавляет интересу. Отчего на фотографию смотрим мы холодно и с меньшим интересом, чем на мастерское произведение искусства или даже удачный эскиз? Оттого, что фотография дает нам все, не оставляя ничего воображению. Отчего сумерки и лунные ночи так много имеют интереса для души поэтической? Оттого, (что) в них есть много таинственного, есть много для нас скрытого, что может нас поразить неожиданностью».

Оценивая же работу Ивана Шишкина, учитель отметил, что в картине недостает только того, что дается опытностью и наглядкою.

С марта годовой экзамен и академическую выставку перенесли на сентябрь, и было время поработать над конкурсной работой.

На лето Шишкин отправился на Валаам, где кончил большую картину «Кукко» (название одного из урочищ

на острове). За картину в сентябре получил большую золотую медаль.

С Академией он рассчитался совсем, и решено было им непременно ехать в Елабугу. («А там уж посмотрим и за границей что поделывают».)

Надо сказать, заграница пугала и интересовала его. От нее ждал многого. Но ехать туда страшился. Страшился оттого, что казалось ему, работы его несовершенны, слабы. Он даже порывался писать новую конкурсную работу, считая, что получил золотую медаль незаслуженно. («Вы сетуете на какую-то тяжеловатость и грубость коры, которой при всем усилии не можете сбросить, и вините в этом Север, — писал Мокрицкий. — И в этом вижу я признак болезни, а следственно, и отсутствие здравого мышления. Впечатления окружающей Вас природы в детстве имели, конечно, влияние на направление Вашего таланта к предметам суровым, мало встречающим симпатию, но в способе воззрения Вашего на предмет и в изображении его проглядывает глубокое эстетическое чувство, обещающее дальнейшим произведениям Вашим достоинства, способные удовлетворить требования самого утонченного вкуса».)

Позволим высказать свою догадку. Человек самолюбивый, Иван Иванович всего больше боялся суждений западных мастеров, умаляя собственные достоинства, и желал еще и еще работать в России, дабы ехать в Европу мастером.

Пугали его и рассказы людей, приезжающих из Европы. О тамошних мастерах слушал со вниманием и все более подумывал о качестве своих работ, своем мастерстве.

Особо коротко в ту пору сошелся с А. П. Боголюбовым, пенсионером Академии, возвратившимся после шестилетнего пребывания в Швейцарии, Италии, Турции, Франции, Германии, Голландии в Россию.

Выставка работ Боголюбова, устроенная в пользу вдов и сирот художников, произвела на всех видевших ее ошеломляющее впечатление. Уезжающий из Петербурга скромный ученик М. Воробьева вернулся зрелым мастером, усвоившим европейскую технику живописи. Обилие же выставленных работ свидетельствовало о необычайной работоспособности художника.

В Европе он внимательно знакомился с работами Рубенса и Ван-Дейка. В Швейцарии пользовался советами Калама. В Риме судьба свела его с художником Франсуа, и тот познакомил его с работами французских

пенсионеров Академии «Villa Medici», что произвело в нем переворот и, по собственному выражению его, он принялся вглядываться, как этот народ, выросший в школе Энгра, Руссо, Коро и прочих новых светил, тогда только открывших новую эру французского пейзажа, глядят на натуру.

В работе же собственной А. П. Боголюбов следовал советам, полученным от А. Иванова, с которым был знаком и национальную самобытность которого защищал всегда.

Обожал С. Щедрина. Картину «Вид Сорренто» писал с того же места, что и Сильвестр Щедрин. Увидев картину, А. Иванов попросил уступить ее ему. То было признание мастера.

Выставка Боголюбова в Петербурге посещалась бойко. Государь Николай Павлович купил «Ярмарку в Амстердаме» и все картины из истории Крымской войны, щедро оплатив работы художника.

После закрытия выставки, принесшей ему такой успех, он получил звание профессора и вошел в круг художников, группировавшихся вокруг Академии и Общества поощрения художников.

Вспоминая о возвращении своем в Россию в 1860 году, А. П. Боголюбов писал: «Я пошел в Академию. Августейший президент В(еликая) Кн(ягиня) Мария Николаевна предложила мне безвозмездно брать учеников Академии пейзажистов на выучку. Молодежь стала ко мне ходить — я им проводил мои европейские взгляды на искусство, рекомендуя главное писать поболее этюдов с натуры и не набросками, как у нас называется работа художников, а окончательно и серьезно. Из всех молодых людей я встретил талантливого одного Ив(ана) Ив(ановича) Шишкина... Остальное все было посредственно».

Боголюбов по матери доводился внуком А. Радищеву. В свое время учился в Морском кадетском корпусе. Был «отчаянной веселости и нрава».

Мичманом ходил в заграничные плавания. Посетил музеи Амстердама, Роттердама, Гарлема, Лондона.

Как-то член российской императорской фамилии герцог Максимилиан Лейхтенбергский, в то время президент Академии художеств, путешествуя на пароходе, обратил внимание на молодого лейтенанта, ознакомился с его рисунками и посоветовал серьезно заняться живописью.

— Заместо того, чтобы быть дюжинным офицером, — сказал он, — будьте лучше хорошим морским художником, знатоком корабля, чего у нас нет в России.

Благодаря ему было получено у Государя разрешение принять Боголюбова в Академию художеств с оставлением его на флоте.

В 1853 году за три вида Ревеля и за «Вид С.-Петербурга от взморья» А. П. Боголюбов получил золотую медаль и право на заграничную поездку.

Занимательный рассказчик, живой души человек привлек внимание и Шишкина. Со вниманием слушал он рассказы его о европейских художниках Коро, Тройоне, Добиньи.

— Старик Коро часто бывал у меня, — рассказывал Боголюбов. — Покуривал свою коротенькую трубку, которую в виде лакомства набивал турецким табаком. Крайне симпатичный человек. Давал советы, садясь за этюд, всегда думать о его картинности, дабы, поставя фигурку, был интерес...

Запоминались фразы, оброненные Боголюбовым в разговоре, характеристики, даваемые художникам.

— Когда отправлялся в Дюссельдорф, Изабе напутствовал меня словами: «Вспомните меня, не оставляйте долго у вашего Ахенбаха в немецкой школе, или вы будете черствы, как три немца, — с улыбкой рассказывал Боголюбов и добавлял серьезно: — Довелось мне работать в парижской и дюссельдорфской мастерских. Сравнивая, приходишь к мысли о преимуществе реалистической школы французского пейзажа. Впрочем, у немцев музыка... все покрывает. Ахенбах ввел меня в дом Шумана и жены его — пианистки Клары Шуман. Запомните эти имена. Этот композитор не оставит и вас равнодушным.

Боголюбов как в воду смотрел. Много позже Шуман станет любимым композитором Шишкина.

По поручению гидрографического департамента морского министерства Боголюбов приступал к работе над атласом берегов Каспийского моря. Надлежало совершить поездку по Волге, и он, по всей вероятности, звал Шишкина с собой. Известно, в апреле 1861 года Шишкин просил разрешения Совета Академии художеств о предоставлении ему пенсионерского содержания на один год для путешествия по восточной России вместе с Боголюбовым для художественных занятий по рекам Волге, Каме и Каспийскому морю. Но, получив разрешение на поездку, отказался от нее и в мае отправился в Елабугу, где не был более пяти лет.

(С Боголюбовым останутся добрые отношения. Надеясь создать пейзажный класс в Академии художеств, ратуя за это, А. П. Боголюбов предложит на роль преподавателей И. И. Шишкина и себя.)

* * *

...Весна в разгаре. Запахи черемухи и сирени разливались в воздухе. Менялись на станциях ямщики, все бо́льшие числа значились на верстовых столбах. Появлялись и исчезали по дороге деревни, часовенки со скрипучими воротами. До Елабуги оставалось несколько верст.

Знакомые перелески, пригорки — все наводило на воспоминания прошлого. Ивану Ивановичу казалось, что медленно ползут лошади, и он поторапливал ямщика.

И екнуло сердце, когда завиднелись вдали сверкающие под солнцем купола елабужских церквей.

На дворе никого. Двое щенков, играющих в траве, тявкнули на подъехавший экипаж и тут же забылись в игре.

Иван Иванович пересек двор и отворил дверь дома. Домашних не было. Видимо, ушли в церковь.

Окна распахнуты. Видно Тойму, Каму, заливные закамские луга. Доносились с улицы веселые переливы птичьих голосов. Все в доме как и прежде.

Мальчик, служивший в доме «на побегушках», кинулся за хозяевами в церковь, а Иван Иванович опустился в глубокое кресло около письменного стола отца. Знакомые до боли вещи лежали на столе. Фотографии сестер, чернильница, амбарная книга. Все на своих местах, никакой перемены не было в постановке мебели. И вновь кинул взгляд на отдаленный лес, луга, реку.

Услышал стук хлопнувшей двери и возбужденный голос маменьки:

— Да где же он?

Следом за ней спешил папенька и любезные сестрицы.

В «Записках достопримечательностей разных» Иван Васильевич сделает помету: «Сын Иван Иванович из Питера через шесть годов приехал 21 мая классным художником первого разряда».

«Можно себе представить, — писала Комарова, — с какой жадностью слушал его рассказы отец, как все родные присматривались к этому новому для них, веселому и неисчерпаемому рассказчику, в котором трудновато

было узнать прежнего молчаливого набожного и сторонящегося от всех неудачника Ваничку».

А он ревниво подмечал, как постарели родители.

Много было переговорено. О Петербурге, Академии, елабужских новостях. Несколько раз приносили и ставили на стол самовар.

Когда же первые волнения улеглись и надобно было время привести мысли и впечатления в порядок, Иван Иванович вышел из дому покурить табачку. Сестры не отпускали его.

Не слышал Иван Иванович, как папенька дрогнувшим голосом неожиданно произнес, обернувшись к Дарье Романовне:

— Жизнь, матушка, вел воздержанную, вина не пил, табаку не курил, рысистыми лошадьми не увлекался, а экого вон сына вырастил.

На ступенях Покровского собора отдыхали старушки, греясь на солнце. По реке тащились баржи и пароходы. Прошумит, просвистит пароход, стуча колесами, застелет черным дымом гористый берег, подплывая к пристани, а через несколько минут отчалит, забрав пассажиров и огласив окрестность резким гудком.

— Ну, сестрицы любезные, каково живется-можется? — спрашивал Иван Иванович, а те принимались рассказывать о потаенном. Можно ли от братца любимого скрыть что-либо?

Катится к лесу солнце. Вытягиваются тени. Свежеет заметно. И пахнет, и пахнет черемуха.

И явно слышны голоса проходящих по набережной купцов:

— Что, Лексеич, с пристаней-то пишут? Каково там?

— Будто бы хорошо.

— Гм... Хорошо-то оно хорошо, да поднять бы еще на полтину — тогда бы можно из убытков выкрутиться. Пожалуй, и барыш бы остался.

— Не без того...

И затихают голоса. И зажигают свет в окнах домов. И ударяет колокол, сзывая к вечерне...

С утра он отправился на этюды.

Вьется по подгорью малоприметная тропинка. Вдруг вовсе из виду скроется, будто в прятки с путником играет и вынырнет неожиданно где-нибудь на ровном месте.

В лесу тихо. Сонно. Вроде и птиц не слышно. И спада-

ет напряженность, которую испытывал последнее время, и радость охватывает от увиденного, подзабытого за много лет.

Нет, нет, живет лес. Вон дятел застучал, зашуршала мышь, напуганная шагами, и юркнула через тропку в густую листву.

За лесом поле бескрайнее, а чуть в стороне видны крыши домов деревни.

Зной, жара. Белесые тучки на небе. Глаза слепит от солнца. Но вот подул ветерок. Заметно потемнело небо на горизонте. Издалека донеслись раскаты грома. Повеяло свежестью. И первые тучи тенью проплыли по земле.

— Что, будет дождь? — поинтересовался Шишкин у крестьянина, работавшего в поле.

— Господь его знает.

— Ты-то как думаешь?

— Може и будет...

И глянув на небо, на горизонт, направился все же в сторону деревни.

В то лето наработано было много. Написаны «Шалаш», «Мельница в поле», «Болотистая местность при закате солнца», «Речка».

«В продолжении бытия написал разных картин до пятидесяти штук клеевыми и масляными красками», — запишет Иван Васильевич в своих достопримечательных записках.

Съездил Иван Иванович в Сарапул к Ольге, взглянуть на молодоженов (вышла сестра замуж за купца Ижболдина и покинула родительский дом). С карандашом не расставался и по дороге зарисовал лодку, везущую местную чудотворную икону. Отмечал красивые места, «надеясь когда-нибудь тут быть и работать — или иметь возможность указать другому пейзажисту характер местности и также где, в какой местности или деревне можно жить».

Надо сказать, по совету Шишкина на следующий год в Елабугу приедет работать Гун и братья Верещагины.

Лето пролетело незаметно. Жизнь прекрасно тихая, безмятежная подошла к концу. 25 октября Шишкин уехал в Питер.

Покрылась Русь осенним дымом. Дождь, ветер косой, холодный. Серые тучи растянулись меж голых сучьев. Промокшая озябшая земля. Кусты трясутся на ветру. Стучат. Низко стелется дым над землею, горько кашляется в красный от ветра кулак. Нет ни леса, ни луга, только ветки по степи. Одинокие, к земле прижавшиеся, подмерзают стога. Ветер и тучи — осень. На деревне ни души. В окнах коптилки. Из труб — дым к земле. Гниют завалинки. Скрипят петли у двери. Выглянет кто-то на беспутную дорогу и захлопнет дверь...

В такую-то слякоть и возвращался Шишкин в Петербург на перекладных.

«В Казани скука, осень глухая. Казань мне не понравилась, может быть, тому причиной холод и грязь, которые здесь свирепствуют... Монашки поют приятно; видел много молодых людей — неужели не из ханжества ходят?»

От Казани свернул в сторону, посетил развалины Великих Болгар, зарисовал малый минарет, белую палату. (Позже этюды попадут в собрание казанского коллекционера А. Ф. Лихачева. Шишкин приедет погостить к нему в имение Березовка на Каме, несколько раз навестит его в Казани. Ему уступит одну из своих работ — «Швейцарский пейзаж», выполненную вскоре по возвращении из-за границы, но это в последующем.)

В Васильсурске перебирались через Суру по льду, которым схвачена была река. В Нижнем прислушивался к разговорам мужиков, толковавших о посредниках.

Он завел дневник, исподволь готовя себя к поездке за границу. Нельзя же совершать поездку, не отмечая памятного.

В Москве пробыл довольно долго, словно оттягивал отъезд. В Петербурге хлопотал по делам В. Г. Перова и наконец начал собираться в дорогу, да и то потому только, что все вокруг твердили: де пора, пора ехать.

Глава седьмая
В ЕВРОПЕ

Не для того ли русский человек едет за границу, чтобы острее почувствовать свою связь с Россией?

С волнением покидал Иван Иванович Петербург. Ждал от Европы многого, побаивался встречи с ней.

С ним выезжали в Берлин Валерий Якоби и его гражданская жена Толиверова. Женщина энергичная, живая, она говорила о том, что надлежало им увидеть в Европе. Осведомленность ее бросалась в глаза. Настоящая фамилия ее была Тюфяева, в печати же выступала под псев-

донимом. Религиозный «дурман» был ей не по душе. Она ратовала за духовное обновление, непременно влекли ее люди действия, и, может, потому примкнет она впоследствии к гарибальдийцам. Муж, похоже, находился под влиянием ее. Познакомился с Чернышевским и критиком М. Михайловым, последние часы пребывания которого в Петербурге, перед отправкой на каторгу, отобразил в картине «Заковывание Михайлова в кандалы». Литография, сделанная с оригинала, имела большой успех в петербургской революционной среде. Теперь он подумывал о картине «Смерть Робеспьера». Академические работы В. Якоби приобретали явно определенную направленность и, как пишут современные искусствоведы, имели подчеркнутую «наглядность» раскрытия идеи о социальном зле в русском обществе. Особо нашумела его картина «Привал арестантов», за которую Академия художеств удостоила его высшей награды — большой золотой медали. Ее приобрел П. М. Третьяков, и о ней писали в прессе.

Якоби, как и всякий художник, не лишен был самомнения и ревниво относился к разговорам, слухам, если они касались его творчества. Потому и сердила его, как и жену, статья, опубликованная в журнале «Время» в октябре 1861 года. В статье, серьезной и обстоятельной, неизвестный автор, разбирая картину «Привал арестантов», писал: «В зеркальном отражении не видно, как зеркало смотрит на предмет, или, лучше сказать, видно, что оно никак не смотрит, а отражается пассивно, механически. Истинный художник этого не может: в картине ли, в рассказе ли, в музыкальном ли произведении непременно будет он сам; он отразится невольно, даже против своей воли, выскажется со всеми своими взглядами, с своим характером, с степенью своего развития. Это не требует доказательства... зритель и вправе требовать от него, чтобы он видел природу не так, как видит ее фотографический объектив, а как человек. В старину сказали бы, что он должен смотреть глазами телесными и, сверх того, глазами души, или оком духовным».

— Вы только подумайте, — говорила Толиверова Шишкину, — он утверждает, что художественности в картине нет ни на волос. Будто бы Валерий фотографировал каждого из своих субъектов и не картину написал, а совершил следственную ошибку. Все в картине равно негодяи, и все одинакие, как будто потому, что во мнении художника сравняла их этапная цепь. Все

у него равно безобразны, начиная с кривого этапного офицера до клячи, которую отпрягает мужик. Я говорю это слово в слово, памятью Бог не обидел. Можно ли так судить?

Она не приукрашивала, и память у нее действительно была цепкая. Не знала она только одного: статья была написана Ф. М. Достоевским. Впрочем, как она к нему относилась, неизвестно.

«А знаете ли вы, г. Якоби, — обращался писатель к художнику, — что, гоняясь за правдой фотографической, вы уже по этому одному написали ложь? Ведь ваша картина неверна положительно. Это мелодрама, а не действительность. Вы слишком гнались за эффектом и натянули эффект... Вам нужен был хаос, беспорядок во что бы то ни стало. Зачем вор ворует с пальца перстень именно в ту минуту, когда подошел офицер? Будьте уверены, что еще прежде чем доложили офицеру, что умер человек, — арестанты все разом, все кагалом сказали ему, что у него есть золотой перстень на пальце, да еще торопились высказать это наперерыв друг перед другом, может быть, даже перессорились во время результата...»

Осуждая В. Якоби за ложь, Ф. Достоевский косвенным образом возлагал вину за его мировоззрение и на Академию художеств, дающую ученикам «общее развитие, общее образование» и все усилия которой «клонятся к образованию специалистов, и все академические лекции имеют утилитарный характер, все направлены к специальности».

«Например, — писал он, — там читается история с точки зрения... костюмов. Там читается архитектура, перспектива без начертательной геометрии... теория изящного без общего философского приготовления, анатомия с точки зрения костей, мускулов и покровов, без естественной истории человека, и т. д. Такое утилитарное направление, конечно, не дает того общего образования, которое крайне необходимо для художника, и художества у нас никогда не подвинутся вперед без серьезного к ним приготовления в университетах».

Без Бога в душе, как бы говорил Достоевский, трудно художнику познать истину, невозможно до правды дойти общим развитием, общим образованием. И как бы осознавая преимущество пейзажистов над жанристами, близких к природе, к истине, божественному откровению, Ф. Достоевский добавлял: «Пейзажная живопись обязана

у нас своими успехами, может быть, двум обстоятельствам: тому, что в пейзажной живописи академизм гораздо труднее может быть водворен, и, стало быть, ему не так легко связывать и ограничивать развитие талантов. В пейзажной живописи учитель несравненно разнообразнее всех на свете профессоров, как бы талантливы они ни были: это сама природа».

Писатель как бы подсказывал пути поиска высшей правды.

Надо сказать, позже удаленность от родины и частые отъезды Толиверовой, ушедшей с головой в революционные дела, заставят В. Якоби на какое-то время по-другому взглянуть на себя и свое творчество. Он попытается обратиться к истории. За картину «Кардиналу Гизу показывают голову адмирала Колиньи, убитого в Варфоломеевскую ночь 1572 г.» получит звание академика. Вернувшись в Россию, примет активное участие в создании Товарищества передвижных выставок, но за неучастие в выставке будет вскоре исключен из него. Потребность разобраться в настоящем, ощущаемая в обществе, коснется и его, он обратится к русской истории, но на познание ее не останется времени, скажется отсутствие глубоких знаний, он станет, что называется, «хватать верхушки», изображать сцены из времен правления Анны Иоанновны и, так и не сумев дойти до высшей истины, кончится как художник. Но, впрочем, до тех времен еще далеко. Пока Валерий Якоби был доволен складывающимися делами. Поездка в Европу, живой интерес публики к картине, которую приобрел П. М. Третьяков, — что по сравнению с этим статейка неизвестного автора в журнале «Время».

Якоби владел французским, и, чтобы хоть как-то изъясняться с немцами на первых порах, решили в поезде выучить несколько немецких фраз. Их сосед, читавший до той поры газету, отложил ее и вежливо поинтересовался, куда едут художники. Разговорились. А вскоре Иван Иванович со вниманием вглядывался в него, до того интересным оказался нечаянный попутчик. Ему было под шестьдесят. Доктор и ординарный профессор, он ехал в Берлин по вызову. Прекрасно говорил на немецком, но, угадывалось, более любил русский.

— Монах изобрел порох, иудей — ассигнацию, медик — газету: скромные изобретатели, — говорил он, — все они были далеки от того, чтобы вообразить себе все могущество своих изобретений. А что ныне? Газеты, газеты царствуют над миром, их владычество скоро преклонит человека под гнет предубеждений и, следовательно, под ярмо более или менее переодетой невежественности. — Он помолчал и вскоре продолжил: — Когда при Людовике XIV доктор Ренодо вздумал издавать периодически в прозе свои замечания о каждодневных событиях, то не думал тогда, в том нельзя не сомневаться, что из пера делает магическое кольцо, способное превращать порок в добродетель, маленького человека — в великого, и наоборот, потрясать или утверждать престолы, возмущать или успокаивать мир, омрачать умы человеческие, как заметил один государственный муж.

— Но не создай Ренодо газету, сколько информации лишился бы человек. Есть же законы развития человеческой цивилизации, — возразила Толиверова.

— Цивилизация, — едва усмехнулся доктор. — А не примечали ли вы, на что преимущественно направлены в ней важнейшие ее открытия и усовершенствования в области наук и искусств? Порох и огнестрельное оружие? — На то, чтоб малому числу людей держать в страхе большие массы народа; книгопечатание? — На то, чтобы способ воззрения на вещи немногих умников передать в общих понятиях многим народам и тем внушить им к себе уважение, вкрасться в их доверенность и, захватив у них важнейшие пружины управления, держать их в повиновении у себя; предметы удобства и изящества жизни? — На то, чтоб размножить материальные нужды у людей и чрез то водворить разделение между ними по бесчисленным степеням достатка или недостатка, вкуса или безвкусия; умножение и разнообразие чувственных наслаждений? — На то, чтоб подавить в людях чувство к возвышенному и святому; быстрые сообщения посредством железных дорог, паровые и другие машины? — На то, чтоб заставить человечество усерднее работать в материальности и не дать ему времени одуматься и озаботиться загробною своею судьбою — словом, на то же, на что некогда Фараон в Египте приказывал как можно больше обременять работами народ избранный. Мир, прекрасное общество западноевропейское, тот же Египет; а ищущие Господа, уничиженные христиане в мире — те же израильтяне в Египте. Будем уповать, что Господь рано или поздно выведет их из этого Египта!

Поезд пересекал реку, и за окном, сквозь мелькающие фермы моста, видны были маленькие лодки рыбаков.

— После всего сказанного нет ничего удивительного в том, что цивилизация наша погибнет, — закончил доктор. — Живый Бог, по благости своей, не попустит безбожной цивилизации развратить и погубить все человечество, потому что Иисус в малом стаде своем бесконечно сильнее сатаны во тьмах его видимых и невидимых поборников.

Слова его пробудили воспоминание у Ивана Ивановича об игумене Дамаскине, их долгие беседы. И он порадовался, что есть глубокие люди и среди светских людей

— И все-таки, и все-таки, господин... господин... — запнулась Толиверова, запамятовав фамилию собеседника.

— Панебица, доктор Панебица, — подсказал тот.

— Да, да .. И все же Европа нас обогнала, и надолго. Люди живут богаче в материальном отношении, нам ли угнаться за их фабриками и заводами?

— Без сомнения, благоденствие материальное в Европе лучше, — отозвался доктор, — и в дальнейшем европеец питаться будет лучше, покоиться мягче; но душа будет ли лучше? И сделавшись достаточнее, будет ли европеец иметь больше добродетелей? Угрожающая им цивилизация — это такая цивилизация, которая все разрушает, ничего не создавая, это цивилизация все растворяющая. И она грозит и России. По ней плачут нигилисты, революционеры, и не дай Бог добьются...

Он внимательно взглянул на собеседников и улыбнулся:

— Утомил я вас рассуждениями. Я старик, а старики имеют привычку к многословию. Забудутся мои слова, как только выйдем из вагона. И все же добавлю еще одно: когда французские министры предпринимали завести во Франции индустрию, чтоб занять ею беспокойный французский народ и вместе преобладать посредством изделий над варварскими народами, лишь один из них правильно заметил своим товарищам: «Мы толкаем человечество к пошлости и лишим его понятий обо всем возвышенном».

В Берлин приехали ночью. Народ повалил из вагонов. Носильщики и агенты гостиниц, опережая друг друга,

хватали вещи, жестом требовали следовать за ними и называли гостиницы.

Какой-то комиссионер, схватив багаж Шишкина (Иван Иванович повторял одно: klein Zimmer — маленькая комната), привез его в Отель de Rome. Якоби и Толиверова в толпе потерялись.

Только случайно в этот же отель попал и Якоби. Утром, как пишет Комарова, он принялся расспрашивать о Шишкине, своем товарище-художнике, его наконец поняли и привели в одну из комнат, где он и увидел стоящего у окна Шишкина, рисующего и проклинающего заграницу.

«Оказалось, — пишет Комарова, — что тем же вечером в отель приехал какой-то англичанин, также не говорящий по-немецки, и приказал себя разбудить в шесть утра, чтобы ехать дальше. Кельнер смешал его с Иваном Ивановичем и утром рано приходит к Шишкину, будит его и знаками показывает, чтобы он оделся; тот послушно встает. Кельнер приносит ему кровавый ростбиф (Шишкину ненавистный), яйца и масло и приглашает его жестами сесть за стол. Иван Иванович отказывается, машет руками, но кельнер с улыбкой показывает на часы, надевает ему дорожную сумку и жестами убедительно уговаривает его позавтракать; делать нечего, Иван Иванович садится и покорно съедает все, ему поданное. Вдруг входит управляющий отеля, говорит что-то кельнеру, потом оба обращаются к нему с какими-то словами, кланяются, и кельнер начинает его раздевать и показывает, чтоб он опять ложился в постель и спал. Иван Иванович так и сделал, но потом с отчаянием спрашивал у Якоби: неужели здесь существует обычай заставлять путешественников насильно есть среди ночи? Дело объяснилось, и они много хохотали над этим происшествием.

В первый день они отправились осматривать город; Иван Иванович решил писать дневник и некоторое время записывал все свои впечатления, дополняя их иллюстрациями, но потом отвращение к письму взяло верх и он забросил дневник».

Время сохранило его, и благодаря записям, сделанным Шишкиным, можно судить о его мыслях и происходящих событиях.

Посетили с Якоби здание Берлинской Академии художеств. Поразили грязные рисовальные классы и суховатые рисунки учеников. «Студии конкурентов смешны, — записывает Иван Иванович, — и конкуренты сами

тоже, сюжет какой-то допотопный, но все же из своей, т. е. немецкой истории».

Новизна впечатлений требовала фиксации самых малых событий. Записи велись ежедневно. Заметно главное: его стремление побывать на выставках и в мастерских художников. Ему важно узнать их взгляды на современное искусство и ознакомиться с техникой живописи. По записям же можно судить о быстро угасающем ощущении новизны.

О себе пишет в третьем лице («он описывает впечатления от города, от мастерских художников, виденных им там, картины, церкви, магазины, мосты, подмечает мелочи германской жизни и нравов, жалуясь иногда на бестолковость и трудность найти что-либо без знания языка: им постоянно приходилось прибегать к мимике или рисованию нужного предмета»).

В связи с этим позволим себе привести одно семейное воспоминание, переданное внучатой племянницей художника Ольгой Павловной Гвоздевой. Как-то Иван Иванович, будучи на пароходе, почувствовал сильный голод и отправился в ресторан. Ему подали меню (каждый живой штрих, а их мало сохранилось об Иване Ивановиче, важен для нас), и он, испытывая все усиливающийся голод, но не зная языка, принялся выискивать из названий блюд самое длинное, надеясь, что величина блюда соответствует названию. Заказ был принят и исполнялся очень долго. Наконец принесли тарелку, на которой Шишкин увидел то ли краба, то ли устрицу, залитую чем-то, которую он тут же, в сердцах, и выбросил за борт.

Одна из важных записей в дневнике: «Калам очень плох». Видимо, близкое знакомство с работами швейцарского мастера, находящимися за границей, переменило в корне отношение к нему. Понять причину охлаждения косвенно, на наш взгляд, помогут воспоминания художника Льва Михайловича Жемчужникова, посетившего в свое время Калама в Женеве.

«Я застал Калама в собственном его доме, за работой Он принял меня, и я отрекомендовался, наговорив ему приятных похвал об его работах, присланных в Петербургскую академию, и перед которыми К. П. Брюллов снял публично шляпу, низко поклонившись.

Калам слушал и работал. Выражение лица его было довольное. Я всматривался в его технику: на палитре лежали тщательно подготовленные тоны неба, деревьев,

травы, камней и воды. Он брал тот или другой тон, и работа его шла непрерывно, как по нотам, как звуки на органе, — без фальши и как-то бездушно. Глядя на его работу, я чувствовал, как жар мой постепенно остывал, и заученная его манера мне опротивела. Я простился, ушел и более не приходил к Каламу; работы его перестали интересовать меня точно так же, как заученная фабричная техника Айвазовского, картины которого я сравниваю с вином, то есть чем они старее, тем лучше. Когда этот талантливый русский художник был моложе, то он работал скромнее, изучая природу; в его картинах было более достоинства, интереса и менее заученного, машинного, бездушного производства для наживы. Такая работа уже не художество, а промысел и торговля».

Холодный классицистический романтизм Калама явно выглядел фальшивым в сравнении с эмоционально насыщенными полотнами современных французских художников. «Калам сух», — запишет Иван Иванович.

Посетив художника графа Оскара фон Краков («много пейзажных этюдов весьма плохих»), оценит сурово и картину, находящуюся в работе: «нехороша, мертва, жизни, как у большей части средних художников, нет; рисовать вовсе не умеет».

Музей в Берлине показался отвратительным. Лишь фрески В. Каульбаха показались великолепными. Долго изучал их. Неожиданно сзади раздался знакомый голос:

— Теперь фресок пять. Но он будет писать шестую. Историю цивилизации.

То был Д. В. Григорович, направляющийся на родину матери-француженки и проездом остановившийся в Берлине.

Чем-то не понравился он Шишкину, кокетливостью ли своей, всезнайством или из-за презрительного отношения к русскому. («Это все нам поведал Григорович (беллетрист), который, оказывается, большой знаток искусства и поклонник его, без разбора, ругает все русское без пощады, уехал в Париж».)

Сам Д. В. Григорович был других мыслей. (В Петербурге «происходили выборы в секретари «Общества поощрения художеств. Оно было мне предложено, и я охотно согласился; новая обязанность приближала меня к художественной сфере, близкой моему вкусу».)

Приблизившись к «сфере», Д. В. Григорович поспешил выехать из России во Францию, подышать воздухом предков.

Не однажды Шишкин и Якоби заглядывали в художественные магазины, разглядывали и приценивались к эстампам, рылись в книгах в антикварных магазинах, находили запрещенное в России.

Берлин, отмечалось в путеводителе старых времен, «становился все более интернациональным городом и утрачивал прежний ультранемецкий характер. Он поражал русских своей чистотой, благоустройством, шириной новых улиц, упорядоченностью во всех отношениях и умением сделать жизнь сравнительно недорогой». Для общего ознакомления с Берлином и его окрестностями достаточно было двух дней. Видимо, поэтому через пять дней художники направились в Дрезден.

Ехали ночью. Дорога чем-то напоминала Николаевскую железную дорогу.

В городе встретили двоюродных сестер В. Якоби, умных и добрых женщин, возвратившихся из Италии. Переполненные впечатлениями, они с увлечением рассказывали об увиденном.

Город зеленый. («Зелени здесь больше, чем в Берлине».) Живописна мелководная Эльба и старые мосты через реку.

В чужом городе приятно было услышать бой часов старинной башни, напоминающий московские звуки. Все, что чем-то напоминало Россию, становилось близким. («Сегодня же мы слышали звон в церкви очень гармоничный — это как-то отзывается родным».)

Почти месяц художники не брались за кисти и краски.

«Иван Иванович не мог сосредоточиться и мало сделал, пока не привык к чуждой для него природе и людям», — писала Комарова.

Не понравилась Шишкину и постоянная выставка в Дрездене.

Приведем дневниковую запись, позволяющую понять главное, происходящее в душе Ивана Ивановича: меняющееся отношение к работам современных европейских мастеров и новый взгляд на себя как русского художника.

«Мы по невинной скромности себя упрекаем, что писать не умеем или пишем грубо, безвкусно и не так, как за границей, но, право, сколько мы видели здесь в Берлине — у нас гораздо лучше, я, конечно, беру общее. Черствее и безвкуснее живописи здесь на постоянной выставке я ничего не видал — а тут есть не одни дрезденские художники, а из Мюнхена, Цюриха, Лейпцига и Дюссельдорфа, более или менее все представители великой немецкой нации. Мы, конечно, на них смотрим так же подобострастно, как и на все заграничное... До сих пор из всего, что я видел за границей, ничего не довело до ошеломления, как я ожидал, а, напротив, я стал более в себе уверен — не знаю, что далее будет».

Он отмечает лишь несколько пейзажей, работы Гартмана и Хоннека.

Лишь двадцать первого мая впервые отправились с Якоби на этюды. В Государственном Русском музее хранится акварель Ивана Ивановича «Мост Августа», датированная этим числом. Мелководная речка, старый мост, каменные невысокие строения и башни собора. Скучная, неяркая весенняя пора.

В Дрездене бросались в глаза чистота и порядок. Чистенькие дворики с цветущими кустами и цветниками. По вечерам горожане (Иван Иванович с Якоби присоединялись к ним) направлялись к общественному саду послушать музыку и насладиться чистым воздухом.

В Дрезденской галерее его привлекли работы Рубенса, Мурильо, Рюисдаля.

Любопытно сравнить его отношение к картине Рафаэля «Сикстинская мадонна» с суждениями о ней других русских художников.

«Знаменитая мадонна не произвела на меня никакого впечатления, очень понравился Спаситель и Божья матерь, но этот поп и внизу умиленная Варвара тут совершенно лишние... вообще Мадонна вещь действительно серьезная, и чувствуются в ней достоинства, которых, быть может, мы не понимаем», — запишет Иван Иванович.

Несколько холодное отношение к Мадонне у Шишкина не случайно. Вспомним отзыв Л. М. Жемчужникова о картине: «...не будучи поклонником Рафаэля, к работам которого с некоторого времени потерял доверие, я подошел к его Мадонне с предубеждением». И. Е. Репин и В. В. Стасов (по словам последнего), «взапуски ругали «Сикстинскую мадонну» Рафаэля (идол всего света!). И. Н. Крамской в письме жене в 1869 году напишет, что изображенные на картине папа Сикст IV и св. Варвара «только мешают, развлекая внимание, и портят впечатление».

Такое отношение русских художников к Рафаэлю объяснимо. О том писали, в частности, и современные

искусствоведы А. Г. Верещагина и М. Н. Шумова: «Ниспровержение» Рафаэля особенно характерно для той части художественной молодежи, которая резко относилась к искусству, насаждаемому Академией художеств. Для них Рафаэль, поднятый на щит и объявленный эталоном для подражания сторонниками академизма, был символом этого реакционного во второй половине XIX века течения. И в борьбе за новое реалистическое искусство был сброшен с пьедестала вместе с академизмом и Рафаэль».

Это, однако, не помешало Шишкину высказать, что «Мадонна вещь действительно серьезная, и чувствуются в ней достоинства, которых, быть может, мы и не понимаем».

В прочих картинах отмечал рыхлость. (Все «на подмостках или разных ходулях».)

Те же мысли высказал и неожиданно встреченный в галерее Алексей Феофилактович Писемский. Он утомился, знакомясь с городом, страшно пыхтел, говорил, что ничего ему здесь не нравится, и утверждал, что петербургский Эрмитаж в сто раз богаче.

А. Ф. Писемский останавливался в Дрездене проездом. Он направлялся в Англию к А. И. Герцену, от которого надеялся узнать, случайно ли то судилище, которое над ним учинили критики на страницах «Искры», или он, возможно, отстал от времени, о чем, в прекрасном своем простодушии, подумывал не однажды. Герцена он уважал. Не хотел верить Алексей Феофилактович, что в России печать не балует тех, кто радеет за интересы русских, не подозревал, что мучающая его мысль о засилье денежного мешка и поиск сил, способных противостоять этому засилью в русском обществе, отраженные много позже в романе «Масоны», станут причиной того, что против него начнется дикая травля в петербургской печати.

«Я тащусь по Европе и пока, кроме хлопот по дороге, никаких особых удовольствий не получил», — писал Алексей Феофилактович в начале мая 1862 года Краевскому из Дрездена.

Не ощущали особых удовольствий и художники.

«...Сегодня также ходили с Якоби рисовать, но безуспешно, немецкий пейзаж слишком непривлекателен и почти до омерзения расчищен», — записывает в дневнике Иван Иванович.

Другая запись: «Эльба не стоит красок поэзии, которые так щедро расточали на нее наши поэты... все неметчина».

Чем больше знакомился с Германией, тем сильнее ощущал тоску по родине, ненужность поездки. Лишь в одном ценна была она: позволяла оценить величие России и остро почувствовать кровную связь с ней.

«Пожалеешь сто раз, что не знаешь языка, без него очень плохо, потому и Дрезден начинает надоедать и не нравится — в эту минуту так бы и полетел в Россию, в Петербург, к товарищам, ах, как жаль, что их нет! Сижу и грустно насвистываю песенки русские, а в саду слышится пение немецкое; много еще предстоит скучного и грустного впереди — делиться впечатлением не с кем. Эх, нет Гине, Джогина, Ознобишина — словом, пейзажиста-художника — жаль! А пейзажист — истинный художник, он чувствует себя глубже, чище. Черт знает, зачем, зачем я здесь, зачем сижу в номере Штадт Кобурге, отчего я не в России, я ее так люблю! Грустно; пою и свищу почти со слезами на глазах: «Не уезжай, голубчик мой! Не покидай края родные!»; в репертуар моего пения вошли почти все русские мотивы, какие знаю. Грусть, страшная грусть, но вместе с тем и приятно — дай Бог, чтобы не утрачивалось это чувство, таскаясь по проклятой загранице. Еще более делается грустнее и неприятно, что не получу ни от кого писем — велел их адресовать в Женеву».

Через несколько дней ярко освещенный, праздничный и какой-то неестественный Дрезден опротивел. («Дрезден надоел в высшей степени, завтра бы удрать очень хорошо», — запишет Шишкин в дневнике.)

Заглядывает в местную церковь, но и здесь «картинность» пастора раздражает. Иван Иванович решает ехать в Саксонскую Швейцарию. До отплытия парохода оставалось времени достаточно, суета, мишура, пустота виденного раздражили до такой степени, что он отправился бродить по кладбищу. Работать ни в эти, ни в предыдущие дни не мог.

Не прельстили его и живописные, на взгляд многих, виды Саксонской Швейцарии, с миниатюрными горами, водопадами, множеством мелких ручьев, пробивающихся в скалах, гротами. Он не упоминает в дневнике ни о прибрежных селениях, ни о замках, не делает никаких зарисовок.

Лишь с переездом в Прагу начало меняться его отношение к увиденному, и на то были причины.

«В Праге Иван Иванович работал очень недолго, хотя иногда и делал экскурсии в окрестности; он был очень доволен, когда в июле уехал с товарищами в Пардубицы, откуда они все лето разъезжали по Богемии, останавливались в более интересных местах. Но погода стояла холодная и дождливая, Иван Иванович не мог сосредоточиться и мало сделал, пока не привык к чужой для него природе и людям», — запишет Комарова со слов Шишкина.

В Праге, занятой австрийцами, Иван Иванович особо почувствовал тягу западных славян объединиться с русскими. Славянское заговорило в нем особо отчетливо, когда он познакомился с Иозефом Коларом — преподавателем словесности и естественных наук пражской гимназии. Колар горячо поддерживал и развивал идею славянского содружества. (В скобках отметим, что он хорошо знал русскую литературу и перевел на чешский язык стихи Кольцова.)

Ф. М. Достоевский, размышляя о путях развития Европы и России, придет к мысли, что старые лозунги буржуазных революций, оказавшиеся на деле лишь личинами западного мира, уже не способны спасти мир и человечество от разъединения, духовного, «химического распада», и выдвинет свою идею спасения мира силой русского братства, которое, по мысли его, есть не что иное, как «духовное единение... взамен матерьяльного единения». «Ибо назначение русского человека — есть всеевропейское и всемирное, оставаясь русским», — запишет Ф. М. Достоевский. Идея «братского единения... братства и равенства высшей духовной свободы», считал Ф. М. Достоевский, есть суть великая дорога, ведущая все без исключения народы к «золотому веку».

«Великая дорога — это соприкосновение с великими идеалами общечеловеческими, это и есть назначение русское» — такие слова появятся в черновых набросках писателя.

Вера в необъятную духовную силу, в русский характер и порождала в кругах западных славян великую надежду в русского человека, мысль об объединении с ним.

Иозеф Колар относился к разряду тех людей, которые остро чувствовали, что в этом мире, полоненном денежным мешком, «ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русского, может быть, изо всех народов наиболее предназначено».

Мысли Колара были близки Ивану Ивановичу еще и

потому, что, как Австрия одолела и истязалась над западными славянами в Праге, так и «немцы» в России одолевали русских.

С Коларом они становятся неразлучны. Вместе с Иозефом осмотрели все местные достопримечательности: галереи, соборы, в которых Иван Иванович заслушивался игрой на органе. Колар познакомил его с чехами, говорящими по-русски, в том числе и с чехом Варва, который перевел на родной язык «Обломова». Вместе ездили на чешские гулянья.

Славянский дух, серьезность проглядывали и в работах чешских художников. Ознакомившись с ними, Шишкин впервые отмечает разницу между отношением к делу славян и современных немцев. Так, записывая впечатления о Манесе, он отметит: «...я еще не видел художника более строгого, добросовестного и честного... его работа нисколько не похожа на заграничную вообще, т. е. легкую, вкусную и часто пустую и бессмысленную».

Ивану Ивановичу все более хочется «на натуру, на пекло красного солнышка».

Однажды ушли с Коларом из Праги в пять утра и прошли верст двадцать пять по долине. Набрали растений, и Колар помогал точно классифицировать их.

В другой раз пригласил Шишкина на освящение знамени общества гимнастиков и певчих. Слушая взволнованную речь лидера чешских либералов, талантливого оратора Сладковского, не зная языка, Шишкин понял смысл ее — настолько живо говорил оратор. («Я думал, разразятся рукоплескания, но холодны стали чехи или немцев боялись — не знаю, а у меня, признаюсь, руки чесались — смысл его речи был общая свобода всех славян, самого громадного племени в Европе».)

Забегая вперед, скажем: чувство гордости за Россию, русского человека окрепло у Шишкина в Европе. Нельзя не привести один любопытный факт, упоминаемый Д. Успенским: «Когда-то в молодости в одной из пивных Мюнхена немцы стали подтрунивать над русскими и Россией. Шишкин вступился. Началась ссора, окончившаяся сокрушением целой толпы немцев. Дело дошло до суда, и там в числе вещественных доказательств фигурировал железный прут пальца в три толщиной, согнутый в дугу могучими руками сражавшегося Ивана Ивановича. Суд оправдал Шишкина, а немецкие художники отнесли его из зала суда в ближайшую пивную, где и воздали должную честь собрату и доброму патриоту».

В октябре Иван Иванович поселился в Мюнхене. Ощущение новизны исчезло, и дневник перестал существовать.

Сохранилась фотография художника, сделанная в Мюнхене. Немного суровый, высокий, стройный, с зорким взглядом, модно одетый человек смотрит с нее. «Прекрасный человек был Иван Иванович, — скажет один из его современников, — с виду суровый, на самом деле добряк, по внешности волостной старшина, на самом деле тончайший художник. Наружность его была типично великорусская, вятская».

Работа не клеилась. Не было натуры по душе. Чем больше он переезжал с места на место, поражаясь разнообразию видов, резкостью очертаний, тем чаще думал о России. Все, что он видел здесь вокруг себя, настойчиво навязывало ощущение границы, предела, постоянного присутствия человека. Быстрая перемена пейзажа непрерывно занимала внимание и крайне возбуждала. Другое дело Россия. Припоминались бескрайние поля, холмы, ласкающие глаз перелески, деревни по берегам рек, дремучие, протянувшиеся на сотни километров леса, в которых отдыхала душа. Все в России, по замечанию В. О. Ключевского, отличается мягкостью, неуловимостью очертаний, скромностью, даже робостью тонов и красок. Ветер да тишина на обширных пространствах. И спокойные мысли...

Может быть, в Европе Шишкин впервые глубоко задумывается о значении родной природы для русского человека. Не здесь ли придут к нему мысли, что река приобщает русского человека к артельному труду, учит общению с людьми незнакомыми, пробуждает предприимчивость в нем, а жизнь в степи или в лесу, где человек в одиночку борется с природой и где требуется кропотливая черная работа, порождает другую привычку — неумение и нежелание работать на людях. Человек степной, лесной замкнут, осторожен, спокойно чувствует себя, лишь оставаясь наедине с собой, но и удивительно наблюдателен — сколь верны народные приметы!

В лесной глуши, близ родника с ключевой водой не чувствует ли себя русский человек в родной религиозной среде?

Простая, но глубокая мысль: жизнь — основа мира, разлита повсюду, и найти ее можно в траве, былинке, камне...

Природа, что храм, в который пришел верующий, и потому он так благоговейно вглядывается в нее, прислушивается к ее голосу.

Пожалуй, теперь Иван Иванович мог повторить мысли историка И. Е. Забелина, заметившего: «...ландшафт страны всегда имеет глубокое, неотразимое влияние и на мысль, и на поэтическое чувство народа и всегда возделывает и мысль и чувство в том характере, в том направлении и в той перспективе, какими сам отличается».

В Мюнхене Иван Иванович принялся рисовать животных, задумывая «соединить пейзаж с животными», для чего начал посещать мастерские братьев Бено и Франца Адама, занимающихся живописью этого рода.

Именно из Мюнхена Шишкин отправит письмо Ивану Волковскому с просьбой узнать о сохранности своих работ, находящихся у Гине. («...кажется, буду просить прислать их мне»). Похоже, свежим глазом хочет он взглянуть на работы прежних лет.

Из Петербурга пришли и грустные вести. Джогин сообщал, что он и Гине «опять по-прежнему оборвались на экзамене, но вот уже навсегда». (В журнале собраний Совета Академии художеств от 2 октября 1862 года было записано: «...Александру Гине... и Павлу Джогину отказать в допущении до конкурса на золотую медаль. Первым трем за летами... А... Джогину по неуспешному конкурсу в два раза».)

Из писем узнает о событиях в далеком Петербурге.

«Академия упорно отстаивает свои старые привычки, и никакие, кажется, силы не в состоянии толкнуть ее вперед... Приезжай скорей, бросай немцев и их природу, в наш лес пошли — хорош он!» — писал Джогин.

Появились в России новые имена: Суходольский («Боголюбов об нем говорит, что Ахенбах лучше не напишет этюдов», — сообщал старый товарищ Шишкину), Орловский. Еще новость: «Перов выставлял своих попов — и через 24 часа по повелению было снято, но, несмотря на то, критика разобрала сюжет подробно и признала его 1-м юмористом России: он теперь женится и в генваре будет в Германии».

«Будем ждать», — радуется Шишкин.

Мясоедов написал «Бегство Григория Отрепьева из корчмы на Литовской границе». Боголюбов уехал в Египет. Костя Маковский получил вторую медаль за карти-

ну «Агенты Дмитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова». На всемирной выставке заговорили о пейзажах Лагорио, Лебедева, Щедрина. Заметили, заметили русских!

Заканчивался первый год пребывания за границей. Нужно было подавать отчет об увиденном, проделанном. На бумагу ложились следующие строки: «...Касаясь вопроса о мюнхенской школе вообще, невольно придется бросить хотя бы беглый взгляд и на требования публики, тем более что они частью обусловливали труды художников. Здесь как число художников, так и людей, интересующихся искусством, весьма большое, но публика ли виновата в замечаемой неоконченности картин или художники испортили взгляд ее — не знаю, однако, ходя по выставкам, я видел весьма мало картин гармоничных. Поэтическая сторона искусства нередко убита здесь материальностью красок и самой работы.

Публика, кажется, не требует очень многого, сюжеты жанристов часто лишены интереса и ограничиваются сладкими сценами обыденной жизни; отсутствие мысли в картинах этого рода весьма ощутительно».

Шишкин подметил главное: интересы невзыскательной публики «обусловливали труды художников». Насколько же мелки были интересы, можно судить по картинам живописцев.

Другими интересами жили в России. Было с чем сравнивать. Немецкая публика искала развлекательности, требовала ее, диктовала художественному рынку, на них и ориентировался немецкий художник, наводняя рынок «негармоничными произведениями», отталкивающими безжизненностью, безвкусием.

Иван Иванович начинал с одобрением отмечать те работы немецких художников, в которых чувствовалось желание приблизиться к национальному пейзажу.

Отказавшись от поездки в Женеву к Каламу, Шишкин направляется к Рудольфу Коллеру — швейцарскому пейзажисту и анималисту, который поначалу привлек его «ясностью художественного языка». («Прелесть, я до сих пор не видывал и не думал, чтобы так можно писать коров и овец... Вполне художник и на деле... Живопись сильная, сочная, и оконченность доведена до последней степени».)

Но через некоторое время его отношение к Коллеру

резко изменилось. Он почувствовал неумение его «прийти к цельной, законченной картине». Русским же художникам виделась в картине прежде всего содержательность, серьезность замысла. («Его принцип, — писал Шишкин о Коллере, — не удаляться от этюда ни на шаг»).

Занятия в мастерской швейцарца начинали тяготить.

Страх перед заграницей был преодолен.

Летом Иван Иванович работал со Львом Львовичем Каменевым в Бернском Оберланде и написал несколько десятков этюдов. С Каменевым, отправленным за границу на средства Н. М. Аласина, сошлись в то лето коротко. Мыслили одинаково. (Возвратившись в Россию, Каменев, как и Шишкин, обратится к родному пейзажу и привлечет внимание художественной критики и публики глубоко национальными по духу работами «Сенокос», «Зимняя дорога», «Весна»).

Глубокой осенью Шишкин возвратился в мастерскую Коллера. Но отношения не складывались. Слишком разные характеры были у них.

Сказывалось и различие во взглядах на роль и назначение искусства.

Зима, проведенная в Мюнхене — этой фабрике картин, была для него мучением.

В ноябре начал картину для Н. Быкова, но она не шла. Не лежала душа к чужой природе. Не трогала она. Он и летом, много работая в горах Оберланда, так и не смог увлечься характерным пейзажем. Полюбить природу чужого народа — что изменить своей церкви.

В январе, бросив копировать с этюдов Коллера коров и овец, ушел из мастерской. («...мне стала противна моя живопись, я взял уроков несколько в гравировании на меди».)

Писанные без натуры картины раздражали, не хотелось смотреть на них. Не раз приходила мысль, что пансионерство приносит вреда более, нежели пользы. Оторванный от родной природы, испытывал растерянность. К ней примешивалась раздраженность, вызванная необходимостью следовать установкам Академии. Подражать не желал, да это и не сродни», а «оригинальность своя еще слишком юна, и надо силу».

«...ни в старинных картинах, ни у современных художников он не находит того направления, тех сюжетов, которые ему более всего были по душе, — замечает Комарова. — Он не знал, за что приняться... Он привык

к тесному кружку товарищей, в котором высказывались и обсуждались сомнения, поднимавшиеся в каждом из них, обсуждалась каждая вещь, — здесь же у него не было ни одного близкого человека. Но он осознавал, что вернуться из-за границы с пустыми руками нельзя, самолюбие не позволяло этого и заставляло работать и совершенствоваться».

Некоторая предвзятость к немцам мешала верно относиться к суждениям их. Они же, ознакомившись с рисунками Шишкина сепией и пером, искренне восхищались высоким мастерством художника. («...немцы рот разевают и говорят, что вам нечего у нас учиться и проч. и прочь. гадости немецкие».)

Упорно работал над офортом. По рисункам, привезенным из поездки в Оберланд, делает два офорта: «Буковый лес в горах» и «Хижина в горах», на последнем видны дополнения — рукой В. Якоби пририсованы юмористические фигурки насекомых — явное иронизирование художников к «высокому штилю», исповедуемому романтиками.

К картинам не подступался, ибо не видел особой пользы в изучении чуждой ему природы. Лежащие без дела краски и кисти наводили на мрачные мысли. Боялся, топчется на месте и теряет мастерство. («...синица моря не зажгла. Это так. Поверь, искренне тебе говорю. Я гибну, видимо, с каждым днем» — из письма И. Волковскому от 17 февраля 1864 года из Цюриха «проклятого».)

Больше месяца не подходил к полотнам. Чертова заграница, много портила она крови, да еще эта зависимость от Академии, связывающая по рукам и ногам! И одиночество, которое кого угодно с ума сведет. Надо было проверить собственные мысли, услышать русскую речь, суждения товарищей. У него складывалось твердое убеждение, что русское искусство имеет свои задачи, противоположные тем, что решают художники европейские, и потому современное искусство «немцев» не может быть образцом для России. Правда, он все еще надеялся, что знакомство с работами французских художников и поездка в Бельгию и Голландию, знакомство с тамошними музеями переменят мысли, и потому просил разрешения остаться за границей на год.

Волковскому же признается: «Черт знает, хотя я и прошу этого, а на душе-то совсем другое, так бы сейчас и полетел к вам — и гораздо бы лучше было, если бы

лишний год в России, а как подумаешь, разведешь руками».

Мысль требовала проверки.

Он боялся показаться в Петербурге, считая, что мало успел сделать.

Весной 1864 года много ездил. Посетил некоторые города Швейцарии, побывал в Базеле, на открывшейся там выставке. Наведался и в Женеву, посетил мастерскую Калама, но художник находился в Италии. Визит к швейцарцу носил формальный характер. Более заинтересовали его этюды Диде. Женевская же постоянная выставка оказалась ниже всякой критики.

Открывалась выставка в Париже, и он рвался туда. Город вызвал у него противоречивые чувства. («А Париж, брат, черт знает что такое. Вавилон, совершенный Вавилон».)

Иван Иванович вроде бы успокоился и взялся за кисти. Побывал на Фирвальштадском озере, а оттуда отправился в Дюссельдорф, где в четырех часах езды от города, в прекрасной местности работали Л. Л. Каменев и Е. Э. Дюккер.

Он отдыхал среди товарищей. Отошел душой, работалось споро. Пожалуй, в Тевтобургском лесу было написано этюдов много больше, чем за все предыдущее время пребывания за границей. Особо удавались рисунки пером. Некоторые из них были выставлены в Дюссельдорфском музее и вызвали овации. Некий же дюссельдорфский антиквар, со слов профессора П. Н. Вагнера, владеющий двумя рисунками Шишкина, говорил русскому путешественнику: «Вот талантливейший из ваших рисовальщиков, и эти два рисунка я не продам ни за какую цену, потому что им цены нет».

«Радуюсь, что ты утираешь нос немцам, — писал из Петербурга Волковский. — Уж если ты заставил зашевелиться эти апатичные натуры немцев и выставил их на печатные овации, то, видно, недаром».

«В Тевтобургском лесу, где они жили с Дюккером и Каменевым, он всех изумлял своей силой, — читаем у Комаровой, — беря с собой на этюды тяжелый железный мольберт, который едва могли поднять другие. Однажды они с Дюккером выбрали красивую группу дубов; росший перед нею бук заслонял ее, лесничий же позволил ломать только те ветки, которые они могут достать руками. Иван Иванович взял одной рукой свой мольберт

и, размахивая им, оставил несчастному буку одну верхушку в виде букета».

Из Петербурга пришло разрешение провести за границей все полагающиеся годы пенсионерского содержания, но теперь Иван Иванович, осознав свою оплошность, решает вернуться в Россию раньше срока. Больших хлопот ему будет стоить разрешение возвратиться ранее шестилетнего срока на родину для более плодотворного изучения своего русского пейзажа.

В одно время с Шишкиным обратится в Академию с просьбой прервать заграничную командировку В. Г. Перов. Чуть ранее о том просил М. Ю. Клодт. В 1865 году станет ходатайствовать о том же П. А. Суходольский. Становилось ясным, пребывание за границей почти ничего не давало, скорее даже способствовало регрессу. Необходима была родная духовная среда.

Как тут не вспомнить письмо Л. Л. Каменева, выразившего общие мысли русских патриотов-художников: «Ну его к черту, и Оберланд, и всю Швейцарию. Она у меня сидит во где! Чтоб писать ее, надо родиться швейцарцем или им сделаться, а я и во сне вижу наше русское раздолье с золотой рожью, реками, рощами и русской далью».

Это «видение» родных мест угадывается и в картине И. И. Шишкина «Вид в окрестностях Дюссельдорфа», которую он закончил для коллекционера Н. Быкова. Не такие ли дали виделись из окна елабужского дома, не о них ли скучал он?

Открывались выставки в Брюсселе и Антверпене. Безденежье не остановило Шишкина и Каменева, решили отправиться в путь («Надо же посмотреть и голландцев, и тогда довольно, домой»).

О доме он думает все чаще и чаще. Строит планы. Мечтает о мастерской в Дубках. С жадностью читает письма, приходящие из Москвы и Петербурга.

На родине многое изменилось. Появилась артель во главе с Крамским. Впервые узнав о бунте выпускников Академии, Иван Иванович воскликнул: «Ай да молодцы, честь и слава им. С них начинается положительно новая эра в нашем искусстве. Какова закуска этим дряхлым кормчим искусства. Еще сто и сто раз скажешь: молодцы. Браво!!!!! Браво!» За делами артельцев следил со вниманием. В Академии появлялись новые таланты. Товарищи, занятые новыми интересами, начинали забывать его. Гине, тот вообще не присылал писем. Жаль было

Н. С. Пименова, скульптора, умершего в декабре 1864 года.

Отправляя осенью картины «Стадо в лесу», «Спуск с горы», «Две коровы у ручья» на академическую выставку, невольно думал, как бы хорошо вслед за ними отправиться в Петербург.

Торопили с возвращением и друзья.

«Сам же ругаешь немцев, а сидишь с ними, — возмущался Джогин и добавлял: — Кстати: что ты боишься суда петербургских художников? Ни черта они не мыслят. Ты идешь по новой дороге — значит, честь и слава тебе, коли не поймут. Оставайся только самостоятелен».

«Как посмотришь голландцев, то укладывай свой чемодан и бери свои этюды, да поезжай домой. Мы с Джогиным соскучились по тебе.

Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль», —

писал Волковский из села Братцево Московской губернии 28 сентября 1864 года.

Была и еще одна приятная новость, пришедшая из России. По инициативе графа Строганова Павла Сергеевича, почетного члена Академии художеств, учреждались конкурсы с выдачей денежных премий за лучшие произведения жанровой живописи. «Как пейзаж, так и жанр должны быть русские» — таково было требование графа Строганова.

Пробуждался, следовательно, общественный интерес к русскому пейзажу.

В феврале 1865 года Шишкин выставил на постоянной выставке в Дюссельдорфе три своих рисунка. О работах заговорили. Художника узнавали на улицах. Успех был полный. В одном из журналов появилась статья. Все это радовало и смущало Шишкина, но и подсказывало: можно, можно возвращаться в Россию.

Выставленные же Шишкиным рисунки в апреле были восприняты с еще большим энтузиазмом. Иван Иванович получил приглашение показать их в Бонне, Аахене и Кельне.

Работы купили в Милан и «кажется, в Англию», сообщал Шишкин.

Весна, весна. Первая зелень. Солнце. Теплый ветер.

Скоро возвращение в Россию. Наконец-то пришло разрешение из Академии художеств.

Мастерская казалась настоящим казематом. Появились деньги, и можно немного и развлечься, вспомнить о своих молодых годах. Не все же в трудах время проводить. С юмором сообщает он другу: «...я в последнее время сделался совершенно негодный мальчишка, решительно ничего не работаю, а шляюсь и мотаю деньги с хорошенькими девочками. Весна, да и какая здесь весна, просто из рук вон хороша».

А какова она в России! Скорее, скорее домой. Он намеревался недолго пробыть в Петербурге и уехать скорей в Елабугу.

Глава восьмая
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Июль. Жара. В воздухе ни звука. В лугах ворошили сено. Поблескивала вода в реке. Дымили пароходы.

Месяц прошел, как вернулся Иван Иванович в Россию. В Петербурге, в Академии художеств, получил свидетельство для занятий «ландшафтной живописью с натуры по разным губерниям России» и поспешил в Елабугу, остановившись по дороге в Москве, у Борникова, рассказать друзьям о заграничных приключениях. Дома расспросам не было конца, но через несколько дней волнения улеглись, начались будни. Мелкие домашние интересы Шишкину надоели, замечает Комарова, и он отправился в разъезды по дальним окрестностям. Начатый еще в Дюссельдорфе альбом наполнялся рисунками. В нескольких верстах от Елабуги приглянулась глухая деревушка, и он остановился в ней. Места окрест живописные. Хозяева избы приняли его за землемера и расспросами не докучали, что особо радовало Ивана Ивановича. Вернется он вечером в избу, хозяин справится из вежливости: «Много ли намерили?» Иван Иванович в ответ также вежливо: «Много, дядюшка». На том и разговор исчерпан. Чайку попьют да и спать. А чуть свет оба на ногах, за дела принимаются.

«...где-то на Каме, во время моей работы в лесу, подошел ко мне крестьянин и долго молча рассматривал мою работу, потом посмотрел мне в глаза и спросил:

— Ты чего же это тако, поштенный, тут делаешь?

— Отойди, пожалуйста, ты мне мешаешь рисовать, встань подальше и смотри сколько тебе угодно.

— Да ты чего же это, образ, что ли, делаешь?

— Не образ — видишь, что я лес рисую.

— Вот выдумал каку пустяковину, на что она тебе?.. Брось лучше.

— Зачем бросать? Вот порисую, мне деньги за нее дадут.

— Кто даст деньги? За что тут деньги давать?

— Дадут; кому нужно будет, тот деньги даст.

— Эка выдумал! Где же такова человека найдешь? Есть за что тут деньги давать...

Я продолжал работать. Мужик все стоял и смотрел.

— Може, и найдешь какого дурака, а только умный не возьмет, на что она?

— Да ты отстань, иди своей дорогой. Я тебе не мешаю, и ты мне не мешай.

Мужик помолчал, пожался и стоял по-прежнему около художника.

— Ты дерево, что ли, делаешь?

— Да, дерево.

— Которо дерево-то?

— А вот это.

Я указал ему на старую сосну.

— Эка нашел! Выбрал тоже. Эх ты! Как это дерево, на что оно годится, така дрянь, не видишь, что ли, оно ведь гнилое. Вот дерево, хошь на мачту ставь!

Мужик махнул рукой, сказал: «Эх, ты!» — и ушел с полным сознанием того, что чудак человек не знает, что делает».

Приведенный диалог взят «Из рассказов художника» Д. И. Стахеева, вошедших в сборник «Глухие места», который увидел свет в Санкт-Петербурге в 1868 году.

Внимательное прочтение рассказа (главный герой — художник-пейзажист отправляется в Вятскую губернию на этюды и добирается до Елабуги, следуя затем в глухие места), время написания его (рассказ был закончен в 1867 году, не ранее, иначе вошел бы в первую книгу писателя, вышедшую в том же году), сопоставление со временем начала сближения земляков (Шишкин и Стахеев, знакомые с детства, коротко сошлись именно в 1866—1867 годах, когда начинающий литератор приехал в Петербург), сам облик главного героя с его прямотой, резкостью (черты, характерные для Ивана Ивановича), — приводят к мысли, что написан рассказ под влиянием общения с Шишкиным.

Как ни странно, но в обширной мемуарной литературе писателей, деятелей искусства прошлого столетия до обидного мало сохранен живой облик Ивана Ивановича.

Рассказ Д. И. Стахеева — приятное исключение. Потому и позволим себе привести несколько отрывков из него, позволяющих увидеть, почувствовать почти что физически Шишкина, услышать интонацию его голоса.

«Однажды я сидел в лесу вдали от проселочной дороги, которую от места моего сидения едва было заметно. День уже склонялся к вечеру, и я начал было собираться в деревню, на свою квартиру, как заметил сворачивавшего с проселочной дороги мужика, ехавшего верхом. Он направил свой путь через чащу прямо ко мне.

— Какой ты есть на свете сем человек? Сказывай счас, — грозно крикнул он, подъезжая на своей кляче.

— А тебе что за дело? — ответил я, недовольный, конечно, таким вопросом.

— Значит, есть мне дело, коли я тебя спрашиваю. Говори!

— Убирайся от меня подальше, пока ты цел, а то я тебе волосянку задам.

— Нет, погоди, меня, брат, не шибко испугаешь, я, брат, тебя не боюсь.

— Да я тоже не из трусливых.

— Ладно, ладно. Ты, може, поджигатель какой в лесу-то теперь засел, в по ночи-то, пожалуй, к нам в деревню наметишь да красного петуха пустишь...

Я засмеялся, не столько над предположением крестьянина, сколько над его мизерной фигуркой, которая егозила по костлявой спине исхудалой лошаденки, а лошаденка давно уже наклонила свою сухую морду и искала травы.

— Смейся, брат, смейся, после не то запоешь. Уж я, брат, тебя из виду не упущу...

— И прекрасно. Этому я рад. Мне же веселее будет назад возвращаться, — сказал я и, сложив свои краски, вышел на проселочную дорогу.

— Ты куда же зашел? Ты, брат, иди сюда, направо, в нашу деревню.

— Дурак же ты, дядя, порядочный, — сказал я ему.

— А ты не лайся больно-то, вот что. Иди, говорю те делом.

Я пошел себе своей дорогой налево, в ту деревню, где занимал у крестьянина квартиру. Мужик ехал за мной следом и все перебранивался, рассказывая мне о поджигателях. (В ту пору часты были пожары. — *Л. А.*)

— Може, и ты из ихних, кто те знать, у тебя вон ишь какой ящик при себе, може, ты им и орудуешь на поджогах-то... У те и кафтан-то самый поджигательский, короткополый, чтоб поджечь да убежать, — кто те знает...

Он проводил меня до избы моего квартирного хозяина и долго ворчал на дворе, переговариваясь с ним...

— Да нет, ты не то. Он парень смирный, — уговаривал мой хозяин...

Мужики долго разговаривали под окном избы, я долго прислушивался к их разговору и, засыпая, еще услышал, как мой хозяин, провожая мужика, сопровождавшего меня, говорил, что я парень смирный, рубаха...

С крестьянскими женами и девками встречи были веселы. Как-то в августе, во время жатвы хлеба, я работал в поле. Это было в Вятской губернии. Крестьянки, возвращаясь с жнитва, увидели меня и издали все остановились. Долго они стояли вдали, потом подошли поближе и остановились саженях в пяти. Говорили они между собой тихо, некоторые даже шепотом, некоторые вздыхали и качали головами, выражая на лицах величайшее сомнение. Большая часть баб, как это всегда водится, стояли, приложив правую руку к щеке. Я продолжал работать, изредка только взглядывал на стоящих вдали баб. Некоторые из них решились подойти поближе.

— Как же, родимый, тут в лесу-то? — спросила наконец со вздохом одна старушка.

— Что в лесу? — переспросил я.

— Да чем кормишься-то?

— Тем же, чем и вы — хлебом.

— А где-ка ты его берешь, родимый ты мой? А? Где-ка?

— В деревне. Где ж мне больше брать?

— Тебе не боязно рази?

— Чего боязно?

— А в деревню-то ходить рази не боишься?

— Чего мне бояться? Кто меня съест?

— Да ведь ты, чай, беглой? Може, ты из войска убег, а?

Я засмеялся. Бабы переглянулись между собой и покачали головами.

— Ишь, девоньки, какой он... Бесшабашный, видно, смеется как, на-ко...

— Не хочешь ли хлебца?

— Нет, не хочу, свой есть.

— На, не бойся, возьми. На, возьми краюшку, у меня от жнива осталось.

— Убирайтесь, бабы, не мешайте.

— О, хо-хо! Господи! Какой он такой...
— Как же ты туточки ночуешь?
— Где? — спросил я.
— А в лесу-то. Тут ночью, чай, медведь, волк, зверье всякое...

Они принимали меня за беглого и воображали, что я в деревню и глаз не смею показать...

Случалось мне иногда во время пути разговаривать с крестьянами и выказать им настоящее свое звание, занятие и общественное положение. Другой, более сметливый, задумается и спросит:

— Так пошто вы пошли на крестьянску-то жизнь, по телегам да по избам-то мучиться?
— Захотелось посмотреть, порисовать...
— Напрасно все это, так только, баловство!
— Может быть, и баловство, да вот нравится мне, я его и делаю.
— И хочется вам это, барин, теперь на себя обузу брать? Диви бы от нужды какой большой, голодовал, что ли, али бо что, а то сами баяли, что по охоте... Жили бы на городу, пили, ели слезно, а то на поди?! Чудной барин!»

Из Петербурга пришли приятные известия. Н. Быков, получив заказанную картину от Шишкина, был ею доволен и спешил заказать новую («...прекрасная картина, и тон ее верен, повторяю, подобной ей из видов нашей матушки-Руси нисколько не было бы излишним, и если в Елабуге от нечего делать найдете Вы хорошую местность, то напишите»). Он же отправил 3 сентября 1865 года в Совет Академии художеств картину «Вид в окрестностях Дюссельдорфа», сопроводив ее следующей запиской на имя Д. И. Ребезова (об этом Иван Иванович пока не знал): «Милостивый государь Дмитрий Иванович!

Пенсионер Императорской Академии художеств классный художник Иван Шишкин по моему заказу написал картину: вид из окрестностей Дюссельдорфа и прислал ее ко мне, которую при сем имею честь передать на благоусмотрение Академического совета. Картина эта заслужила одобрение дюссельдорфских художников, и мне известно, что рисунки пером работы Шишкина удостоены помещения в дюссельдорфском Музеуме наряду с первыми мастерами Европы, а настоящая картина служит доказательством его способностей и таланта».

12 сентября Иван Иванович Шишкин, «оправдавший ожидания Совета отличными своими работами, произведенными как в России, так и за границей», получил звание академика. Первым его поздравил Н. Быков. Следом пришло письмо от Нерадовского («Сообщаю тебе два мнения известных лиц и очень придирчивых — Шамшина, профессора, что твоя картина занимает первое место на выставке, и Микешина, что давно таких пейзажей не было»).

В Петербург Шишкин возвратился осенью академиком.

В 1899 году С. П. Дягилев опубликует статью «К выставке В. М. Васнецова», в которой читаем следующие строки:

«Первая и наибольшая заслуга Сурикова, Репина и, главное, Васнецова в том, что они не убоялись быть сами собой. Их отношение к Западу было вызывающее, и они первые заметили вред огульного восторга перед ним. Как смелые русские натуры, они вызвали Запад на бой и, благодаря силе своего духа, сломали прежнее оцепенение. Но они дерзнули и смогли это сделать только с помощью одного и неизбежного условия — близкого и осязательного знакомства с тем же враждебным Западом. Когда Васнецов гулял по Ватикану или в Париже всматривался с интересом в творения Берн-Джонса, он не хотел покоряться, и, наоборот, именно тут, в момент преклонения перед чарами чужеземного творчества, он понял всю силу и ощутил с любовью прелесть своей девственной национальности».

Слова эти можно с полным основанием отнести и к Шишкину.

По возвращении в Россию мысли Ивана Ивановича были сродни тем, которые высказал художник П. Чистяков в письме к К. Солдатенкову в 1870 году, едва оказавшись на родине: «Россия мне понравилась, а Петербург даже хорош. А что великие немцы — хозяева всесветные, каковы? И перед этой-то дрянью русские так слепо и безотчетно преклоняются, разумею художников. Я горжусь, что никогда не ставил их выше, чем следует, и отдавал должное».

Теперь, как никогда раньше, осознавал Иван Иванович, что звучащие в картинах художников Академии величественные и мощные ноты церковного гимна не принадлежали гимну православному, и что такою, как заметил один из критиков прошлого, «была вся вообще акаде-

мическая религиозная живопись: либо католическою, либо протестантскою».

Чувствовали это и ученики Академии художеств, потребовавшие в 1863 году предоставить им, четырнадцати кончавшим академический курс, полную свободу выбора сюжетов.

Требование рождено было осознанным желанием работать над национальной темой.

Улавливала это и сама Академия, нарушившая на сей раз традицию и объявившая в 1863 году об уничтожении существовавшего деления кончающих курс питомцев на историков и жанристов. Было сказано и о том, что в качестве конкурсного задания в этот раз будет дан не определенный сюжет, как раньше, а «такая тема, которая может быть разработана как жанр бытовой, как сюжет исторический или даже религиозный».

И не испуг руководил членами Совета Академии, принявшими решение отказаться от мысли дать на конкурс общую тему и предложить определенный сюжет «Пир в Валгалле», а трезвая оценка обстановки, учитывающая и некоторую незрелость суждений и представлений питомцев и усиливающееся влияние на них личностей сродни В. В. Стасову, увлекавшемуся подчас идеями, чуждыми православию.

Молодые художники стояли на своем, не отступалась и Академия, проявив некоторую запальчивость. Произошел разрыв. В Петербурге образовалась Артель художников во главе с И. Н. Крамским.

Вернувшись в Петербург и приняв решение избрать столицу постоянным местом жительства, Иван Иванович, которого всегда интересовала жизнь и ее проявления, познакомился с членами Артели и начал посещать их «четверги». На него произвел впечатление Иван Крамской. Как свидетельствует Комарова, «Шишкин сразу подчинился его обаянию, и, кажется, ни один человек не имел на Ивана Ивановича такого сильного, долгого и благодетельного влияния, как Крамской».

Покоряла цельность этого человека, который много думал о «привлечении симпатий общества к судьбам русского искусства». Крамской не скрывал, что любил искусство больше всего на свете, «больше партий, больше братьев и сестер».

Он горячо верил, что наступила пора художникам войти в народную жизнь, брать из нее сюжеты.

— Искусство должно быть национальным, — говорил

он. — У нас древняя и богатая история. Есть темы, достойные воплощения в картинах.

Этот человек, по замечанию М. В. Нестерова, сделал все, что ему положено было. «Сделал в размер своего дарования, всегда сдерживаемого сильным контролем необычайного ума. Он был столько же художник, как и общественный деятель... Благородный, мудрый, с редким критическим даром, он был незаменим в товарищеской среде».

Крамской, по выражению Мутера, оказал русской живописи «больше услуг головой, чем рукой».

Говоря о Крамском, нельзя не сказать и несколько слов о В. Стасове — фигуре яркой, увлекающейся. Увлеченность его не позволяла ему в полной мере понять суть тех или иных явлений, ошибочно трактовать их и намечать порой не те вешки в качестве ориентиров. Определяя «свои задачи», «свое содержание», «свои сюжеты» в «нашем искусстве», он в качестве образцов называл картины В. Якоби «Привал арестантов», М. Клодта «Последняя весна». «Это только пробы молодых, начинающих талантов, — писал Стасов. — Но чувствуешь какое-то счастье перед этими пробами. Где уже существуют эти пробы — и с такою истиной и силой, там искусство идет в гору, там ожидает его впереди широкое будущее». Был и другой взгляд у людей мыслящих на эти работы. Отношение Ф. М. Достоевского к картине В. Якоби читателю уже известно. Приведем же здесь и высказывание Ф. М. Достоевского о картине М. Клодта. «Больная, умирающая девица, сидит в большем кресле против открытого окна. У нее чахотка, дольше весны она не проживет, и домашние это знают. Сестра ее стоит у окна и плачет; другая сестра стоит возле больной на коленях. За ширмами отец умирающей и мать сидят и толкуют между собой. Невеселый должен быть их разговор; нехорошо положение умирающей, скверно положение сестер ее, и все это освещено прекрасным, ярким весенним солнцем. Вся картина написана прекрасно, безукоризненно, но в итоге картина далеко не прекрасная. Кто захочет повесить такую патологическую картину в своем кабинете или в своей гостиной? Разумеется, никто, ровно никто... г. Клодт 2-й представляет нам агонию умирающей и с нею почти что агонию всего семейства, и не день, не месяц будет продолжаться эта агония, а вечно, пока будет висеть на стене эта прекрасно выполненная, но злосчастная картина. Никакой зритель не выдер-

жит — убежит. Нет, художественная правда совсем не та, совсем другая, чем правда естественная». Чувство художественной правды подчас изменяло В. Стасову, может, поэтому через несколько лет он станет именовать «поганой и дурацкой» речь Достоевского, сказанную на открытии памятника А. С. Пушкину. «Какой вздорный человек, всех ругает», — заметит о В. Стасове А. К. Толстой.

Ратуя за отход от живописи на библейские темы, подчеркивая при этом «несравненное ни с чем значение еврейского народа», «выше которого ни одного другого не существовало», ратуя за «широкое будущее» русского искусства, В. Стасов страстно примется отрицать и картину М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею», в которой не увидел потребность художника выразить через образ непостижимую, казалось бы, глубину духовности русского человека. Заметим здесь же, что такие разные люди, как В. В. Розанов и М. О. Меньшиков, смогли понять художника и выразили в статьях восторженное отношение к творчеству художника. Именно В. Стасов и В. Григорович вместе с некоторыми художниками, устроят суд над картиной («...судили картину «страшным судом» и сообща решили обратиться к Третьякову с увещанием, чтобы он от своей покупки отказался», — вспоминал М. В. Нестеров). П. М. Третьяков, молчаливый в жизни человек, выслушав их, спросил «судей», кончили ли они, и услышав, что обвинения их исчерпаны, сказал: «Благодарю вас за сказанное; картину Нестерова я купил в Москве, и если бы не купил ее там, то взял бы ее здесь, выслушав вас».

Нападая на Академию художеств за то, что в картинах на русскую тему «не чуялось... ничего русского», и выслушав отповедь президента Академии Бруни, ворчавшего на то, что за критику берутся «неспециалисты», и объяснившего, что в настоящее время нет возможности писать картины на сюжеты из русской истории, ввиду того, что и история сама еще не разработана (человеку, знакомому с исторической наукой и спорами, в кругах исследователей ее существовавшими, трудно было не согласиться с Бруни, доля истины была в его словах), В. Стасов разразился возражением: «Бедные мы! Не видать нам русских картин! Музей Бог знает когда поспеет, а с русской историей и того еще длиннее будет. Точно будто для наших картин непременно нужно со всею точностью узнать, был ли Рюрик литовец, или норманн, а

если этого не добьемся, то можно покуда побоку и всю остальную русскую историю. Точно будто все задачи как раз засели в необъясненных местах!»

Делая вид, что не уразумеет или действительно не понимая важности разразившихся со времен М. В. Ломоносова споров о Рюрике и варягах, когда создатели норманнской теории З. Байер, Г. Миллер, А. Шлецер и их сторонники, весьма обрадованные, по замечанию Б. Рыбакова, легендой о призвании варягов северными племенами, принялись утверждать, что славяне не способны к самоуправлению и государственность этим «диким славянам принесли норманны-варяги», В. Стасов — хотел он этого или нет — своими речами способствовал пропаганде идей сторонников норманнской теории. Косвенно они преследовали и другую цель — внедрить в сознание читателя мысль о «неполноценности» славян.

Шум же, создаваемый вокруг имени В. Стасова, не мог не привлечь внимания учеников Академии художеств, которые жили, по замечанию И. Е. Репина, «под неизгладимым впечатлением своих местных образов, чисто русских».

Надо ли говорить, как важно было направить их в нужное русло, наметить верные художественные ориентиры.

В. В. Стасов пришел к ним и взял под свое крыло.

Много позже, в 1891 году, в газете «Новое время», издаваемой А. С. Сувориным, появится статья А. А. Дьякова «И. И. Шишкин», в которой автор выскажет немало резких слов в адрес В. Стасова, усматривая вредное влияние его выступлений на передвижников. Не так страшно влияние Калама, как влияние В. Стасова — такая мысль прочитывается в статье.

Нельзя с полной уверенностью утверждать, что другой критик — Сементковский набрасывался именно на В. Стасова, разбирая картины И. Е. Репина, но нельзя отрицать того, что, работая над статьей, он не мог не знать о дружеских отношениях между И. Репиным и В. Стасовым и о влиянии последнего на художника.

Сементковский писал: «Репин ни на чем не специализировался: его сюжеты так же разнообразны, как разнообразна окружающая нас жизнь со всеми ее событиями, тенденциями, веяниями. Мало того... он непосредственно приурочивает свое творчество не только к этим событиям, тенденциям и веяниям, но и к личным обстоятельствам своей жизни. Можно было бы сказать, что Ре-

пин всем интересуется, что́ ни подвернется ему под руку или что́ ни обратит на себя его внимание. Отсюда можно сделать дальнейший вывод, что Репин в своем творчестве живет не самостоятельной жизнью, а жизнью окружающего его общества, что он рисует то, что́ интересует последнее. Спрашивается, однако, мыслимо ли истинное художественное творчество при отсутствии самостоятельности, при полном подчинении художника изменчивому настроению общества?.. Репин, как мы видели, именно подчиняется временным веяниям и интересам, он даже находится в постоянной погоне за ними, старается их себе уяснить, их понять, чтобы дать соответствующую им картину...

Руководящей идеи в произведениях Репина найти нельзя. Он переходит беспорядочно от одного сюжета к другому или, точнее говоря, постоянно выбирает только такие сюжеты, о которых он предполагает, что они могут заинтересовать публику. И подводя итог всем нашим выводам, мы не можем не отметить, что если у Репина руководящей идеи нет, то у него есть известное единство настроения, и это единство выражается в том факте, что он всячески старается угодить толпе... Он сам не уяснил себе своих взглядов на искусство, потому что его мысли, его чувства заняты другим: он не служил идее, он не художник, он мастер».

Не станем забывать и высказывания М. В. Нестерова о И. Е. Репине: «Художник огромного диапазона, Илья Ефимович живо откликался на все вибрации жизни, он отражал в своем творчестве как красоту, так и уродливости окружавшей его жизни. Он был, быть может, самым убедительным повествователем современности, иногда возвышавшейся над Толстым». Однако из резковатой статьи Сементковского особо выделим мысль, волнующую критика, — должен ли художник подчиняться временным веяниям и интересам публики, испытывающей, в свою очередь, сильное влияние атеизма. И что в таком случае значит художник для общества, не ищущий Бога в себе?

На поводу у общества или поводырь его — так ставился, по существу, вопрос о роли художника.

Влияние атеизма в обществе, точнее в верхах его, сказывалось и на взглядах И. Н. Крамского.

Похоже, борьба верующего человека с атеистом происходила в душе Крамского. Она же выразилась и в родившейся мысли написать картину «Христос в пустыне».

Он искал Бога, Христа, а нашел его в облике крестьянина по фамилии Строганов из слободы Выползово.

«...Христос ли это? Не знаю, — писал И. Н. Крамской В. М. Гаршину. — Да и кто скажет, какой он был?! Это не Христос. То есть я не знаю, кто это. Это есть выражение моих личных мыслей. Какой момент? Переходный».

«Под влиянием ряда впечатлений у меня осело очень тяжелое ощущение от жизни. Я вижу ясно, что есть один момент в жизни каждого человека, мало-мальски созданного по образу и подобию Божию, когда на него находит раздумье, пойти ли направо или налево? Все мы знаем, чем обыкновенно кончается подобное колебание».

Без религии нет художества, нет художника, как бы говорит И. Крамской, повторяя мысль, к которой пришел.

Печальная необходимость усиленно работать над портретами не дала возможности Крамскому обратиться к созданию картин. «Осталось незаконченным громадное полотно под названием «Радуйся, Царю Иудейский» (Русский музей) — снова аллегория, и на этот раз на тему о грубом невежестве толпы, издевающейся над пророками, воплощение того хохота над христианством, который слышал художник всюду», — писал В. Никольский.

Художник благородного сердца, негодовавший ко злу, — таков был Крамской в творчестве и жизни. Он не успел полно выразить глубокие искания свои, виной тому житейские обстоятельства.

Облик Христа привлекал многих, но он как бы утерян был для художников на какое-то время, и к нему надо было возвратиться.

Сделаем маленькое отступление, дабы пояснить мысль, и воспользуемся статьей Николая Овсянникова «Православие в истории русского народа», опубликованной в июне 1896 года в журнале «Русский вестник».

«Живопись под влиянием православия сначала является у нас иконописью, — писал автор. — В этом виде она подчиняется вполне строгому взгляду церкви: выражение ликов на иконах монашеское, аскетическое; иконы имеют иногда символический характер; фантазия художника ограничена «подлинниками». Самыми живописцами делаются прежде других монахи, для них искусство — святое дело, к которому следует готовиться постом и молитвою; оно заключается в копировании «подлинников». В XVI — XVII вв. иконопись переходит в руки светских людей, появляются иконописцы Строгановской и

Новгородской школ и царские иконописцы, но главный характер живописи остается прежний. И только со времен Никона начинается что-то похожее на живопись, хотя «подлинник» еще сохраняет свою силу. Старое «иконное» письмо преобладает в церквах, и самые знаменитые мастера, как, например, Симон Ушаков, работали одновременно на два манера, — и по-старому, и по-новому, — смотря по вкусу своих заказчиков. В XVIII в. русские художники ближе познакомились с западным искусством, и сначала в их творчестве религиозное вдохновение не играет особой роли.

Казалось, — продолжает Николай Овсянников, — влияние церкви на живопись было у нас неблагоприятное, когда период творчества для живописи закончился, оставалось одно — подражать западным образцам. Казалось, выработанное веками художественное предание подавило у нас все единичные попытки к свободе творчества и к натурализму. Казалось, нашему художнику оставалась одна техника, так как национальной самостоятельности не видно было никакой. На деле вышло, однако, другое. Внутри нашей школы возникло свободное направление, не гнушавшееся естественности в искусстве и готовое воспользоваться уроками западной живописи. И влияние церкви в этом направлении не было задерживающее. Между тем с развитием образования сами наши художники взялись за русские предания с большим умением и с большим успехом. Художники оценили эти предания по достоинству и под влиянием их представили, наконец, оригинальные и недосягаемые образцы своего искусства, даже для самого Запада. Таковы, например, будут иконы и религиозные картины, написанные... Васнецовым... (лучшее... что когда-нибудь творил православный художник)».

Свободное направление, упоминаемое автором, вызревало именно в пору исканий Крамского, других художников. Намечалась тенденция к возвращению национального в искусстве.

«Мы люди русские, разве мы не унаследовали от своих предков их религиозных принципов и представлений?! — писал современник. — Эти принципы безотчетно и бессознательно живут в нашей душе. Это мы видим даже из того, что все новейшия изображения Христа в картинах наших художников-реалистов если и прельщают нас, то только как картины, — никто из нас не почувствует в себе стремления благоговейно пасть ниц пред

Мастерская И. И. Шишкина и А. В. Гине на Валааме.

И. И. Шишкин. Портрет работы И. Н. Крамского. 1873.

Е. А. Шишкина (урожд. Васильева). Фотография.

И. И. Шишкин. Фотография 1864—1865 гг.

О. А. Шишкина-Лагода. Фотография.

Н. И. Шишкина, дочь художника. Фотография 1870-х гг.

Рисунки И. И. Шишкина разных лет.

В. В. Стасов. Портрет работы И. Е. Репина.

Развеска картин на ежегодной выставке передвижников. Рисунок.

ВЪ ЗАЛАХЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ХУДОЖЕСТВЪ

ОТКРЫТА

2-я

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА

ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ.

ЦѢНА ЗА ВХОДЪ 20 КОП.

ВЫСТАВКА ОТКРЫТА ЕЖЕДНЕВНО СЪ 10 ДО 5 ЧАСОВЪ.

И. Н. Крамской.
Фотография.

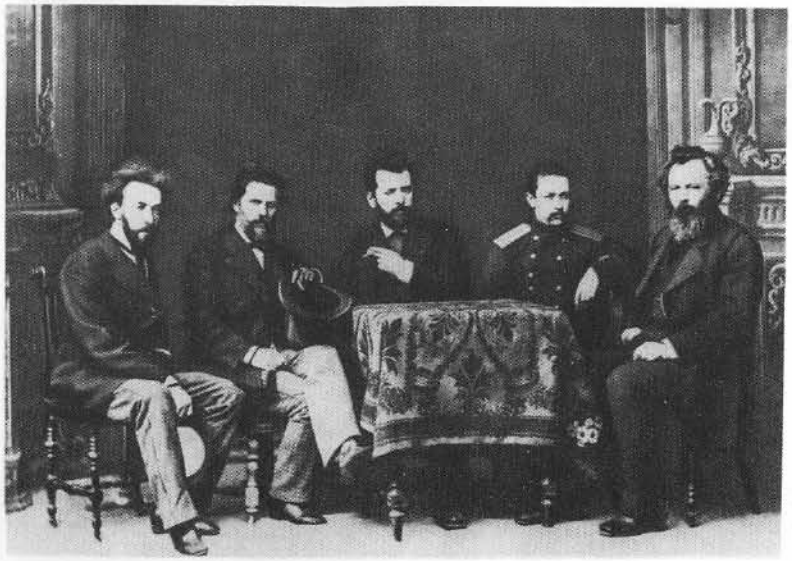
К. А. Савицкий.
Фотография.

Н. Я. Ярошенко.
Фотография.

М. П. Клодт.
Фотография.

Ф. А. Васильев.
Фотография.

Участники Товарищества передвижных выставок. Фотография. 1886.



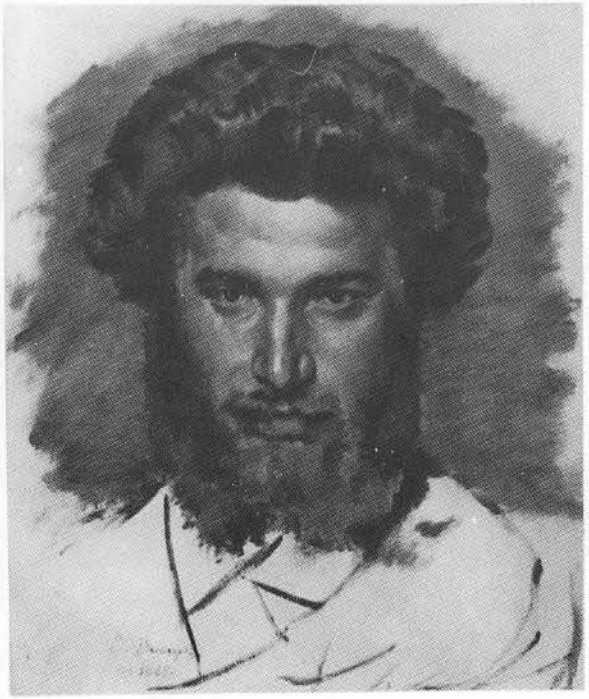
И. И. Шишкин в группе основателей Товарищества передвижных выставок. Фотография.

Петербург. Часовня на месте гибели Александра II на Екатерининском канале. Гравюра XIX в.

«Передвижники». 1888. Фотография.

И. И. Шишкин среди участников выставки Товарищества. 1896.

«Болото». Пейзаж работы И. И. Шишкина. Масло.



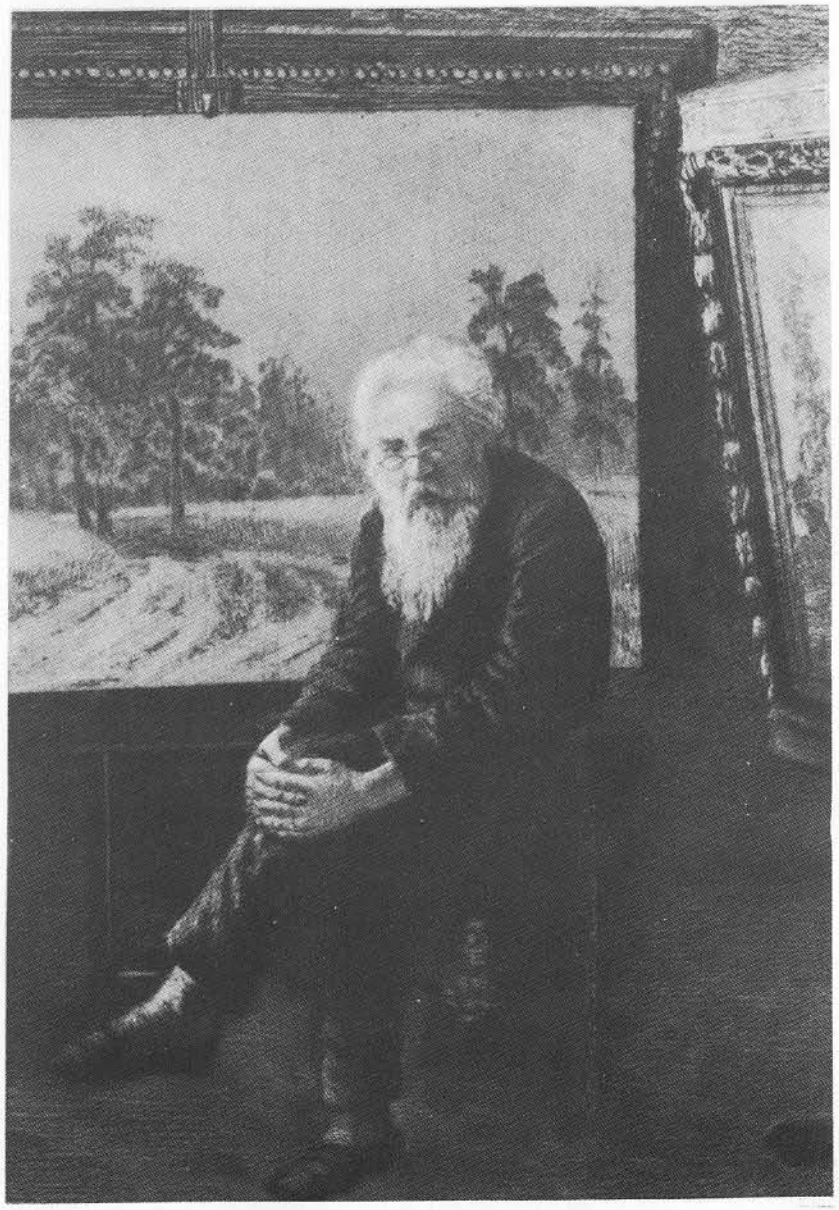
А. И. Куинджи.
Фотография.

№ 595
9 Ф 1895
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
ПРАВЛЕНИЯ
ИМПЕРАТОРСКОЙ
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Ваше Императорское Высочество имеем честь доложить предположениям Общества передвижных выставок, чтобы они не состоялись в будущем, на залах Академии.

Имея в виду то, что после самой не редко залы Академии бывают посещаемы для выставки разных инспекторов Академии и других лиц, можно ждать возвратно залы, Правление имеет честь испрашивать разрешения Вашего Императорского Высочества сообщить Обществу передвижных, как и прежде, чтобы они не состоялись в будущем на залах Академии.

Н. И. Шишкина-Ридингер с мужем. Фотография.



И. И. Шишкин в последние месяцы жизни. Офорт.

какою-нибудь древнею иконою, хотя часто в ней поражает нас грубость письма. Это внутреннее чувство, являющееся в нас продуктом наследственности, одно могло бы дать силы и средства художнику для творчества иконописных изображений, если б в нашей национальной жизни не было двухвекового перерыва, если б за это время в душе нашей не накопилось нароста сторонних влияний и взглядов, подчас мало отвечающих нашим внутренним потребностям, а приставших к нам чисто механически. Вот для этого-то нам и нужно изучение нашей старины, чтобы при ея помощи, так сказать, отбросить весь этот чуждый нам нарост и, оставивши себе только необходимые для современного человека результаты европейского образования, возродиться к русской жизни... Человек, унаследовавший чисто русскую душу... должен только воскресить в себе древние образы, и они родят в нем самом новые образы, вполне проникнутые национальным духом».

И не беда ли некоторых художников, подпавших под влияние В. Стасова, что они, «отыскивая взапуски сюжеты один другого грязнее», в увлечении «бытом» в молодые лета, отходя тем самым от истории, приходили к истине с большим опозданием, а некоторые так и не успевали добраться до нее?

Знакомство с Крамским не прошло бесследно. Иван Иванович доверял его вкусу и «всегда вспоминал о нем, когда затруднялся чем-нибудь в картинах или хотел знать беспристрастную оценку своих вещей».

Любопытна следующая фраза Комаровой: «...вне художественной деятельности, в общественных делах. Иван Иванович шел за Крамским с закрытыми глазами, и почти до конца все взгляды Крамского оставались его взглядами».

В художественной деятельности Иван Иванович был независим.

Он не был публицистом, оратором, как Крамской, умел высказывать и отстаивать свои мысли лишь в кругу самых близких и дорогих людей и отнюдь не склонен был изменять им.

Преданность Крамского искусству вызывала у Шишкина глубокое уважение. Да и сам облик Ивана Николаевича импонировал ему. Было в нем нечто, выделявшее из среды художников. Ни выражением лица, ни повадками, ни костюмом не походил он на окружающих его товарищей. В самой фигуре, лице было что-то властное,

значительное. Живость же, общительность Крамского как бы дополняли тихость и степенность Шишкина.

Нравилось Ивану Ивановичу в Артели художников и то, что забота их друг о друге была самою выдающеюся заботою. Здесь он был среди своих.

«Громче всех раздавался голос богатыря И. И. Шишкина; зеленый, как могучий лес, он заражал всех своим здоровым весельем, хорошим аппетитом и правдивой русской речью. Немало рисовал он пером на этих вечерах своих превосходных рисунков. Публика, бывало, ахала за его спиной, когда он своими могучими лапами ломового и корявыми от работы пальцами начнет корежить и затирать свой блестящий рисунок, а рисунок, точно чудом или волшебством каким от такого грубаго обращения автора выходит все изящней да блестящей...»

Иногда мирное течение жизни нарушал Крамской, увлекая сидевших подле него гостей в спор. Тогда все навостряли уши. Небезынтересно было послушать его и Шишкину.

— Искусство является выразителем стремления человеческого духа к совершенствованию и прогрессу, и деятельность артели направлена на то, чтобы приблизить его к народу, — говорил Иван Николаевич.

Расхаживая по залу и остановившись вдруг подле одного из гостей, втянувших его в спор, Крамской, отпахнув полу фрака и уперевшись рукой в бок, продолжал:

— Если мы хотим служить обществу, мы должны знать и понимать его во всех его проявлениях, а для этого самим необходимо стремиться к совершенству. Знаний, знаний не хватает нам. Ведь художник — это критик общественных явлений. Какую бы картину он ни выставлял, в ней видны его симпатии, антипатии и, главное, та неуловимая идея, которая будет освещать его картину. Каждый мыслящий почувствует его миросозерцание.

Оставаясь наедине с собой, Иван Николаевич как бы преображался. Пафоса не было, были горькие раздумья о жизни, самом себе. Он понимал: в чем-то порывалась его связь с прошлым, главным, может быть, в жизни.

«...когда сравнишь, какое огромное пространство отделяет наших матерей от нас самих, то страшно становится за нас, — писал он жене и продолжал: — Не согласился бы быть в таком положении к моим детям, в каком моя мать находится ко мне. Мы не поймем друг друга — я чужой для нее, чувствую, что чужой».

Чужим он стал и для девушки, любящей его, так и не осмелившейся подойти к нему во время его приезда на родину.

Оторваться от родной земли — что может быть страшнее для художника.

Может, потому в иную минуту, разговорившись с Иваном Ивановичем, принимался рассказывать о детстве, вспоминать прошлые годы. И этот новый человек был не менее дорог Шишкину, нежели страстный полемист, оспаривающий чьи-либо мысли.

— У нас в Острогожске речка — Тихая Сосна. Подле нее дом наш, — говорил Крамской. — Отца не помню. Матушка говорит, суровый был. А детство, детство, знаете ли, перед глазами стоит... Помню, однажды в половодье вышли с матушкой на берег, а ветрено, волны огромные, вода темная-темная. Ужас какие волны, чуть нас не захлестывали. Иной раз глаза закроешь и видишь реку, волны, луга и холмы, синие, таинственные...

— И я на Каме не однажды вот так далями засматривался. Придешь на Красную горку и смотришь, смотришь. И на душе чисто и покойно. Всякий раз приезжаю, и словно очищается душа от скверны какой-то. Другим человеком возвращаешься.

— Вот-вот, — соглашался Иван Николаевич. — Родина, одно слово. Маленьким, знаете ли, приду в кладбищенскую церковь и от икон оторваться не могу.

Трудно теперь судить о том, признавался ли Крамской Шишкину в том, что пишет стихи. Но одно достоверно: в те годы существовала тетрадка (ныне хранится в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина) с надписью на обложке, сделанной художником: «Собрание стихов Ивана Крамского».

Приведем одно, написанное в марте 1861 года. «На полдороге».

Стоишь на вершине;
как странник угрюмый,
Как ветром и бурей погнутое древо,
А в душу и сердце стучится, стучится
серьезная дума:
Полжизни направо, полжизни налево.

Великий, кто в силах пройти
без смущенья
Миг трудный пожизненных лет,
Чья жизнь была полна значенья,
Кто даст непостыдный ответ.

Не страшно мне в видимом мире,
Ужасно пройти без следа!

Такие мысли о «полдне» жизни вынашивал Крамской. О своем «полдне» думал и Шишкин, возвратившись в Россию.

Глава девятая
ПОЛДЕНЬ

Весна 1866 года началась тревожно. В апреле, четвертого числа, Петербург облетел слух о покушении неизвестным на жизнь государя. Говорили, случилось это около трех часов пополудни, во время прогулки Александра Николаевича в Летнем саду.

Ужас охватывал от случившегося. Не было в истории такого, чтобы на жизнь царя покушался простолюдин. В смутную пору, правда, кинули на пики Лжедмитрия первого. Так то вероотступник был, в Россию иезуитами навостренный.

На другой день узнали подробности. Спас государя мастеровой Комиссаров, ударил под локоть злодея в то самое время, когда тот прицеливался выстрелить.

Государь, передавали, сказал собравшимся: «Верно, я еще нужен России». Наследнику же, который с рыданием бросился ему на шею, молвил: «Ну, брат, твоя очередь еще не пришла».

На Дворцовой площади гудел возмущенный народ. Осуждали преступника. Говорили о безбожии и разврате, охвативших общество. Ругали печать. Люди сведущие передавали, что преступник путается в показаниях.

Цензор А. В. Никитенко, земляк и близкий знакомый И. Крамского, записывал в своем дневнике в эти дни:

«9. Суббота... Беспрестанные вопросы: кто он? (преступник. — *Л. А.*) — поляк или русский? Общее желание, чтобы это не был русский... Никогда еще, кажется, в России умы не были так возбуждены.

Я все продолжаю думать, что это орудие нашего нигилизма в связи с заграничным революционным движением. Тут очевидна цель произвести в России сумятицу, дескать, пусть будет, что будет...

10. Воскресенье... Злодеяние, которое чуть было не облекло в траур всю Россию, заставляет призадуматься философа-наблюдателя нашего современного умственнаго и нравственнаго состояния. Тут видно, как глубоко проник умственный разврат в среду нашего общества. Чудовищное покушение на жизнь государя несомненно зародилось и созрело в гнезде нигилизма — в среде людей, которые, заразившись разрушительным учением исключительного материализма, попрали в себе все нравственные начала и, смотря на человечество, как на стадо животных, выбросили из души своей все верования, все возвышенныя воззрения.

Какая ужасающая, чудовищная дерзость делать себя опекунами человечества и распоряжаться судьбами его без всякого иного призвания, кроме самолюбия самого...

11. Понедельник... Чем больше я вдумываюсь в это происшествие, тем мрачнее оно становится в моих глазах. Не есть ли оно роковое начало тех смятений, какия должна вытерпеть Россия, пока она не упрочит и не определит своего нравственнаго и политическаго существования?»

Все это Никитенко мог выразить вслух Крамскому. Могли его слова дойти и до Шишкина. Важнее другое — такие мысли висели в воздухе.

* * *

Первой работой, написанной по возвращении в Россию (а если быть более точным, одной из первых) стала картина «Швейцарский пейзаж». Ее пожелал приобрести казанский археолог, коллекционер и краевед Андрей Федорович Лихачев. Чем-то она напоминает «Вид в окрестностях Дюссельдорфа». Тем, видимо, что в ней Иван Иванович отдал (все еще впротиву самому себе) дань установкам, требованиям, предъявляемым Академией, с которой все еще был связан. Но изображение в картине людей, одетых в национальные костюмы, уже говорит о желании усилить национальный колорит в ней. Недаром один из критиков сумел увидеть в этой работе «самобытную русскую складку». Но летом, работая под Москвой, в Братцеве, вместе с Л. Л. Каменевым, Шишкин как бы стряхивает с себя последние следы «немецкого» влияния.

Работает поистине одержимо. Словно какую-то главную, важную мысль хочет воплотить в работе.

В то лето им был написан этюд «Полдень. Окрестности Москвы. Братцево», с которого, можно сказать, начинался новый художник.

...В солнечный день неожиданно загрохотал гром. Запахло свежестью. Ветер подхватил перья, сухую траву и понес их по дороге. Тучи тенью поползли по земле, и первые крупные капли ударили по лицу. Небо стало темно. Хлынул ливень...

Но вот дождь кончился. Тучи ушли. Небо посветлело. От земли валил пар. Капали с ветвей тяжелые капли. С поля, с работ возвращались, переговариваясь, крестьяне.

Шишкин написал этюд в один присест, на одном дыхании. И был доволен. Живые облака, легкий ветер, мокрая земля. Глядя на крестьян, вспоминал недавний разговор с ними.

(«Пейзаж — не то, что вы думаете, в нем — Бог, самый грандиозный и беспредельный», — скажет однажды Н. Н. Ге, поверяя сокровенные мысли.)

По верному замечанию искусствоведа О. Кругловой, начиная с этой работы на первый план в произведениях Шишкина выдвигается поэтическое начало.

Но было и другое, не менее важное в работе. Он как бы отвечал на вопрос, что́ воспевать в этом мире, в полдень своей жизни, когда так явно видны начало и конец ее.

Через три года он вернется к этюду и приступит к картине. Сюжет повторится. Даже название будет почти то же — «Полдень». Исчезнет, правда, лес, но откроются бескрайние просторы за ним. Столько воздуха в картинах Ивана Ивановича еще не было.

Обращение к старому этюду, чувствуется, не случайно. Словно одна важная мысль не дает ему покоя: красота земли, окружающей природы, совершенство ее, красота людей, живущих на ней, не могут, не должны порождать зло.

И не это ли почувствовал в картине Ивана Ивановича Третьяков, приобретая ее?

(В скобках отметим, к этой теме Шишкин обратится и в последующем, в частности, работая над картиной «Рожь».)

«...покорнейше Вас прошу сообщить мне, продана Ваша картина «Полдень» или еще нет? И в таком случае, не угодно ли Вам будет уступить мне ее за 300 рублей?» — писал П. М. Третьяков 25 октября 1869 года Шишкину.

«Я очень рад, что картина моя попала к Вам, в такое

богатое собрание русских художников», — отвечал через некоторое время Иван Иванович.

Известно, впервые Павел Михайлович пожелал приобрести рисунок Шишкина через Мокрицкого, но покупка не состоялась. Рисунков Шишкина у Третьякова не было до 1870 года.

Еще 23 декабря 1860 года Мокрицкий писал Третьякову: «Поверьте мне, добрейший Павел Михайлович, что я весьма неохотно отпустил Вас, не решив дела насчет рисунка Шишкина. Мне хотелось тогда и сделать вам удовольствие, и самому не остаться в убытке, потому что вещь в самом деле прекрасная и достойная украшать любой альбом».

Через А. А. Риццони, А. Г. Горавского Третьяков получал сведения о работах Шишкина. («...настоящие виды со всей их непривлекательностью, то есть без прикрас, так и видишь, будто перед тобой что-то знакомое и родное».)

«Полдень» — первая картина Шишкина, приобретенная П. М. Третьяковым.

Павел Михайлович Третьяков продолжал в жизни дело бывшего директора почтового департамента Ф. И. Прянишникова, который, один из первых в России, попытался собрать произведения русской школы. Мысли предшественника глубоко повлияли на П. М. Третьякова, едва он ознакомился с открытой для публики галереей Ф. И. Прянишникова, которую думали продать вскоре после кончины ее владельца.

Впротиву пристрастия всеобщего к иноземному составить русскую школу — это ли не подвиг гражданский?

«Кому не приходила мысль о том, — писал М. В. Нестеров, — что, не появись в свое время П. М. Третьяков, не отдайся он всецело большой идее, не начни собирать воедино Русское Искусство, судьбы его были бы иные: быть может, мы не знали бы ни «Боярыни Морозовой», ни «Крестного хода», ни всех тех больших и малых картин, кои сейчас украшают знаменитую ГТГ.

Тогда, в те далекие годы, это был подвиг...»

Идея собирания произведений русской школы, которую осуществлял П. М. Третьяков, возникла не на пустом месте, а рождена была осознанием необходимости утверждения русского в России в противовес западному влиянию.

«Многие положительно не хотят верить в хорошую будущность русского искусства и уверяют, что если иногда какой художник напишет недурную вещь, то как-то случайно, и что он же потом увеличит собой ряд бездарностей, — писал П. М. Третьяков одному из адресатов. — Вы знаете, я иного мнения, иначе не собирал бы коллекцию русских картин, и очень был бы счастлив, если бы дождался на нашей улице праздника...

Я как-то невольно верую в свою надежду: наша русская школа не последнею будет; было, действительно, пасмурное время, и довольно долго, но теперь туман проясняется».

Какова же была нравственная обстановка в обществе, если действия русского человека, родившегося в России и собиравшего картины художников русской школы, считались подвигом!

За три года по возвращении в Россию произошли важные события и в личной жизни Шишкина: он женился на Евгении Александровне Васильевой, у него родилась дочь Лидия, и начал получать всеобщее признание его первый ученик — Федор Васильев.

Впрочем, обо всем по порядку.

Обратимся к источникам.

«Членом Артели Иван Иванович никогда не был, — писала Комарова, — но постоянно там бывал и во всем участвовал как свой человек, подружился со многими и туда же привел Ф. А. Васильева, тогда еще мальчика, ученика рисовальной школы Общества поощрения художеств. Сначала их отношения были отношениями ученика и учителя; но их характеры, взгляды на искусство были до того различны, что вскоре уже они начали расходиться. Васильев, мальчик по годам, оказался человеком совершенно сложившимся, с твердыми воззрениями на жизнь и искусство. Крамской говорил, что трудно было найти две более взаимоисключающие друг друга натуры... Но, к чести обоих надо сказать, что их уважение друг к другу скоро опять восстановилось...»

Где они познакомились и что могло их привлечь друг в друге?

Вот характеристики обоих, оставленные современниками.

Крамской, вспоминая Васильева, писал: «С первого шагу он меня поразил, и неприятно: его манеры были самоуверенны, бесцеремонны и почти нахальны; в 17 лет он не отличался молчаливостью и скромностью... у него

эти манеры и тон лежали в самой натуре... Замечу, что первое впечатление быстро изгладилось, так как все это было чрезвычайно наивно и показывало только, что у него были замашки, хватавшие очень далеко; оно и немудрено, так как разница между нами была почти на 14 лет. Так шло около года, если не больше, и я должен сознаться, что часто он приводил меня просто в восторг и свежестью чувств, меткостью суждений и беспредельной откровенностью своего умственного механизма... (Познакомился И. Н. Крамской с Ф. А. Васильевым в исходе 1868 года. — *Л. А.*) Развивался он в полной гармонии с И. И. Шишкиным, который имел на него влияние в это время, но уже через год резко обозначились пункты разногласия относительно взгляда на натуру. И действительно, трудно найти две более взаимоисключающие друг друга натуры».

Крамской же подметил одну из глубоких черт Васильева — страсть игрока.

«Он не принадлежал к числу тех спокойных натур, которые покорно переносят свое неважное положение; ему нужны были средства принца, чтобы он не жаловался на жизнь, но страсти его имели характер мало материальный. Это были страсти духа. Он, этот мещанин по происхождению, держал себя всегда и всюду так, что не знающие его полагали, что он по крайней мере граф по крови. Однажды у меня в одном имении спрашивали: «Скажите, пожалуйста, как приходится Федор Александрович (Васильев) графу N N?» — «А что?» — «Да так, любопытно знать...» — «Да никак, он не родственник даже!..» — «Ну вот еще! Вы, стало быть, не знаете, что он его побочный сын».

Я улыбнулся... Васильев и настоящих княгинь, полагающих, что у них голубая кровь, заставлял с собою обходиться осторожно...»

«Он — незаконный сын и в метрике записан Федором Викторовым. Отец его действительно был Александр Васильев. До 22 лет человека звали правильно...»

А вот портрет Ивана Ивановича, оставленный человеком, хорошо знающим его: «...с виду суровый, на самом деле добряк, по внешности волостной старшина, на самом деле тончайший художник. Наружность его была типично великорусская, вятская. Высокий, стройный, красивый силач, с зорким взглядом, густою бородой и густыми волосами».

(Как тут не вспомнить слова Ф. И. Шаляпина: «Пора-

зительно, каких людей рождают на сухом песке растущие еловые леса Вятки! Выходят из вятских лесов и появляются на удивление изнеженных столиц люди, как бы из самой древней скифской почвы выделанные. Массивные духом, крепкие телом богатыри».)

Впрочем, по замечанию Н. А. Рамазанова, истые поклонники красот природы отличались необыкновенною ровностию характера, душевным спокойствием, мягкостию нрава и, без сомнения, самою задушевною любовью к искусству. «В истинно даровитых людях, — писал скульптор, — все тихо, плавно, стройно, как те явления природы, которым они, как искренне любящие дети, вполне сочувствуют, пред которыми восторженно стихают всем существом и, согретые безмятежным огнем любви, переносят их в свои произведения; потому-то с последних и веет на нас жизнью самой природы».

Вспомним и еще одну характеристику: «Шишкин предпочитал солнечные полдни, и это характерно для здравого ума и ясного воображения великорусса. В полдне больше всего света, больше подробностей — больше работы и знания. Не в рассудочности Шишкина причина его недостатков, а в робости, в той робости, которой отличаются умы и таланты неокрепших натур. Человек еще не научился верить своим силам и не дает себе полной воли. Бездарности подражают, таланты стесняют себя. Шишкин только тогда решался создавать, когда ему казалось, что предварительно он изучил предмет со всей полнотой».

Сравнивая Шишкина и Васильева, Крамской подмечал: «Один трезвый до материализма художник, лишенный даже признака какого-либо мистицизма, музыкальности в искусстве (как и все почти племя великоруссов), художник, которому недостает только макового зерна, чтобы стать вполне объективным; другой, весь субъективный, субъективный до того, что вначале не мог даже этюда сделать без того, чтобы не вложить какого-либо собственного чувства в изображение вещей совершенно неподвижных и мертвых».

Различные по характеру, они все же сразу подметили главное друг в друге — преданность искусству.

Где могли познакомиться Васильев и Шишкин?

Вспомним, Васильев учился в вечерней рисовальной школе Общества поощрения художников и окончил ее в 1867 году. Именно в те годы в школе преподавали Чистяков, Крамской, Корзухин, Журавлев, М. Клодт.

Мог кто-то из этих художников (исключая Крамского) обратить внимание Шишкина на талантливого юношу, а возможно, и реставратор картин в Академии художеств И. К. Соколов, знакомый лично с Иваном Ивановичем, рассказал ему о работающем у него в услужении Федоре Васильеве.

Простота, прямота Ивана Ивановича, его работы, близкие по духу, настроению, притягивали Васильева. Именно Федор Васильев, став знаменитым художником, не устанет повторять, что за Иваном Ивановичем по праву остается первое место среди пейзажистов. Можно предположить, что он первым подошел к Шишкину, обратившись за каким-либо советом. Остается только догадываться, почему, имея учителей Корзухина, М. Клодта и др. в рисовальной школе, он обратился не к ним, а выделил Шишкина. Не исключено, что он почувствовал в картинах Ивана Ивановича ту музыку, сущность которой стремился познать в природе. Шишкин, оценив способности живой, кипучей натуры гениального мальчика-юноши, которому явно многого не хватало в художественном развитии, взялся быть его наставником. В рисовании и живописи с натуры Васильев, замечал И. Н. Крамской, чрезвычайно быстро ориентировался: он почти сразу угадывал, как надо подойти к предмету, что́ не существенно и с чего следует начать.

«Учился он так, — вспоминал И. Н. Крамской, — будто живет в другой раз и что ему остается что-то давно забытое только припомнить».

Надо сказать, под влиянием Шишкина мог углубиться интерес Васильева к пейзажу. Человек городской (вспомним пейзаж Ф. Васильева «После дождя», написанный в 1867 году, изображающий петербургскую улицу, омытую летним дождем, — этот «этюд-обещание», как заметил один из критиков, «вызывающий лишь одно предположение — разовьется талант или зачахнет»), он интуитивно тянулся к живой природе (недаром и поражала его в каменном городе гроза, ливень), угадывая, что одно соприкосновение с ней делает человека богаче духовно, способствует внутреннему совершенствованию, но пока не знал ее, и нужен был толчок для этого познания. Таким толчком и послужила встреча с Шишкиным.

На лето 1867 года Иван Иванович берет его с собой на Валаам, на этюды.

Уместно предположение, что благодаря Шишкину

Федор Васильев открыл глухие, непроходимые чащобы, мокрый папоротник, хмурое небо...

По прибытии на Валаам Ф. Васильев принялся заполнять рисунками альбом. Перелистаем его страницы. Любопытно по рисункам судить о том, на что обращал внимание ученик, слушая учителя. Общих дальних планов на рисунках нет. Более внимание уделено плану переднему. Скорее исследователь чувствуется в рисунке, нежели художник. Вспомним, в годы ученичества Шишкин придерживался мысли, что природу должно искать во всей ее простоте, рисунок должен следовать за ней во всех ее прихотях форм. Видимо, потому он занимался в свое время составлением коллекции этюдов различных растений. И тогда же нащупал он метод работы, повторяемый теперь Федором Васильевым. Познание природы ученым образом. Здесь много и от Венецианова: «...ничего не изображать иначе, чем в натуре является».

Конечно же, работа на природе с Иваном Ивановичем ни в коей мере не могла быть сравнима с копированием «оригиналов» в рисовальной школе. Именно здесь, на Валааме, рядом с Шишкиным, нарождался тот художник, тот гениальный Васильев, в котором, по замечанию И. Н. Крамского, «русская пейзажная живопись едва не получила осуществления всех своих стремлений. Он был близок к тому, чтобы сочетать самую строгую реальность с высокопоэтическим чувством».

Можно согласиться и со словами другого художественного критика: «Если бы смерть пощадила его еще несколько лет, мог бы дать нам первоклассные произведения и совершить громадный переворот во всей пейзажной живописи». Есть смысл напомнить лишь некоторые картины Васильева: «После грозы», «Мокрый луг», «Оттепель». Но все это в будущем. А сейчас они с Иваном Ивановичем и другими молодыми художниками изучали Валаам, который для Васильева станет той же школой, какой был Валаам и для Шишкина.

По рисункам Васильева можно судить и об их обыденной валаамской жизни: «У костра в лунную ночь», «В лесу. Встреча с медведем», «Монахи, тянущие невод из воды».

Любопытно: некоторые этюды писали почти с одного места, например, «В церковной ограде. Старое кладбище Валаамского монастыря».

И. Н. Крамской после смерти Ф. Васильева в 1873 году напишет В. В. Стасову: «Вам известно, что он не был

учеником Академии и не ей обязан своим развитием, а Шишкину». Он же заметит: «Трудно сказать, в каком бы направлении пошло развитие Васильева, если б не встреча с Шишкиным».

Васильев же писал сестре Евгении, что в восторге от Валаама и тамошней жизни.

Не проходили бесследно и житейские разговоры с Шишкиным. Какие-то нечаянно высказанные мысли Ивана Ивановича могли осесть в сознании ученика.

Иван Иванович в том году закончит картину «Рубка леса». Художественные критики и по сию пору, упоминая о ней, не забывают сказать о жанровых чертах картины, позволяющих увидеть, что и как делают лесорубы, изображенные в ней. Много говорят о «дробленности», «детализации», мешающей общему единению картины. И даже то, что «детализация, к которой он прибегает, является реакцией против отвлеченности природных форм в пейзажах академической школы».

Но вспомним слова Ф. М. Достоевского: «Теперь безлесят Россию, истощают в ней почву, обращают в степь и приготовляют ее для калмыков... Но человек, истощающий почву с тем, чтоб «с меня только стало», потерял духовность и высшую идею свою. Может быть, даже просто не существует».

Не эту ли картину изображает Иван Иванович, которого так больно задевала «Рубка леса» в России. Рубка национальных устоев, нравственности, гармонии человеческой жизни.

Он как бы говорит: там, где разрушение Бога (в данном случае природы), — там смерть.

Д. И. Менделеев, характеризуя эту пору в России, напишет: «Русский мужик, переставший работать на помещика, стал рабом Западной Европы и находится от нее в крепостной зависимости», и далее: «Крепостная, т. е. в сущности экономическая зависимость миллионов русского народа от русских помещиков уничтожилась, а вместо нее наступила экономическая зависимость всего русского народа от иностранных капиталистов...», «миллиарды рублей, шедшие за иностранные товары... кормили не свой народ, а чужие».

Эти миллиарды зарабатывали, вырубая, в частности, и продавая лес.

Летом 1867 года на острове Валаам появился молодой ученый А. А. Иностранцев. Ему нужно было сделать

петрографические дополнения к описанию острова, оставленному ранее С. С. Куторгой.

Едва пароход миновал темные высокие скалы и причалил в уютной бухте, А. А. Иностранцев направился к настоятелю монастыря — игумену Дамаскину.

Услышав, что молодой ученый будет изучать камни, Дамаскин оживился. Признался даже, что сам увлекается ими. На Валааме, неподалеку от монастыря, имелась изба, в которой шлифовали камни.

«После нашего разговора о камнях, — вспоминал А. А. Иностранцев, — Дамаскин вызвал послушника и дал ему следующий наказ: «Поместить их (т. е. меня) там же, где живут дикари». Не расспрашивая о том, кто такие эти дикари, я пошел за послушником, и он привел меня к большой монастырской гостинице, где мы поднялись в самый верхний этаж, и там отвел мне свободную комнату. Он же предложил мне подать самовар и булки, от чего я не отказывался, ибо не обедал, а трапеза в монастыре была окончена до прихода парохода. Монастырские булки из просфирного теста я нашел превосходными и отсюда заключил, что на Валааме с голоду не пропаду.

Разложив перед собой довольно подробную карту острова Валаам, я стал обдумывать планы своих предстоящих работ, но мысль о том, что меня поселили с какими-то дикарями и кто такие эти дикари, не давала мне покоя. Решение этой задачи затянулось, и только около 6 часов вечера я услыхал на лестнице шум, хохот и разговор, и слышал, как поднимается наверх целая компания. Дверь своей комнаты, выходящей на площадку лестницы, я нарочно оставил открытой, чтобы увидеть дикарей, на соседство с которыми меня обрек игумен. Смотрю и вижу, что эта компания состоит из 5—6 человек, одетых в штатское, и ничего общего с дикарями не имеет. Скоро им подали большущих размеров самовар, и, продолжая шуметь, компания, видимо, принялась за чаепитие. При самом начале последнего ко мне зашел крайне симпатичной наружности, весь обросший волосами, с большой бородой человек и рекомендовался художником Шишкиным. Это и был наш известный пейзажист-лесовик И. И. Шишкин. Узнав, кто я такой и для какой цели на Валааме, он любезно пригласил меня на чаепитие и познакомил меня со своими товарищами, среди которых были и его ученики. Оказалось, что И. И. довольно часто лето проводил для этюдов на Валааме и обыкновенно в

виде платы за свое здесь пребывание дарил игумену свои картины, которыми, как я видел при первом знакомстве с Дамаскиным, увешана гостиная.

У компании, кроме чая, я нашел и довольно обильную закуску из ветчины, колбас, сыру и масла, что совместно с прекрасным монастырским хлебом и булками представляло очень заманчивый материал для утоления голода. Я полюбопытствовал узнать, как при существующем строгом режиме монастыря здесь допускается скоромное. На это получил ответ, что запасы скоромного им привозит из Сердоболя, а иногда из Петербурга капитан парохода и что первоначально и были некоторые пререкания с монахами, но им удалось завоевать это право. По-видимому, за употребление скоромного, а равно и за их довольно шумливый нрав их и прозвал игумен дикарями. За этим чаепитием мне было предложено на время моего пребывания вступить к ним в артель, на что я с удовольствием согласился и пользовался этими чаепитиями две недели вплоть до своего отъезда».

Узнав, что А. А. Иностранцев собирает материал для диссертации, Иван Иванович принялся показывать ему места, где в свое время писал этюды для дипломной работы. Ученый же рассказывал ему о геологических процессах.

По истечении двух недель новые друзья всей компанией пошли провожать геолога на пристань и долго махали вслед пароходу, отплывающему в Петербург. (Дружеские отношения с И. И. Шишкиным А. А. Иностранцев будет поддерживать долгие годы.)

Глубокой осенью вернутся в Петербург и художники.

Зимой вместе с работами Ивана Ивановича Шишкина на выставке Общества поощрения художников будут выставлены и этюды Федора Васильева.

Новую фамилию запомнят ценители искусства.

Лето следующего года Шишкин проведет вместе с семьей Ф. Васильева в деревне Константиновка под Петербургом. Комарова упоминает, что в то лето художники занимались специальным изучением в этюдах различных по форме облаков. О том, каких успехов достиг Ф. Васильев, свидетельствует следующий факт. И. Е. Репин в Петербурге навестит однажды «одноэтажный, низенький дом» Васильевых и будет ошеломлен, увидев на этюде дивно вылепленные облака и то, как они освещены. Трудно

было поверить, что написал это не ученик Академии, а человек, недавно оставивший работу почтальона.

— А учитель, брат, у меня превосходный: Иван Иванович Шишкин, — скажет Васильев, — прибавь еще всю Кушелевку и уж, конечно, самую великую учительницу: натуру, натуру! А Крамской чего стоит?!

Любопытно одно замечание, запомнившееся И. Е. Репину. Васильев, увидев эскиз к картине «Бурлаки на Волге», произнес: «...чем проще будет картина, тем художественнее». Не Ивана ли Ивановича слышен здесь голос?

Словно с какой-то ненасытной жадностью работал в окрестностях деревни Васильев. Появлялись одна за другой картины: «У водопоя», «Близ Красного села», «Перед грозой».

Ранее оторванный от природы, не всегда понимающий ее, он теперь словно прозревал.

В том же году появятся картины «Вид в Парголове», «Возвращение стада»...

Но окончательное пробуждение произошло во время поездки Ф. Васильева в Тамбовскую губернию, в имение Строганова Знаменское-Карьян.

«Я всем наслаждался, — писал 10 июня 1869 года Васильев своему другу Нецветаеву, — всему сочувствовал, все было ново... новые места, люди, а следовательно, и впечатления обступили со всех сторон и не дают умирать мысли и чувству».

Здесь, на Тамбовщине, отрезанной от остальной России бездорожьем, среди прекрасных мест, он впервые увидит, сколь красивы духовно люди в заветной глубине России.

«Выедешь в степь — чудо! Рожь без границ, гречиха и просо, пчелы и пасеки, журавли да цапли со всех сторон плавают в воздухе, а под ногами бежит ровная теплая дорога с густыми полосами цветов по бокам. Воздух, особенно утром, дышит ароматами (без преувеличения), так что чувствуешь, как он входит в легкие...»

Работал Васильев так настойчиво и самозабвенно, что через два года, в 1871 году, Шишкин, увидев его картину «Отепель», скажет: «О! Он скоро превзошел меня, своего учителя...» Правда, сам Федор Васильев будет придерживаться другого мнения.

Иван Иванович, напомним, ввел Васильева в Артель, познакомил с Крамским, который попросту влюбился в молодое дарование.

О картине «Оттепель» Крамской скажет Федору Васильеву: «...ваша теперешняя картина меня раздавила окончательно. Я увидел, как надо писать. Как писать не надо — я давно знал...»

Требования же молодого человека к своей работе были столь высоки, что его не удовлетворил этот отзыв.

И не угадывается ли и здесь голос Шишкина?

На вечерах у «артельщиков» художники впервые всерьез занялись офортом. А. И. Сомов вспоминал, что Шишкин «как более опытный между членами кружка помогал многим из них своими советами и примером».

По-видимому, и Ф. Васильева Шишкин познакомил с приемами работы над офортом.

Решили выпускать «Художественный автограф». Сняли помещение для мастерской, купили печатный станок.

Шишкина, увлеченного созданием офорта, изобразит в своей картине Г. Г. Мясоедов. (Ныне она находится в картинной галерее имени К. А. Савицкого в Пензе.)

Кончилось тем, что издали три альбома русских аквафортистов.

Свободное время проводили в беседах. М. Антокольский оставил интересные воспоминания об этих вечерах.

«...Там познакомился я с молодым, в высшей степени талантливым пейзажистом Васильевым, умершим так рано и для себя и для искусства. Тут же узнал «дедушку лесов», как тогда звали пейзажиста Шишкина. Трудно было верить, чтобы этот колоссальный человек, весь обросший волосами, на вид серьезный и даже сердитый, был в то же время добродушным, как ребенок, — так, по крайней мере, отзывались о нем все, сам же я знал его мало... Карты и танцы не были в ходу, зато затевались разные игры — вообще чувствовался простор, где можно было разойтись. У меня осталась в памяти игра в жмурки. Как сейчас вижу громадную фигуру «дедушки лесов», стоящую посреди залы с завязанными глазами: несколько прогнувшись вперед, растопырив руки и ноги, он старается ловить нас в пустом пространстве — мы ловко подкрадываемся к нему и с хохотом отскакиваем в стороны».

Живописный портрет Ф. Васильева оставил И. Е. Репин.

«На этих вечерах 1869—1871 годов особенно выдавался своей талантливостью и необыкновенной живостью

Ф. А. Васильев, ученик И. И. Шишкина. Это был здоровый юноша девятнадцати лет, и Крамской сравнивал его по таланту со сказочным богачом, не знающим счета своим сокровищам и щедро и безрассудно бросавшим их где попало. На вечерах за его спиной всегда стояла толпа, привлеченная его богатой фантазией. Из-под рук его выливались все новые прелестные мотивы, которые переделывались тут же на сто ладов, к ужасу следивших за ним. Все это делалось им шутя, виртуозно, вперемежку с заразительным хохотом, которым он вербовал всю залу. Он живо хватался за всякое новое слово, жест, сейчас же воспроизводил, дополнял, характеризовал или комически декламировал... Нельзя никак было подумать, что дни этого живого, коренастого весельчака были уже сочтены и что ему придется скоро кончать их безнадежным чахоточным страдальцем в Ялте». (Васильев умрет в 1873 году. — *Л. А.*)

Дописывая портрет Ф. А. Васильева, И. Е. Репин скажет: «Мне думается, что такую живую, кипучую натуру, при прекрасном сложении, имел разве Пушкин. Звонкий голос, заразительный смех, чарующее остроумие с тонкой до дерзости насмешкой завоевывали всех своим молодым, веселым интересом к жизни: к этому счастливцу всех тянуло, и сам он зорко и быстро схватывал все явления кругом, а люди, появляющиеся на сцену, сейчас же становились его клавишами, и он мигом вплетал их в свою житейскую комедию и играл ими».

Живость и талантливость Васильева обратили на себя внимание и графа С. Г. Строганова — известного деятеля русского просвещения и художественного образования, которому многие из наших знаменитых художников обязаны первыми шагами на поприще самостоятельной деятельности.

Трудно сказать, обладала ли теми же качествами сестра Ф. Васильева, сколь сильно различались они характерами, но одно можно сказать уверенно: познакомившись с Евгенией Васильевой, Шишкин прикипел к ней душой. (Верно, позабыты были им давние наивные записи, оставленные в ученической тетради: «Любовь — злой червяк. Он прокрадывается сперва нам в глаза, а потом заползает и в сердце...»)

Чувства глубоки, искренни. Бывали ли они на выставках, гуляньях, катках, судить нам трудно. Однако из поздних писем видно, что супруги Шишкины часто посещали концерты. Маловероятно, чтобы сестра гениального

художника и жена великого художника была равнодушна к искусству.

Брат и сестра Васильевы многое переняли от отца — по-своему талантливого человека, которому волею судеб не суждено было раскрыться.

Чиновник петербургского Департамента сельского хозяйства Александр Васильев, живший вне церковного брака с Ольгой Емельяновной Полынцевой и имевший двух незаконнорожденных детей: Евгению (1847 года рождения) и Федора (родился в 1850 году), считался родственниками жены «человеком несостоятельным и меняющим места только «по крайней взбалмошности и неспособности к мало-мальски усидчивому труду».

Думается, это не так. Одаренность Федора Васильева, его увлечение музыкой, интеллектуальные способности, яркость и живость характера, страсть игрока, умение сострадать перешли от отца. Этот маленький человек жил миром, который неприемлем был миру Департамента.

(«...Ужасно интересна духовная жизнь человека, его способность вследствие, вероятно, наследственности носить в себе какие-то темные, неясные зародыши будущих мыслей, поступков или даже целого характера», — напишет Ф. Васильев И. Н. Крамскому 21 июля 1872 года, размышляя о становлении характера человека.)

И нельзя не согласиться со словами одного из нынешних художественных критиков, что в этом «маленьком человеке» было «что-то человечески ценное, но погубленное жизнью».

Из департамента А. Васильев перешел на почтамт, где сортировщиком газетной экспедиции проработал последние годы своей жизни. Он умер в 1865 году в Обуховской больнице, оставив жену и четырех детей в безденежье.

Уезжая на Валаам летом 1867 года, Шишкин оставлял в Петербурге родного человека. О характере взаимоотношений между Евгенией Александровной и Иваном Ивановичем можно судить по следующему письму, отправленному из Санкт-Петербурга 22 июня 1867 года:

«Милый и дорогой мой Ванечка!

Мы получили от брата письмо 19 июня в 10 часов вечера; нам привез его буфетчик с парохода «Летучий». Он же привезет и наше к вам письмо. Федя пишет, что он в восторге от Валаама и от изобилия флоры. Но вот что опечалило нас в его письме, а именно, он пишет, что

у него не хватает денег, а нам решительно взять негде. Ты знаешь, мой друг, с чем мы остались. Итак, прошу тебя, если он будет нуждаться в деньгах, то помоги ему, мой голубчик Ванечка. Я так скучаю без тебя, сижу дома и работаю. Здоровье мое стало плохо, я не знаю, скоро ли все это кончится со мною, мне так тяжело и скучно, никто не придет и не навестит меня, от всех я должна прятаться, чтобы не навлечь на себя презрение от людей. Из твоих денег у меня осталось 70 руб(лей), и мы сидим теперь на 8 руб(лях) в месяц. Мамаша тоже не совсем здорова, и в этом виноваты мы с тобой, она простудилась, когда поехала со мной к бабке. Я и мамаша просим тебя передать поклон Ивану Васильевичу. И вот еще просьба к тебе: не оставь брата, помоги ему выйти в свет, смотри за ним построже, ведь он молод и неопытен. Я и мамаша сумеем оценить и отблагодарить тебя, моего доброго друга. Мамаша поручила тебе его, как родному отцу. И я с мамашей будем молить Бога, чтобы он помог вам...

Остаюсь любящая и преданная тебе, твоя Е. В.».

Они живут по-семейному («Женя, так порядочные жены не делают...» — письмо от 22 августа 1868 года) еще до церковного брака. Долгое молчание ее выводит его из себя. Он бывает резок, и по письмам чувствуется, ревниво оценивает отношение к себе («...в две недели и одно письмо, и то писанное наскоро, торопясь, да это приписка, не то что письмо?!!») и, угасив ревность, умоляет об одном: пиши, пиши, пиши, пиши и пиши.

Осенью 1868 года он едет в Елабугу испрашивать родительского благословения на женитьбу.

Старики рады и счастливы, особенно отец.

Из родительского дома отправит он «милой Женьке» письмо. («Ну, брат, немного же я и, конечно, ты поживились от Елабуги, ровно ничего я не привезу ни себе, ни тебе (да, по правде, нечего было и дать, потому что у родителей ничего нет — все прожили), да нам ничего и не надо...»)

В конце письма трогательное признание («...скучаю, а ведь, конечно, ни по ком, как по тебе, милая Женька, не скучай и ты, меньшонок...»).

28 октября 1868 года Иван Иванович Шишкин обвенчался с Евгенией Александровной Васильевой.

28 февраля родится первенец — дочь Лидия.

«По своему характеру Иван Иванович был рожден семьянином; вдали от своих он никогда не был спокоен, почти не мог работать, ему постоянно казалось, что дома непременно кто-нибудь болен, что-нибудь случилось, — писала Комарова. — Во внешнем устройстве домашней жизни он не имел соперников, создавая почти из ничего удобную и красивую обстановку; скитание по меблированным комнатам ему страшно надоело, и он всей душой предался семье и своему хозяйству. Для своих детей это был самый нежный любящий отец, особенно пока дети были маленькие. Евгения Александровна была простая и хорошая женщина, и года ее жизни с Иваном Ивановичем прошли в тихой и мирной работе. Средства уже позволяли иметь скромный комфорт, хотя с постоянно увеличивающимся семейством Иван Иванович не мог позволять себе ничего лишнего. Знакомых у него было много, к ним часто собирались товарищи и между делом устраивались игры, и Иван Иванович был самым радушным хозяином и душой общества».

Глава десятая
СОБЫТИЯ ЖИТЕЙСКОГО РОДА

Год 1868-й был удачным во всем. Шишкин выставил на Парижской Всемирной выставке несколько рисунков пером и «Вид в окрестностях Дюссельдорфа». Летом, живя в Константиновке, написал две картины: «Чем на мост идти, поищем лучше броду» и «Сосновый лес».

Осенью обе картины выставлялись в Академии художеств, и Академический Совет присудил за них Ивану Ивановичу звание профессора, но великая княгиня Мария Николаевна рассудила иначе: Шишкин был представлен к Станиславу 3-й степени.

А. П. Боголюбов обратился в Академию с предложением создать специальный пейзажный класс и высказал свои мысли Ивану Ивановичу, его же рекомендовал привлечь к преподавательской деятельности.

У Шишкина появляются ученики. Они часто бывают у него в доме. Их он берет на этюды, совершает с ними дальние поездки и чрезвычайно радуется их успехам.

Его называют в глаза и за глаза «царем леса».

Федор Васильев поддерживает самую тесную связь с зятем. («Каждое письмо от вас приносит мне много удовольствия», — пишет он сестре. Федор Александрович летом гостил в имении Строганова. «Если бы ты видела, Же-

ня, степь, — пишет он в другом письме. — Я до того полюбил ее, что не могу надуматься о ней; и когда я езжу туда охотиться, то, Иван Иванович, ужаснитесь и выругайтесь хорошенько, забываю всякие этюды...»)

Его не может не восхитить работоспособность Шишкина. («Каюсь перед Вами, Иван Иванович! Я не думал, что Вы успеете кончить свои вещи, а Вы еще и два рисунка успели сделать».) Шишкин исполнил тушью и пером великолепные рисунки: «Болото на Петровском острове», «Дорога в лесу» (ныне в ГТГ) и «Лес» (Рижский музей латышского и русского искусства).

Нужно ли говорить, с каким интересом оба знакомились с работами друг друга, едва Васильев вернулся глубокой осенью в столицу. Поделился Иван Иванович и новостью: рассказал, что подписался под письмом-обращением московских художников к членам Артели по поводу «Проекта устава Товарищества передвижных выставок».

— Но ведь, верно, Иван Николаевич об этом же не замышлял! — воскликнул Васильев, едва узнал, что к чему. Ему вспомнились высказывания Крамского о создании клуба художников. — Говорил же он, чтобы художники устраивали выставки, посылали бы их из клуба в провинцию.

Васильев прохаживался по комнате. Известие возбудило его. Он принялся вспоминать разговоры свои с Крамским.

— Они же предполагали оказывать покровительство молодым. Школу мечтали создать. О том в Артели не раз спорили. Нет, идея превосходная.

— Мясоедову надобно нам всем сказать спасибо, — сказал Иван Иванович. — Ему первому пришла мысль объединить всех. Пора, пора делать это. И устраивать передвижные выставки — дело разумное. Дай Бог здоровья этому славному труженику.

Г. Г. Мясоедов, возвратясь из-за границы, поделился с Артелью мыслью об устройстве передвижных выставок. Его выслушали, даже согласились, но практически дело с места не тронулось. Мясоедов отправился в Москву и принялся рассказывать о своих намерениях создать Товарищество с московскими художниками. В. Перов, И. Прянишников, А. Саврасов и Вл. Маковский зажглись желанием способствовать делу. Написали в Петербург, в Артель. Теперь там к идее отнеслись несколько иначе и сразу принялись за дело.

Начали разрабатывать и обсуждать Устав Товарищества. Обсуждение займет времени предостаточно. Только 2 ноября 1870 года Устав, подписанный Перовым, Мясоедовым, Каменевым, Саврасовым, Крамским, баронами М. К. и М. П. Клодтами, Шишкиным, К. Е. и В. Е. Маковскими, Якоби, Корзухиным и Лемохом, будет представлен в правительство и утвержден им.

Через пятнадцать лет Г. Г. Мясоедов, вспоминая эти горячие дни, напишет: «Заботы наши приняли совершенно определенный характер. Нужны были картины, нужны были деньги. Первых было мало, вторых не было совсем у Товарищества, родившегося без полушки. Каждому участнику пришлось ссудить из своего кармана, кто чем мог, на его первоначальные расходы. Дело было всем симпатично, ему верили, и оно не обмануло: на первую же выставку, открытую в 1871 году в залах императорской Академии художеств, Петербург принес 2303 р., чем тотчас же обеспечил возможность нашего движения в провинцию».

Артель к тому времени распалась, и Товарищество художественных передвижных выставок родилось как нельзя вовремя.

Отношение к нему у Ивана Ивановича было определенное: он целиком был на его стороне. «Шишкин с основанием Товарищества передвижников был самым горячим его приверженцем и деятельным членом, — читаем в записках Комаровой, — хотя никогда не был членом правления Товарищества. Но если нужно было придумать какое-нибудь улучшение для устройства выставки, для перевозки картин, он с жадностью принимался за работу, делая модели ящиков, мольбертов и пр., и до конца жизни считал все интересы Товарищества своими».

На лето 1870 года Шишкина пригласил в Нижний Новгород, для исполнения акварельных видов города, давний знакомый, художник и фотограф А. И. Карелин. Нижегородское дворянство поручило Карелину составить альбом для поднесения государю, и Андрей Иосифович, поразмыслив, обратился с предложением к Шишкину.

Карелин, уроженец Тамбовской губернии, окончил в 1864 году Академию художеств и, следуя примеру выпускников Академии Деньера и Каррика, решил открыть портретную фотографию. С этой целью переехал вначале в Кострому, а затем в Нижний Новгород.

Карелин славился как мастер фотопортрета. Не оставлял и занятий живописью. Создал школу рисова-

ния. На свои деньги приобретал для учеников бумагу, краски.

Но главной страстью Карелина оставалась русская старина, изучал он ее кропотливо. Крупнейший коллекционер, он многое передавал в музеи. Так, музей исторический получил от него собрание резных деревянных вещей, архангельских костяных ларцов, старинных сундуков и укладок. Его стараниями открыт художественный музей в Нижнем Новгороде.

Много любителей старины съезжалось к Карелину.

Прожил Иван Иванович у Карелина лето, наработал много, но и намучился не менее, будучи вдали от родных. Беспокоило его здоровье жены, начала она прихварывать после рождения дочери. Врачи поговаривали о чахотке. Будешь ли тут спокоен? Домой писал часто.

Первый гром прогремел неожиданно. Пришло письмо из Елабуги от отца. Жаловался Иван Васильевич (что несвойственно ему было) на слабость здоровья и хотел непременно повидать сына и невестку с внучкой. Предлагал Евгении Александровне, к коей благоволил, испробовать местный кумыс.

Откладывать было нельзя, и Шишкины на лето 1871 года выехали всей семьей в Елабугу.

Иван Васильевич сильно сдал. Гостям был рад несказанно. Суетился, и это тоже непривычно было. Ласкал внучку, всматривался в сына.

Сыном гордился. Не преминул рассказать, что книжка его «История города Елабуги», отпечатанная на средства дорогих земляков и друзей Дмитрия Стахеева и Никиты Ивановича Ушакова, распродана в Москве и Елабуге. В книжке той посвятил папенька несколько строк и сыну. («...один из природных наших граждан — Шишкин — получил звание академика художеств по части пейзажной, его произведения, в особенности пейзажи лесов, получили известность и ценятся любителями изящного».)

— Посмотри-ка, что Капитон Иванович пишет, — обратился Иван Васильевич к сыну, доставая связку писем, едва лишь кончились первые расспросы.

Иван Иванович принялся читать.

В последнем письме сообщалось о реакции публики на выход книги об истории Елабуги.

«Прямо скажу, что кому ни давал или посылал оную, все ею очень довольны и благодарят Вас, даже и строгие критики, особенно довольствуясь изложением Вашим», — писал Невоструев.

Не в характере Ивана Васильевича хвастовство было, а вот ведь не удержался. Да ведь можно же на исходе жизни и слабость единожды проявить.

Оставшись вдвоем, отец с сыном принимались беседовать. Говорили о делах столичных, елабужских, о доме и семье много переговорили. Чувствовалось, готовился Иван Васильевич к исходу своему.

И вырвалась у него фраза, так задевшая сына:

— Лежит человеку смерть, потом же суд, что еже сеет человек в жизни, то и пожнет. Согласен, согласен я с Капитоном Ивановичем...

Выговорившись, Иван Васильевич как-то сделался спокойней и на какое-то время ушел в себя, в мысли свои. И отчего-то подумалось Ивану Ивановичу, глядя на папеньку, о здешней суровой природе, мощи ее.

Старики говорят истину. Главное говорят. Правду, без коей и мира б этого не было. А правда заключалась в том, чтоб не блазниться разливом зла.

«Эка хорошо отец сказал», — думалось Ивану Ивановичу в который раз по дороге из Елабуги в Петербург.

За окном вагона мелькали порыжелые поля, серые копны, мокрые дороги. Да белый дым от локомотива стелился по земле.

«Да, прав папенька».

Иван Иванович так углубился в мысли, что не сразу уловил разговор, который вели соседи. Лишь гудок паровоза вывел его из задумчивости.

Человек пожилых лет, сидевший подле окна, говорил:

— Все эти тенденции демократические, наблюдаемые в нашем обществе, особенно журналистика, ведут к разложению неминуемому. Знаете, я разговаривал с господином Чичериным недавно на эту тему. И то, что он сказал, на мой взгляд, верно. Я согласен с ним. Сказал же он следующее: когда элементы, которые должны по природе своей стоять внизу, всплывают наверх и становятся господствующими, в обществе неизбежно должен водвориться хаос и общий уровень по необходимости понижается.

У переезда, облокотившись на шлагбаум, стоял вихрастый мальчишка. Иван Иванович проводил его взглядом. И вновь деревни да рощи за окном.

— Реализм, знаете ли, оторвал общество от высших идеалов, — продолжал спутник.

Дерево могутное показалось за окном. Совсем еще зеленое.

И вспомнился отец, приехавший на пристань со всеми проводить гостей. Попрощались. Папенька перекрестил их на дорогу. Помахал картузом и долго оставался на пристани. Удалялась и удалялась его фигурка. «Господи, даруй ему здоровье», — повторил не раз Иван Иванович. Пароход миновал и Красную горку, а Иван Иванович все смотрел назад. Могли ли знать сын и отец, что эта их встреча будет последней. Через год, 1 сентября 1872 года Шишкин получит присланную на адрес Академии художеств телеграмму из Елабуги, отправленную зятем Дмитрием Ивановичем Стахеевым: «Сегодня утром батюшка Иван Васильевич скончался. Долгом считаю вас известить».

— ...и ежели подобные элементы взялись за проповеди нравственности и идеалов, то есть именно за то, что всецело и неотъемлемо должно принадлежать одним служителям идеала — религии и философии в их лучших представителях, — тогда ясно, что недалек тот день, когда общество, воспитанное в антагонизме со всеми нравственными, идеалистическими принципами, придет к своему несомненному разложению, — кончил говорить сосед и вздохнул.

Пароход отходил от елабужской пристани вечером. Сквозь сосны проглядывало заходящее солнце. Свежело. А папенька все стоял и стоял...

В ту осень была написана картина «Вечер». Размышляя над красотой угасающего дня, Шишкин как бы сравнивал эту красоту с вечером человеческой жизни.

Картину Иван Иванович представил на первую художественную выставку Товарищества передвижных выставок. Вместе с нею рисунок пером — «Сосновый лес» и гравюру на меди «Лес».

Открылась выставка Товарищества 29 ноября в залах Академии художеств. В художественной жизни столицы это был праздник.

Были развешаны сорок шесть работ десяти членов Товарищества и пяти экспонентов. И какие работы!

В. Г. Перов — «Привал охотников» и «Рыболов», И. М. Прянишников — «Погорелые» и «Порожняки», А. К. Саврасов «Грачи прилетели», И. Н. Крамской — портреты Ф. А. Васильева и М. М. Антокольского...

На выставку пришли профессора высших учебных заведений и писатели, петербургская знать, газетчики... Были здесь родственники и друзья художников. Хозяева выставки походили на именинников. Много лестных слов они выслушали в тот день. Поздравлениям не было конца.

Вечером, в день выставки, был дан обед в фешенебельном ресторане у Додона, где в оживленной обстановке много говорилось об основателях выставки, русском искусстве...

Откликнулась и печать на важное событие. Правда, раздавались голоса об упадке живописи, но были и другие выступления.

«...Искусство перестает быть секретом, перестает отличать званых от незваных, всех призывает и за всеми признает право судить о совершенных им подвигах, — писал М. Е. Салтыков-Щедрин. — С какой бы точки зрения мы ни взглянули на это предприятие, польза его несомненна. Полагая начало эстетическому воспитанию обывателей, художники достигнут хороших результатов не только для аборигенов Чухломского, Наровчатского, Тетюшского и других уездов, но и для самих себя. Сердца обывателей смягчатся — это первый и самый главный результат; но в то же время и художники получат возможность проверить свои академические идеалы с идеалами чебоксарскими, пошехонскими и т. д. и из этой проверки, без сомнения, извлекут для себя небесполезные указания».

Для конкурса в Обществе поощрения художеств Иван Иванович начал писать картину «Сосновый бор». Дома работать не было возможности из-за тесноты, и Крамской уступил свою мастерскую. Недели две Иван Николаевич имел возможность наблюдать за работой Шишкина и пришел в восхищение. Поразила работоспособность — а ведь и сам работать умел — и требовательность к себе.

О высокой требовательности к своим работам и работам товарищей свидетельствует факт, приведенный в воспоминаниях И. Е. Репина, относящийся к этому времени.

«На самом большом своем холсте я стал писать плоты. По широкой Волге прямо на зрителя шла целая вереница плотов... — писал художник. — К уничтожению этой картины меня подбил И. И. Шишкин. Время тогда

было тенденциозное: во всем требовали идею; без идеи картина ничего не стоила в глазах критиков и даже художников, не желавших прослыть невежественными мастеровыми. Картина без содержания изобличала предосудительную глупость и никчемность художника.

Я показал Шишкину и эту картину.

— Ну что вы хотели этим сказать! А главное: ведь вы это писали не по этюдам с натуры?! Сейчас видно.

— Нет, я так, воображал...

— Вот то-то и есть. Воображал! Ведь вот эти бревна в воде... Должно быть ясно: какие бревна — еловые, сосновые? А то что же, какие-то «стоеросовые»! Ха-ха! Впечатление есть, но это несерьезно...»

И. Н. Крамской в письме к Ф. А. Васильеву не преминул сообщить: «Он написал вещь хорошую до такой степени, что Шишкин, оставаясь все-таки самим собою, до сих пор еще не сделал ничего равного настоящему...»

П. М. Третьяков пожелал приобрести ее, но внезапная болезнь Ивана Ивановича отсрочила покупку.

Из Ялты, где находился на лечении Федор Васильев, пришла его картина «Мокрый луг». Крамской был потрясен. Выставил обе картины вместе и рассматривал их в течение часа. Позвал Д. Григоровича и П. М. Третьякова. («Григорович ничего больше и не говорит: «Ах, какой Шишкин!», «Ах, какой Васильев!», «Ах, какой Васильев!», «Ах, какой Шишкин!». «Две первых премии, да первых премии, две первых премии», — сообщал Иван Николаевич Васильеву.)

«Картина имеет чрезвычайно внушительный вид: здоровая, крепкая и даже колоритная», — выскажет он в заключении. «Это есть чрезвычайно характеристическое произведение нашей пейзажной живописи». А в письме к П. М. Третьякову Крамской выразится еще определеннее: «...одно из замечательнейших произведений русской школы».

Шишкин получит первую премию на конкурсе, Васильев — вторую. Обе картины уедут в Москву, в галерею П. М. Третьякова.

«Какою простотою и прелестью дышит «Сосновый лес» г. Шишкина... перед нами одно из сильнейших произведений его могучего таланта, — писалось в одной из журнальных рецензий. — Вот он наш смолистый, задумчивый красавец — сосновый красный лес, с его степенным шумом, смолистым ароматом... Право, остановясь

перед этою картиной, замечтаешься, ну и немудрено, что послышится запах и шум леса. Да это родные сосны, а не итальянские пинии, когда-то бывшие в моде. Кому не знаком и этот ручеек, выбегающий из глубины леса, с проглядывающими сквозь прозрачные струи маленькими камешками. Кому не знакомы и эти сваленные, вывернутые с корнями бурею сосны!.. Если говорят про иного мастера своего дела, что он съел собаку, то про г. Шишкина можно сказать, что он съел медведя, да не одного... За эту картину художник получил от Общества поощрения художеств премию в тысячу рублей».

Иван Иванович же все больше и больше думал о Елабуге. Не тому ли свидетельство большой рисунок пером «Лес» и написанный на его основе картина «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии».

Лето 1872 года Шишкин прожил с И. Н. Крамским и К. А. Савицким под Лугой, на станции Серебрянка.

И. Н. Крамской писал «Христа в пустыне». К. А. Савицкий, страдающий удушьем, не мог спать по ночам и был свидетелем того, как Иван Николаевич, едва дождавшись начала рассвета, в одном белье пробирался к картине и начинал с упоением работать, иногда до позднего вечера.

Шишкин поражал всех быстротой и прелестью этюдов.

Глядя на работы его, Иван Николаевич говаривал:

— Ну-с, Иван Иванович, все эти Клодты, Боголюбовы и прочие — мальчишки и щенки перед вами. Им ли тягаться с вами. Ясно вы выражаетесь, а у меня вот пока не получается. — И, вздыхая, выходил из комнаты.

Встречались по вечерам, за обеденным столом. Утром и днем работали.

По росистой траве забирался Иван Иванович в глубь леса, в чащобу, выискивал место и принимался расчищать кустарник, обрубал сучья, чтобы ничто не мешало видеть понравившийся пейзаж, делал из веток и мха сиденье, укреплял мольберт и приступал к работе.

Писал он в день по два, по три этюда, весьма сложных.

Крамской, зараженный его целеустремленностью, несколько раз уходил с ним на этюды и подметил, что перед натурой Иван Иванович точно в своей стихии. Он словно преображался, тут он как нигде знал, что, как и для че-

го. Подметил Крамской в работе его и смелость и ловкость. «Верно, — думалось Ивану Николаевичу, — это единственный у нас человек, который знает пейзаж ученым образом». Не здесь ли, в лесу, на этюдах, родится у Крамского известная фраза: «Шишкин — верстовой столб в развитии русского пейзажа, это человек-школа»?

«Шишкин все молодеет, т. е. растет — серьезно, — напишет 20 августа Крамской Васильеву. — И знаете, хороший признак, он уже начинает картину прямо с пятен и тона. Это Шишкин-то! Каково — это недаром, ей-богу. А уже этюды, я Вам скажу, — просто хоть куда, и, как я писал Вам, совершенствуется в колорите».

В один из дней Иван Иванович возвратился с лесного болота, из дебрей непроходимых, с этюдом, изображающим поседевшую от старости ель. Хмуро и сыро кругом. Ни луча солнца, ни даже клочка неба не видно в лесной глуши. Тишина. Могучее древнее дерево, густой мох и чахлые березки рядом. Контраст этот, подмеченный в жизни, чем-то задел Шишкина, и скоро он приступает к картине «Лесная глушь». Время и глухая чащоба, жизнь ее, жизнь старого, могучего дерева и молодого, чахлого подчас — вот что интересовало теперь Ивана Ивановича. Работалось ему так, что и времени не замечал.

Крамской, наблюдая за ним, писал Ф. Васильеву: «О Шишкине сообщу Вам, что он, право, молодец, т. е. пишет хорошие картины... он, наконец, смекнул, что значит писать — судите, мажет одно место до пота лица, — тон, тон и тон почуял. Когда это было с ним? Ведь прежде, бывало, дописал все, выписал, доработал, значит, и хорошо. А теперь — нет: раз двадцать помажет то одним, то другим, потом опять тем же и т. д. Проснулся. Пейзаж отгрохал в 3 аршина, 1 вершок внутренность (болотистая) леса, да еще сумерки, какое-то серое чудовище, а ничего — хорошо...»

На картину смотришь неотрывно. Не так ли все и в человеческой жизни, как в лесной чащобе? Сильный и слабый — все переходит в тлен.

Не сказались ли здесь мысли об отце и неожиданная смерть младшего брата жены — Александра?

Работал над ней вплоть до отправления на выставку. В канун отправки, вечером, зашел в мастерскую еще раз взглянуть на нее, и неожиданно вся левая верхняя часть показалась ему неудачной. Соскоблил, недолго думая, мастихином непонравившееся место и при свете лампы за несколько часов написал все заново.

«Ты очень обрадовал нас, приславши картину на выставку, она положительно окрасила нашу выставку. Твоя картина «Лесная глушь» — это удивительная, чудная картина, она вызывает общий восторг и дала серьезный тон нашей выставке», — писал В. Маковский Ивану Ивановичу.

Прогремел гром и в другой, и в третий раз. Умер отец, умер маленький Володя Шишкин. Евгения Александровна почернела лицом, глаза впали. Шишкин нашел силы работать...

За картину «Лесная глушь» в феврале 1873 года Иван Иванович получил звание профессора. На том настоял ректор Академии художеств Ф. И. Иордан.

Шишкин устал и измучился. И от картин, и от последних событий. Жаль было до глубины души умершего сына, жаль отца, страх охватывал от недоброго нового предчувствия.

И. Н. Крамской, чтобы как-то отвлечь Шишкина от черных мыслей, начал с марта поговаривать о поиске дачи на лето.

Частый гость у Шишкиных Константин Савицкий. Не повезло этому умнице, рассуждающему всегда здраво. Он, первым из студентов Академии художеств, был исключен из нее за участие во Второй передвижной выставке. Не без раздражения посматривало начальство на близость к Товариществу Репина, Антокольского, Савицкого. Последнему не повезло более всех. Савицкий вступил в члены Товарищества передвижных выставок. Закончив картину «Ремонтные работы на железной дороге», которую купит П. М. Третьяков, он уедет в Париж, где проживет несколько лет в обществе И. Е. Репина и В. Д. Поленова.

К. А. Савицкий — литвин из Белостока — пришелся по душе Ивану Ивановичу. Общительный человек, любитель длительных прогулок, практически знающий жизнь, он умел слушать, умел и говорить сам. Было много общего в них, и потому оба потянулись друг к другу. Дело кончилось тем, что родившегося сына — случилось это 19 мая — Иван Иванович назвал Константином.

К. А. Савицкий и С. Н. Крамская были восприемниками младенца.

В мае же Иван Иванович подготовил и сам напечатал первый альбом офортов, который тут же разошелся.

На лето Шишкины, Крамские с детьми и Савицкий уехали на станцию Козловка-Засека под Тулой, на дачу. Дом в 16 комнат был в полутора верстах от станции. Рядом мельница, ближайшая деревня в двух верстах. Лес, купание, ягодные места, столетние дубы... Крамской ожидал приезда на дачу Ф. Васильева и В. Васнецова, но они не приехали.

Пришло тревожное известие из Ялты. Врачи дали знать, что дни Федора Васильева сочтены. На выздоровление не было надежды. Было грустно всем. Сознавали, из жизни уходит гениальный мальчик. Дабы уплатить П. М. Третьякову его долги, Шишкин и Крамской предложили Павлу Михайловичу свои работы. Крамской предложил в уплату долга Васильева написать портрет Л. Н. Толстого, который жил неподалеку от художников, в пяти верстах, в своем имении.

До сентября напряженно трудились. Шишкин писал этюды, Савицкий начал своих «Землекопов», Крамской ездил к Толстому.

Здесь же, в Козловке-Засеке Иваном Николаевичем был написан портрет Ивана Ивановича Шишкина. Как отметит один из будущих рецензентов, он изображен в тот момент, «когда Шишкин более всего бывает Шишкиным, известным большей половине образованной России». Это лучший портрет Шишкина. Оперевшись на палку, всматривается он в окружающие дали. В болотных сапогах, на голове шляпа, видавшая виды, в руке папироска и этюдник через плечо. Таким видели его жители окрестных деревень. Кто хоть раз увидит этот портрет, вряд ли забудет его.

Не под влиянием ли работ Шишкина Крамской станет сожалеть, что не пейзажист?

В середине лета начались дожди. Похолодало через несколько дней. Земля покрылась густым туманом. Дали знать о себе ветры.

Солнечные дни стали редки. В первых числах сентября Шишкины возвратились в Петербург. Иван Иванович, как и всегда, привез «пуд» этюдов и набросков. Для него не было непогоды.

Не умеючи быть без дела, начал было картину, но пришла телеграмма из Ялты о смерти Федора Александровича Васильева, и жизненный порядок нарушился.

В ноябре приехала теща, привезла вещи Федора. Плакала, глядя на них. Рыдала Евгения, обняв мать за плечи. Зрелище было ужасным.

«Шишкин три месяца уже кусает ногти и только. Жена его хворает по-старому», — сообщал И. Н. Крамской И. Е. Репину в ноябре месяце 1873 года.

Надо было хлопотать о посмертной выставке Васильева, разбирать его картины.

Глава одиннадцатая
РОДНИК В ЛЕСУ

Год выпал тяжелый. Настолько тяжелый, что и сказать трудно. В марте умерла Евгения Александровна, «милая Женька», оставив Шишкина с двумя детьми — дочерью Лидией и сыном Константином (тот тоже вскоре умрет).

14 марта 1874 года И. Н. Крамской напишет К. А. Савицкому: «Е. А. Шишкина приказала долго жить. Умерла в прошлую среду, в ночь на четверг с 5 на 6 марта. В субботу мы ее провожали. Скоро. Скорее, чем я думал. Но ведь это ожидаемое».

Возвратясь с кладбища, Иван Иванович был сам не свой. Не находил места, не слышал, что говорят близкие. Поглядывал отрешенно в угол комнаты, и, переживая случившееся, думал о том, как несправедлива жизнь. Несправедлива, ибо нельзя, невозможно такое — отнимать у человека ближнего. Было не по себе.

Боль утраты душила его. Утешения искал в вине. Опьянев, становился злым. Не знал удержу. Ходил на кладбище. Меж оград, по скользкой дороге добирался до могилы. Мало кто видел его плачущим. Но здесь он не сдерживал себя. Жену любил страстно.

Резок был со всеми. Накричал как-то на Шпеера — экспонента выставки, высказав, что только тем такие и занимаются, что шляются и даром пользуются льготами.

В печати принялись чернить В. Верещагина. Обвиняли в отсутствии патриотизма, глумлении над армией, ее победами. В. Верещагин выставил свои картины, изображающие эпизоды Хивинского похода, в доме министерства внутренних дел. Дотравили до того, что художник сжег три работы, будучи в сильном гневе.

Через несколько дней газеты опубликовали заявление В. Верещагина. Он отказывался от звания профессора Академии художеств. Написал заявление в запале, но Тютрюмов, бывший сотоварищ по Академии, через те же

газеты по-своему истолковал поступок В. В. Верещагина и объявил, что получать звание профессора художнику стыдно потому, что-де не он один писал свои картины, и упомянул немецких художников, труд которых якобы использовал В. В. Верещагин.

Мюнхенское художественное товарищество прислало официальный протест.

Крамской, Мясоедов, Ге, Шишкин и другие напечатали заявление в защиту В. В. Верещагина.

Подписав письмо, Иван Иванович замкнулся. Теща переехала к нему и не говорила ни слова.

Приходили друзья юности. Сочувствовали. За стаканом вина вспоминали прошлое. Встречи напоминали скорее попойки. Доходило до ссор.

И. Н. Крамского Иван Иванович сторонился. Даже чурался. Впрочем, и у Крамского настроение было не из веселых. Мучило сознание, что Товарищество оканчивает жизнь свою, так и не высказав главного.

«Ге погиб, оба Клодта так и останутся маленькими. Савицкий — проблема, и большая проблема, Куинджи плохо знает натуру, — думалось Ивану Николаевичу. — На кого же положиться? Из новых лишь одно имя достойно упоминания — Виктор Михайлович Васнецов». А из старых? Неужто нет никого? А Шишкин? Разве только что он. Но и он не работает. И трогать его теперь невозможно. Ждать надо.

* * *

Среди знакомых, приходивших к Шишкину посидеть за рюмкой, в основном были неудавшиеся художники. Спившиеся, опустившиеся или просто не нашедшие себе места в жизни.

За рюмкой бранили синодальное управление, ибо с его ведома закрывались церкви и сокращались приходы, что возбуждало в народе ропот и недовольство.

— Немцы знают, что делать в России, — говорил кто-нибудь из давних приятелей Ивана Ивановича. — Иноверцам облегчают свободное удовлетворение духовных потребностей, заводят для них церкви и мечети, да в каких количествах, а народ русский лишают храмов, отцами и дедами созданных. А религия... без религии и нас, русских, не станет.

— Вот здесь ты прав, — соглашался Шишкин. — Прав, сто раз прав.

— А как же? Без веры народ — ничто.

— И то тебе скажу, Костя Савицкий письмо прислал, из Парижа, — говорил Иван Иванович, — пишет, не художничество и не художники у них там на выставках, а торгаши. Всякий норовит поразить внешним шиком, блеснуть абы чем, а все потому, что без веры живут. А кто без веры, у того, известное дело, нахальство на первом месте. Коммерсанты тон у них задают. Доживем, и у нас то же будет.

— Одна ты у нас гордость, Иван Иванович. Художник ты первостатейный.

— Не льсти. Надо — пей. Но не льсти. Не терплю...

На лето с детьми и Романом Васильевым Иван Иванович выехал на дачу в Старо-Сиверское. Места нетронутые, дикие. Жизнь деревенская. Но и там не работалось. И там искал приятелей, и они находились. За лето ни разу не взялся за краски. Лишь несколько раз выбирался в лес с фотоаппаратом, учился фотографировать.

«Иван Иванович живет верстах в трех и какой-то стал шероховатый, окружен своей прежней компанией, занят фотографией, учится, снимает, а этюда и картины ни одной, — писал одному из своих знакомых И. Н. Крамской. — Не знаю, что будет дальше, а теперь пока не особенно весело. Впрочем, это натура крепкая; быть может, ничего».

...Приходил очередной гость, и опять доставалось вино. Поминали Евгению Александровну, Володю, Ивана Васильевича, Федора Александровича, зажигали лампу. Пили здоровье его высочества наследника Николая Александровича, родившегося 6 мая 1874 года. Пили за Верещагина...

— Сатана, сатана в России, — говорил гость, прикуривая от лампы. — Намедни читал в газетах сенатский процесс о девяти преступниках. Девять, слышь, Иван Иванович, девять их. Гамов, Сидорацкий, Циммерман, Ободовская... Дальше не помню. Россию задумали переделать. А на чей лад? Кто ее переделывает-то? Кому мы не по нутру? А вот ты кумекай. Откуда они, эти революционеры, и на чьи деньги дела свои творят? Вот где корень-то.

Бывали дни, Иван Иванович хотел одиночества. Сказывалась привычка работать. Направлялся в лес. Бродил, вздыхал. Приглядывался к местам.

Раз-другой брался за карандаш и на какое-то время забывался. (Позже скажет: «Я считаю летние этюды и рисунки настолько обязательными для всех, что только болезнь разве может служить оправданием в отсутствии летних работ».)

Частенько, задумавшись, уходил в такие дебри, что с трудом находил дорогу обратно...

Был в Петербурге дом, в который всякий раз входил он с легким сердцем. Жил в доме том большой приятель, земляк, писатель, редактор «Нивы» Дмитрий Иванович Стахеев. Шишкину он всегда сердечно радовался. Уютно было в квартире у Стахеевых. Обои беленькие. По стенам развешаны недурные копии картин из Кушелевской галереи, сделанные женой Стахеева. А в большой комнате висела картина Ивана Ивановича, рожь и дубы, в воспоминание об одной летней поездке.

Дмитрий Иванович, как и батюшка его, Иван Иванович, был чужд тщеславия, никоим образом не подделывался ни под какие направления, на все имел собственное суждение.

Любил вспоминать прошлое, и это роднило его с Шишкиным.

Жизнь у Дмитрия Ивановича сложилась несладкая. В четырнадцать лет отправил его батюшка по торговым делам в Томск. По проторенной дороге намеревался провести наследника. Горяч был сынок, сообразителен. «Память у него хороша, хороша память — деловой парень выйдет», — говорил о нем отец. И мог ли думать батюшка, что сын круто изменит судьбу свою, и вырастет из него писатель крупный, талантливый и необыкновенно серьезный.

В шестнадцать лет Стахеев-младший сотнями тысяч рублей ворочал, торгуя в Кяхте с Китаем чаем и ведя крупное чайное дело. Но не лежала к делу купеческому душа, хотелось другой жизни. Отец сына не понял, да и не хотел понимать, произошел разрыв между ними. К купеческому же быту не было желания возвращаться у Стахеева-младшего — «вольнодумца», как прозывали его отныне дома. Отправился он с женой на Амур, занялся хлебопашеством, но неожиданное наводнение уничтожило все труды его. Принялся лить свечи и кормился, продавая их фунтами в Благовещенске на Амуре. Еще в Кяхте написал статью о кяхтинской торговле и отправил ее в «Петербургские ведомости». Статью приметили в торговом мире, толково писал автор о лжи в торговых отношениях

между русскими и китайскими купцами. Опубликованы были в петербургских журналах и беллетристические очерки Стахеева. Он решил попытать счастья на литературном поприще и отправился в Петербург.

— Бестолковый он, бестолковый! На какую дорогу сунулся, — пропадет понапрасну, будет собакам хвосты рубить. Помогать я ему не буду, да и вам строго-настрого запрещаю помогать Дмитрию. Кто ему будет помогать — тот враг мой, — говорил в семье Иван Иванович Стахеев.

Надо сказать, Дмитрий Иванович ни разу не обратился за помощью к родственникам. В жизни дорогу пробивал себе сам.

До религиозности священно относящийся к избранному им труду, он снискал уважение и дружбу таких людей, как Н. Н. Страхов, историк Бестужев-Рюмин, А. Н. Бычков, А. Майков...

— Вы не имеете права умирать, — не раз говорил ему А. Н. Майков, — вас земля не примет, пока вы не напишете своей биографии: это не только будет интересно, это будет поучительно и в великой степени полезно для молодого поколения, которое из нее увидит, что может сделать воля, хорошо направленная.

Не уступая ли настояниям друзей, Д. И. Стахеев написал свои первые книги «На память многим. Рассказы из жизни в России, Сибири и на Амуре» и «Глухие места», в коих поведал о странствиях по родному краю, встречах с самобытными интересными людьми? (О книге «Глухие места», вышедшей в свет в 1868 году, мы упоминали ранее). Как писатель Д. И. Стахеев пользовался успехом у публики, но критики, словно сговорившись, обходили его вниманием. Лишь Н. Н. Страхов посвятил несколько серьезных разборов его произведениям. Он же говорил: «Время Стахеева еще придет, его не умеют достачно ценить, и вырастет поколение читателей, которое отдаст дань уважения его самостоятельному крупному таланту».

С Н. Н. Страховым проживет Д. И. Стахеев на одной квартире 18 лет.

Словоохотливый в жизни человек, жизнерадостный, веселый, Дмитрий Иванович был одним из интереснейших собеседников. С ним отдыхалось душой.

Шишкина он усаживал в глубокое кресло, просил принести самовар, и начинался разговор о литературных новостях, художниках, их работах, последних событиях, новых книгах.

— Видали вы, Иван Иванович, книги в коридоре, в прихожей, на площадке? — спрашивал Д. И. Стахеев.

— Растут на глазах, — отвечал Шишкин.

— Это все Страхов Николай Николаевич. Конченый человек! Каждый день тащит домой по три, по шесть книг. У него три комнаты сплошь ими завалены. Тысяч двадцать, сам говорит. Но интереснейший человек. Сочинитель хороший. Его Лев Николаевич Толстой очень любит. Переписываются они, — Дмитрий Иванович наливал чай в фарфоровую чашку и, улыбаясь, добавлял: — Только книги Николая Николаевича съедят. Они его из его же квартиры вытеснили. В коридор их выперло, в прихожую, на лестницу, кончится тем, что он будет продавать их с пуда, — и добродушно смеялся. Отпив из блюдечка, продолжал: — Слушать его любопытно. Мыслит глубоко. За Россию болеет. Недавно принялся горячо говорить о Мельникове-Печерском. Хвалил роман «В лесах». Рекомендовал прочесть его. Я прочитал. По вкусу пришелся. Прекрасные картины русской жизни и природы. Елабугу живо вспомнил.

— А я иной раз аж запахи ее чувствую, — говорил Шишкин.

— Кулики мы с вами.

— Не без того, — вздыхал Иван Иванович. — Только ежели б не вспоминали ее, не жили б. Так иной раз думается...

Били напольные часы. Мирно, уютно.

— Помню, мальчонкой, — говорил Дмитрий Иванович, — заберусь, бывало, к бабушке в комнату и слушаю длинные рассказы о жизни в старые годы. Бабушка за прялкой, пряжу прядет. Лучина потрескивает. На стенах образа, лампады, виды монастырей, портреты духовных лиц. Говорит она (голос и по сию пору помню): «Вот где теперь отец-то ваш выстроил хоромины свои большущие, тут в прежние годы стоял домик в пять окошечек, в нем-то мы и жили со стариком Захаром Кириллычем, вашим дедушкой. Торговал он шляпами и сапогами, а я была взята из Битков от отца Петра, тятинька-то мой в Битках-то был попом. Так-тося, добры мои! Не простова я роду-то — духовного... В те поры, бывало, помню, в Покров-то и снег большущий покрывал землю-то матушку, и река наша широкая замерзала, а теперь вот уж и Рождественской пост к половине подходит, а только, только снежку-то еще Бог не дает. Так-тося. Время-то переменчиво, о-хо-хо...

Ветер гулял по ночным петербургским улицам, поднимая снег и забрасывая его в подъезды. Бил в темные окна и не мог достать до окна шестого этажа, где в одном из домов все еще горел свет...

Привычка к труду победила. Зиму Иван Иванович работал напряженно, а на четвертой выставке Товарищества передвижных художественных выставок появились его картины «Родник в сосновом лесу» и «Первый снег».

Бывает же, грязь на улице, слякотно, ни пройти ни проехать, и тошно, тошно на душе. А выпадет снег, прикроет черноту, и чисто окрест становится, и на душе светло. Не сразу и скажешь, была ли она — чернота.

О картине же «Родник в сосновом лесу» журнал «Пчела» писал: «...Если вы, читатель, утомились среди этой житейской, человеческой обстановки, виденной вами на картинах, мимо которых мы с вами прошли, то можете освежиться впечатлением лесных пейзажей И. И. Шишкина. Вот первый — «Родник...». На картине чувствуется жаркий день; ряды высоких сосен образуют превосходную перспективу; внизу виден бревенчатый сруб родника; из него сочится вода и разливается широким мелким ручьем, в котором плещется деревенская ребятежь...»

Глава двенадцатая
РОЖЬ

В конце 1873 года в Петербург из-за границы, из научной командировки, вернулся молодой ученый — историк искусств Адриан Викторович Прахов. За четыре года пребывания в Германии, Франции, Англии и Италии он основательно изучил памятники античной скульптуры и архитектуры, живопись итальянского Возрождения и работы современных европейских мастеров. Первая лекция, читанная А. В. Праховым в университете, привлекла к нему внимание молодых художников, находившихся среди студентов и публики. Говорил он о новых течениях в живописном и скульптурном искусстве Запада. Высказывал мнения о работах современных мастеров и сравнивал их с произведениями мастеров старых школ. Развивал мысль о важности выявления общественных взглядов на искусство и понимания его задач. Коснулся темы национального в искусстве.

Неодобрительная заметка В. В. Стасова об этом вы-

ступлении А. В. Прахова, опубликованная в «Санкт-Петербургских новостях», неожиданно вызвала обратную реакцию, о молодом доценте оживленно заговорили в художественной среде.

М. О. Микешин, издававший журнал «Пчела», пригласил А. В. Прахова редактировать художественный отдел журнала. С приходом Адриана Викторовича журнал как бы обрел новое дыхание. А. В. Прахов сделал ставку на талантливую молодежь, и работа закипела. Сам он периодически печатал критические обзоры художественных выставок и статьи о русских художниках.

Работы Ивана Ивановича Шишкина привлекли его внимание, и он не однажды тепло отзывался о них в печати. В одной из своих статей он, в частности, писал: «Настоящая краса всероссийского пейзажа, исполинские, почти девственные леса позднее завоевывают себе почетное место в русском искусстве благодаря классической деятельности И. И. Шишкина. Он первый отнесся с такой искренней и глубокой любовью и первый сумел воспроизвести русский лес с таким блестящим, образцовым совершенством по крайней мере со стороны рисунка. «Лесная глушь» и в особенности «Сосновый бор» с парою медведей под сосной с бортью останутся навсегда славным памятником этой деятельности, глубоко народной, здоровой, серьезной в суровой, как сама северная природа. Шишкин не увлекался миловидными, так сказать, жанровыми мотивами природы, где суровость пейзажа смягчается присутствием домашних животных или человека, он не увлекается также случайностью световых эффектов, на что пошел бы человек, знающий лес лишь с налету, нет, он, как истый сын дебрей русского Севера, влюблен в эту непроходимую суровую глушь, в эти сосны и ели, тянущиеся до небес, в глухие дикие залежи исполинских дерев, поверженных страшными стихийными бурями; он влюблен во все своеобразие каждого дерева, каждого куста, каждой травки, и как любящий сын, дорожащий каждою морщиною на лице матери, он с сыновнею преданностью, со всею суровостью глубокой искренней любви передает в этой дорогой ему стихии лесов все, все до последней мелочи, с уменьем истинно классическим».

С легкой руки А. В. Прахова Иван Иванович принялся активно сотрудничать в журнале. В то время в среде художников витала мысль о создании дешевого издания для народа репродукций с картин лучших современных русских художников. Требовались такие репродукции и в

художественном журнале «Пчела». Существовавшая техника репродукции — гравюра на дереве — частенько искажала до неузнаваемости оригинал.

Вскоре на страницах «Пчелы» появились «выпуклые офорты» Ивана Ивановича Шишкина, о которых заговорили «как о новом слове в гравировальном искусстве». Отныне оттиски с автоцинкографии шли к читателю массовыми тиражами. Иван Иванович разработал новый в России способ гравирования — так называемый рельефный штрих, или «выпуклый офорт», позволяющий печатать репродукции одновременно с текстом.

Через А. В. Прахова И. И. Шишкин познакомился с В. Д. Поленовым и его сестрой, жаждущими изучить офорт. Пораженный превосходными «выпуклыми офортами», приходил к нему учиться «травле» художник В. М. Максимов. Эти молодые люди были частыми гостями журфиксов, устраиваемых А. В. Праховым. Народу на них собиралось множество, притом, как вспоминал сын Адриана Викторовича, самых разнообразных профессий и общественного положения.

Здесь же коротко сошелся Иван Иванович с земляком, талантливым художником и вдумчивым человеком Виктором Михайловичем Васнецовым. Это он в одном из писем к Адриану Прахову напишет: «Спасибо тебе за присланный твой доклад о школах. Рад, что ты так ярко и обоснованно признаешь основой развития искусства национальную почву. Без народной, природной почвы никакого искусства нет!»

— Мы только тогда внесем свою лепту в сокровищницу всемирного искусства, когда все силы свои устремим на развитие своего родного искусства, то есть когда с возможным для нас совершенством и полнотой изобразим и выразим красоту, мощь и смысл наших родных образов — нашей русской природы и человека, нашей настоящей жизни, нашего прошлого, наши грезы, мечты, нашу веру, и сумеем в своем истинно национальном отразить — вечное, непреходящее, — говорил среди близких друзей Виктор Михайлович. Эту же мысль он выскажет однажды и В. В. Стасову в беседе.

В. М. Васнецова стесняло большое общество, и только в узком кругу близких людей он мог, как, впрочем, и Шишкин, проводить свои идеи, говорить о них раскованно.

Выросший в семье священника, хорошо знал русскую историю, тяготел к народному фольклору, народным пес-

ням. Свято относился к родителям. Любил рассказывать, как в детские годы играл в бабки и городки с крестьянскими ребятишками, ездил в ночное. А как близок и понятен становился Шишкину В. М. Васнецов, когда принимался с увлечением говорить о том, как в их селе в престольный праздник устраивалась ярмарка, на которую приезжали купцы из дальних мест, сооружались около приходской церкви палатки, в которых торговали завезенным товаром...

Вятскую духовную семинарию Виктор Михайлович не закончил, но был благочестив и много сделал для русской православной церкви, верующих и русского искусства, расписывая Владимирский собор в Киеве.

Через много лет, 30 ноября 1896 года, на склоне своей жизни, напишет ему Иван Иванович: «Я горжусь Вами как кровным русским великим художником и радуюсь за Вас искренне как товарищ по искусству и, пожалуй, как земляк».

Стоит привести здесь дневниковую запись, сделанную В. М. Васнецовым 15 июля 1909 года в Ваньково-Рябове. (Запись, правда, датируется днем, далеким от описываемых здесь событий, но надо иметь также в виду, что к главным мыслям идут долгие годы и рассуждают о важных вещах в продолжение всей жизни.) Не эти ли мысли характеризуют взгляд Виктора Михайловича Васнецова на состояние духа русского общества с конца семидесятых годов прошлого столетия и кончая первым десятилетием века нынешнего?

«Высший пункт, определяющий добро и зло человеческого мира и человека, есть его дух...

В вещах и существах физического мира и порядка нарушения законов и норм их бытия ведут к разрушению их и смерти; так и нарушение законов и норм (заповедей) духовного бытия ведет к принижению, искажению, разрушению и смерти духа...

Если на человека нападает человек и будет угрожать жизни его — как поступать? Следует ли защищаться до последнего, т. е. не щадить жизни и нападающего? Если нападет племя на племя? народ на народ? Полагать нужно, что войны не избежать и защищать свое племя и народ следует до последнего. Такова страшная необходимость в мире физическом, животном. Не было бы нападающих, не явилось бы и защищающихся; не было бы борьбы со всеми ужасами. Если в животном мире борьба неизбежна, то в мире человеческом должно было ее избежать.

Дух «добра» в человеке к тому бы и привел, и не явилось бы нужды нападать и защищать, но, увы, в человеке восторжествовал дух зла, нарушена духовная заповедь Бога, вопреки страшной угрозе смерти, и вошла в мир человеческий смерть. Первое преступление против жизни брата (даже кровного) совершено было не по нужде, не в защите своей жизни, а из зависти, греха духовного. Нарушена заповедь — закон жизни духовной человека, и открылась перед человеком область зла: борьбы, разрушения и смерти. Как законы физические непреложны для мира материального, животного, так законы духа непреложны, нарушение поведет к искажению и разрушению и гибели. Разум не оправдывает только веру в Бога, но требует Бога, и Бог есть факт; как для моего сознания мое личное бытие и бытие окружающего меня мира есть живой, непреложный факт...

...человек с одной своей наукой, без Бога и Христа, неудержимо стремится к идеалу человека — культурного зверя, ибо если человек не носит в себе образа и подобия Божия, то, конечно, он зверь — высший зверь — образ и подобие зверино.

Так и Апокалипсис говорит, и говорит непреложную истину, самую научную — царство антихриста есть царство звериное! Вся история человечества есть борьба человека-зверя с человеком духовным, и там, где чувствовалась победа человека над зверем, — там светил свет Христа!

...Если бы в поиск человека возвысился духовный человек, тогда было бы торжество добра; но трудно сомневаться, что восторжествует снова в человеке культурный зверь: и не тут-то начало конца».

Тема антихриста, бесов занимала умы лучших людей России, которые понимали, сколь опасно проникновение бесов в духовную жизнь России. Напомним, именно в это время работает Ф. М. Достоевский над романом «Братья Карамазовы», мучительно размышляя о судьбе русского человека в пору торжества антихриста...

«Вообще в современной цивилизации есть какой-то глубокий внутренний порок», — заметит М. О. Меньшиков по прочтении следующего абзаца книги Данилевского «Россия и Запад»: «Европейские народы прошли через горнило феодальной формы зависимости и не утратили в нем ни своего нравственного достоинства, ни сознания своих прав; но в течение своего тяжелого развития они утратили одно из необходимых условий, при котором од-

ном гражданская свобода может и должна заменить племенную волю: утратили самую почву свободы — землю, на которой живут. Эту утрату стараются заменить всевозможными паллиативами: придумали даже нелепое право на труд, который неизвестно чем бы оплачивался, — чтобы не назвать страшного слова права на землю, которое, впрочем, также было громко произносимо. Ежели и это требование должно быть удовлетворено, если и этот след завоевания должен быть изглажен, то все основы общественности должны подвергнуться такому потрясению, которое едва ли может пережить сама цивилизация, сама культура, имеющая подвергнуться такой отчаянной операции, — а подвергнуться ей должна она неминуемо».

Говорилось много в обществе и о страшной угрозе, идущей с Запада, — пролетариате — явлении, сопутствующим вырождению цивилизации, как о том утверждали руководители молодежи Ткачев и Лавров.

Надо полагать, рассуждалось о том и в доме у А. В. Прахова, ибо, по замечанию одной из его современниц, «художественный мир того времени был самым живым и содержательным».

«Впечатления петербургские тяжелы и безотрадны, — напишет в дневнике другой современник. — Добрые впечатления приходят лишь изнутри России, откуда-нибудь из деревни, из глуши. Там еще цел родник, от которого дышит еще свежестью: оттуда, а не отсюда наше спасение. Там есть люди с русскою душой, делающие доброе дело с верою и надеждою...»

Как точны эти слова в отношении таких художников, как В. М. Васнецов, В. М. Максимов, И. И. Шишкин. Как верны они будут и в отношении к Д. И. Менделееву...

С Д. И. Менделеевым Иван Иванович был дружен. Частенько бывал у него дома. Подолгу длились их беседы.

— Наша земля представляет великий соблазн для окружающих нас народов, — говорил Дмитрий Иванович, и Шишкин не мог не согласиться с ним.

Менделеев серьезно увлекался экономикой, и именно он создаст учение о промышленности и теории таможенного тарифа («святая святых экономической политики любого государства»).

— Какой я химик, я политэконом, — утверждал Дмитрий Иванович. — Сейчас важно понять, какая опасность идет с Запада для России. Как важно осознать, что есть опасность удушения российской промышленности иностранными конкурентами! Единения нам не хватает, а сила наша в единстве, воинстве, благодушной семейственности, умножающей прирост народа, да в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбии.

В. Тищенко вспоминал: «Дочитав свой последний курс, Дмитрий Иванович заперся дома, никуда не выходил, никого не принимал. Потом стали ходить слухи, что он начал ездить к министрам. Все были очень заинтересованы: что он затевает? На третий день пасхи вечером он зовет меня к себе. Застаю его на обычном месте, на диване перед маленьким столиком, на котором он обычно писал. По другую сторону столика сидит художник И. И. Шишкин. На столике лист бумаги, вкривь и вкось исписанный отдельными словами.

Д. И. встретил меня очень радушно, познакомил с И. И. Шишкиным и говорит: «Задумал издавать большую газету. А вас, конечно, в редакцию». Я увидел, что он в хорошем настроении, и отказываться не стал.

«Вот мы с И. И. придумываем, какое название дать газете. Хотел назвать «Русь», да ее уже Аксаков издавал; хорошее название «Основа», как «Основы химии», — оказалось, тоже была. «Порядок» — Стасюлевич издавал. Придумал название «Родина», а вот Иван Иванович вспомнил, что газету «Родина» начал издавать, кажется, Авсеенко, да Буренин, фельетонист «Нового времени», перекрестил ее в «Уродину» и провалил. Теперь придумал «Подъем», этого еще не было.

Вот ради разрешения на издание газеты он и ездил по министрам. Однако Делянов и тут ему помешал».

Дмитрий Иванович ненавидел финансовую среду и тяготел более к среде художественной. Среди художников чувствовал себя спокойно, с интересом слушал их, посещал мастерские, покупал картины.

Знаменитые менделеевские «среды» посещали Крамской, Репин, Ярошенко, Мясоедов, Савицкий, Васнецов, Суриков, Шишкин, Куинджи. Они были их завсегдатаями. Из профессоров университета бывали на «средах» А. Н. Бекетов, А. Иностранцев, Меншуткин, Петрушевский. Бывала и молодежь.

Гости засиживались до глубокой ночи. Гул голосов, веселые взрывы смеха доносились из залы. Велись на «средах» деловые беседы, частенько возникали споры, тут же разрешались серьезные вопросы, беседы серьезные перемежались с беседами веселыми, остроумными. Тут всякий чувствовал себя свободно. На «средах» собирались

люди разных направлений, но присутствие Дмитрия Ивановича усмиряло страсти. Да и характер хозяина был таков, что лишал всякой возможности отдавать дань людским слабостям — пересудам, сплетням. Веяло от него Русью, которую он любил.

Осенью 1877 года с нетерпением ждали новостей из Болгарии, где шла война с турками. Государь находился в армии. С ним же находился наследник.

Поругивали в обществе главное военное начальство, говорили о грубых, невежественных его ошибках. Особо доставалось великому князю Константину Николаевичу. И на «средах» передавались гневные слова К. П. Победоносцева, высказанные наследнику Александру Александровичу о неразберихе в армии, о негодных к военному делу великих князьях.

«А в общем управлении у нас давно вкоренилась эта язва — безответственность, соединенная с чиновничьим равнодушием к делу, — писал в это время К. П. Победоносцев адресату. — Все зажили спустя рукава, как будто всякое дело должно идти само собою, и начальники в той же мере, как распустились сами, распустили и всех подчиненных: как ублажают себя только удобствами жизни и окладами всякого рода, так поблажают тому же и в подчиненных. Нет, кажется, такого идиота и такого негодного человека, кто не мог бы целые годы благоденствовать в своей должности, в совершенном бездействии, не подвергаясь никакой ответственности и ни малейшему опасению потерять свое место. Все уже до того привыкли к этому положению, что всякое серьезное вмешательство в эту спячку считается каким-то нарушением прав».

«Очень уже стало нынче горько жить на свете русскому человеку с русским сердцем» — такое признание вырвалось у него в одном из писем.

В декабре русскими была взята Плевна. Русский солдат сказал свое слово. Стойкость его сделала свое дело.

Оживление охватило Петербург. Это была радость русских, ощутивших себя нацией. На улицах пели и кричали толпы народа. Пели «Боже, царя храни», плакали, обнимались. На Невском, у Гостиного двора, до двух ночи служились молебны. Все чувствовали себя единой семьей

Шишкин начинал работу над «Рожью». Писал ее на материале, привезенном из Елабуги летом. В родной город, — навестить мать ездил с дочерью. Много бродил и ездил по окрестностям. На Лекаревском поле долго любовался вековыми соснами, растущими среди спелой ржи.

Сосны помнил с детства, но теперь не мог оторвать взгляда от них. Чем-то поразило его увиденное. А может, память подсказывала, как однажды ехали они с папенькой и дядей в тарантасе по Лекаревскому тракту и увидели сосну, которую втроем обхватить не смогли.

Через двадцать лет он вернется к этой теме. Напишет картину «Близ Елабуги» (нынешнее ее местонахождение, увы! неизвестно). Изображена на ней будет зреющая рожь близ окраин соснового бора. На оборотной стороне подготовительного рисунка Иван Иванович напишет следующее: «Раздолье, простор, угодье, рожь, благодать, русское богатство». Слова весьма точно передают внутреннее отношение к увиденному.

Привезены им были из Елабуги и рисунки «Папоротники в лесу» и «Цветы в лесу».

Неожиданное письмо коллекционера Ханенко взбередило на какое-то время душу. Сообщал он, что у председателя Одесской судебной палаты А. А. Стадольского сохранился портрет Евгении Александровны Шишкиной работы Ивана Ивановича, который он купил на выставке. А. А. Стадольский надеялся выменять теперь портрет на один из последних пейзажей, написанных Шишкиным. Иван Иванович дал согласие на обмен. Горько, горько было смотреть на портрет милой Женьки. Горько было сообщить ей, что нет уже в живых и маленького Кости...

Кончив работать в мастерской, Шишкин ехал к Д. И. Менделееву. Хотелось на люди.

На вечерах у великого ученого будущая жена Дмитрия Ивановича Менделеева — Анна Ивановна впервые увидела Шишкина. Через много лет она напишет о впечатлении, оставленном художником: «Высокий, плечистый, с широкими скулами, маленькими глазами и ртом и целым лесом непокорных волос бороды и головы. Надо было написать его в лесу, «шишкинском» лесу, а не в поле, как написал его Крамской, лесной он человек. Вспоминая Ивана Ивановича, вижу всю его крупную фигуру, подробности его лица, помню даже его шапку, но не помню его разговора. Молчалив он не был, но ускользнуло от меня содержание его речей, разве только когда он говорил о технике живописи и бранил немцев...»

Таким вот и увидела его впервые в доме Дмитрия Ивановича подруга А. И. Менделеевой Ольга Антоновна Лагода, которой суждено было стать верной женой и другом Ивана Ивановича.

Красивая брюнетка, еще молодая (ей было около три-

дцати), талантливая, серьезная ученица Академии художеств, деликатная в обращении, обратила на себя внимание Ивана Ивановича. Знакомство кончилось тем, что Ольга Антоновна оставила Академию и принялась заниматься у Шишкина. И него появилась ученица, превзошедшая вскоре своими работами всех его других учеников.

Зиму, по его требованию, она писала и рисовала с фотографий, осваивая рисунок. Он работал над «Рожью». Летом Иван Иванович уехал на Валаам. Оттуда перебрался на Сиверскую. Трудился без устали. Ольга Антоновна поселилась также в Сиверской. Жили здесь и другие ученики Ивана Ивановича. Писали этюды, ревниво поглядывая друг на друга. Но вскоре все сошлись в одном: за Ольгой Антоновной им не угнаться. В ее рисунках угадывался мастер. Иван Иванович же говорил, что у нее после зимы явилась «музыка карандаша», которая не имела ничего себе подобного.

Внимательная к учителю, она одной из первых поздравила его с избранием кандидатом в члены правления Товарищества передвижных художественных выставок. Внимательна была к каждой новой его работе, будь то этюд, рисунок, эскиз, картина. И он ловил себя на мысли, что ему важны ее суждения.

Еще он понял, что хочет больше узнать о ней. И она рассказала об отце — Антоне Ивановиче, который в молодости был дружен с Т. Г. Шевченко и В. И. Штернбергом. Оба были частые гости в его доме.

— С детских лет помню портрет отца, написанный Шевченко, — говорила Ольга Антоновна. — Он висел в простенке между окнами. Батюшка мой — чиновник. Но любил живопись, дружил с художниками, и ему я должна быть благодарна за то, что привил любовь к искусству.

— Помяните мое слово, — басил Иван Иванович, — вам надлежит серьезно заняться пейзажем цветов и растений. У вас к тому душа лежит. Здесь вы добьетесь успехов, и немалых.

— Разве что с вашей помощью, — улыбаясь, отзывалась она.

Осенью, в октябре, он в веселом настроении отправился в Париж, на Всемирную выставку. С ним ехали Крамской, Литовченко, Иконников и Щербатов. Во Франции пробыли около месяца. Не однажды ходили в Лувр, посещали выставки современного искусства. Иван Иванович высоко ценил старую французскую школу пейзажа, тепло отзывался о Руссо, Коро, Добиньи, работы которых были близки ему по чувству и настроению в них. Относительно новой школы отзывался резко, говорил, что там почти не на чем отдохнуть.

В дороге и в Париже подшучивал, не уставая, над доверчивым Литовченко, с которым вечно случались какие-то истории.

«Рожь» на передвижной выставке 1878 года, по общему признанию, заняла первое место. Все признавали, что это крупнейшее событие в художественной жизни России.

Ольга Антоновна была согласна с этим суждением.

Глава тринадцатая
УЧЕНИКИ

Интерес к работам Ивана Ивановича Шишкина становился общероссийским. Журнал «Нива» намеревался дать портрет художника и сведения о его деятельности. К Шишкину тянулись молодые талантливые живописцы.

«Возьмите Шишкина. Это ли не учитель? — писал И. Н. Крамской П. М. Третьякову. — Вам, может быть, покажется это даже смешно, но я утверждаю, что Шишкин чудесный учитель. Он способен забрать 5, 6 штук молодежи, уехать с ними в деревню и ходить на этюды, т. е. работать с ними вместе. Ведь это только и нужно. 5, 6 человек! Это не шутка, когда подумаешь, что в 10 лет из Академии вырвется один, наполовину искалеченный».

Крамской писал письмо, видя, как внимательны к творчеству Шишкина молодые художники.

Нужна, нужна была школа. Русская школа. Это И. Н. Крамской чувствовал. Без нее, и это предвидел он, Товарищество передвижных художественных выставок неминуемо придет к гибели. Не потому ли все чаще взор его обращался к Академии художеств? Осознавал он, как, впрочем, и некоторые другие художники, что только школа, способствующая развитию молодых дарований, сможет содействовать развитию русского национального искусства.

И. И. Шишкин и И. Н. Крамской, оценив дарование семнадцатилетнего Андрея Шильдера, принялись ходатайствовать о выделении ему пособия (как пенсионеру) в

40 рублей в месяц, как талантливому художнику, для развития таланта.

Иван Иванович взял его под свое покровительство. С помощью Шишкина Шильдер овладел рисунком. Овладел до такой степени, что на дружеском вечере не стоило ему больших усилий набросать какой-нибудь сложный лесной мотив, вызывающий восхищение у собравшихся. Журналы заказывали ему рисунки пером и карандашом, которые пользовались популярностью у читателя. Шильдер выполнял их с блеском, играючи.

Популярность в какой-то степени навредит Шильдеру. Имея массу заказов и вечно испытывая нужду в деньгах, он не станет «выдерживать» картины, доводить их.

Добродушный, непрактичный в жизни человек, никому и ни в чем не отказывающий, не тратящий почти ничего на себя («Даже костюм у него был хуже, чем у других товарищей», — вспоминал Минченков), Шильдер, и зарабатывая много, постоянно нуждался и делал долги.

Любопытный штрих к портрету А. Н. Шильдера дает Д. Минченков в своих воспоминаниях.

«Случился у Шильдера огромный заказ. Написал панораму нефтяных промыслов для Нобеля. Заработал большие деньги, поехал за границу, и тут у него как будто все карманы порвались, деньги так и поплыли из них. Спохватился, когда ничего не осталось.

По возвращении он зовет Волкова похвастать перед ним своими заграничными приобретениями, ведет во двор дома и показывает:

— Вот, из самой Италии сюда привез.

Волков присел от удивления, глазам не верит: по двору ходит осел.

— Ну и удружил, — говорит Волков. — То есть как тебе сказать? Поехало вас за границу трое — ты, жена да дочь, а вернулись вот таких (показывает на осла) четверо. И на кой пес эту животину ты сюда припер?

Шильдер оправдывается:

— Дочь кататься на осле захотела.

А Волков:

— Да ты бы, Андрюша, хотя бы того... прежде с доктором насчет головы своей посоветовался».

Отношения между Андреем Николаевичем Шильдером и Ефимом Ефимовичем Волковым — учениками Шишкина, были самые дружественные. И в том, надо полагать, немалая заслуга была их учителя.

Е. Е. Волков происходил из бедной разночинской

семьи. А. Н. Шильдер, правда, тоже не из богачей: он родился в семье художника. Отец его — довольно известный в свое время живописец был автором «Искушения» — одной из двух первых картин, которые легли в основу Третьяковской галереи.

Кончив школу, Ефим Ефимович какое-то время служил чиновником в департаменте окладных соборов. Тягу к рисованию испытывал глубокую. Пришел в рисовальную школу Общества поощрения художеств и учился столь успешно, что за год одолел все ее четыре класса. Успехи Е. Е. Волкова в искусстве критика не без основания связывала с именем Шишкина.

Лев Николаевич Толстой, обходя как-то выставку передвижников, сказал недовольно спутникам: «Что это вы все браните Волкова, не нравится он вам? Он — как мужик: и голос у него корявый, и одет неказисто, а орет истинно здоровую песню, и с любовью, а вам бы только щеголя во фраке да арию с выкрутасами».

В Третьяковской галерее висит одно из лучших русских пейзажных полотен — картина Е. Е. Волкова «Первый снег». Сколько глубоких чувств пробуждает оно у русского человека. Воистину только сын своей земли мог написать ее!

Живая характеристика Ефима Ефимовича Волкова дана Д. Минченковым, к воспоминаниям которого мы вновь обратимся:

«Волков был неотеса, у него «было нутро», чувствовалось, что он переживает, любит природу, где-то далеко, далеко скрыта настоящая нота, но то, что он передает, не отделано по-настоящему, еще сыро, грубо, не щеголевато. Просто мужик в искусстве».

Но люди, соприкасавшиеся с природой, бродившие на охоте по болотам, опушкам леса, лугам, хотя бы случайно наблюдающие утренние, вечерние зори и не искушенные в тонкостях искусства, любили пейзажи Волкова. Они подпевали народной песне Волкова.

Был он высокий, худой, голова лысая, узкая бородка до пояса, усы такие длинные, что он мог заложить их за уши, длинные брови. Сюртук висел как на вешалке. Сырым и даже мало толковым казался Волков и в разговоре. Подойдет к столу, забарабанит костлявыми пальцами и заговорит, а о чем — не скоро поймешь.

«Ну да... оно, положим... нет, вот что я вам скажу... например, как к тому говорится...»

«Ефим Ефимович, скажи, кто ты такой есть?»

А Ефим: «То есть откуда произошел?.. Родители бедные, семья, помогать надо, поступил из средней школы в департамент окладных соборов. Ну, да как тебе сказать — и сам плохо работал, а тут еще помогать другому пришлось, который совсем ничего не делал, а только свистел.

— Кто же это свистел?

— Да все тот же Чайковский! Со мною сидел, лентяй, не записывает входящие, а знай — насвистывает! Ну, при сокращении штатов нас первыми с ним и выгнали. Свистун поступил в консерваторию, а я бродил вокруг Академии художеств, близко от дома, и поступил туда. А потом на конкурсе в Обществе поощрения получил премию за картину. Выбрали в члены передвижников, вот тут, конечно, оно того, лучше, то есть, как тебе сказать...»

Через двадцать лет, по рассказам Брюллова, Волков в его доме встретился с Чайковским. Тот сразу узнал Ефима Ефимовича:

— Это ты, Волков?

— А это ты, Чайковский?

Чайковский повис на тонкой шее пейзажиста Волкова, а тот автору «Онегина» прямо в ухо нескладным голосом запел: «Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни».

В мае 1879 года И. И. Шишкин с семьей и учениками Е. Е. Волковым и А. Н. Шильдером выехали на этюды в Крым. Побывали в Симферополе. В Ялте Иван Иванович посетил кладбище, на котором был похоронен Федор Александрович Васильев, зарисовал его могилу. Могила на взгорье. Далеко видно окрест. Внизу — море, солнечный, зеленый, даже чем-то сказочный город. Гудят пароходы. Катят по узким улочкам тарантасы с нарядной отдыхающей публикой. И воздух такой чистый и свежий. Отслужили панихиду и отправились по окрестностям...

Крым оказался живописным. Бродили по густым лесам, лазали на кручи, работали в монастыре Козьмы и Домлана. Впечатлений было предостаточно. Погода благоприятствовала, и этюдов написали множество. Из Алупки добирались до Гурзуфа как цыгане, в арбе. Возвратившись в Петербург, долго вспоминали поездку.

Ольга Антоновна внимательно слушала рассказчиков. Ей было тоже что показать. За лето она сделала массу рисунков и этюдов, и Иван Иванович с удовольствием

отметил, что она брала только тона, как он этого просил.

— Этюды ваши, Ольга Антоновна, полны задушевной прелести, — говорил Шильдер.

Ольга же Антоновна внимательно следила за выражением лица Ивана Ивановича и угадывала: он доволен.

— Верно передаете характер растительных форм, верно, — говорил он.

И она чувствовала, как радостно становилось у нее на душе.

Рисунки же ее привели требовательного Ивана Ивановича в восхищение. (В 1887 году, через шесть лет после смерти Ольги Антоновны, он издаст их альбомом).

Любопытно проследить за высказываниями Ивана Ивановича, запомнившимися ученикам.

— *В этюде не следует тягаться за картинностью, для этого служит эскиз*, — говорил он. — В нем должен быть тщательно передан кусок натуры, со всеми подробностями. Картина же должна быть полной иллюзией, а этого невозможно достигнуть без всестороннего изучения выбранных сюжетов.

И было еще одно — главное, что он требовал от учеников. Вспомним здесь слова, сказанные им П. И. Нерадовскому.

— Ну, вот, я тоже люблю архитектуру, — говорил Иван Иванович, услышав об увлечениях П. И. Нерадовского, — люблю жанр, люблю портреты, люблю... мало ли что я еще люблю, да вот заниматься этим не занимаюсь и не буду заниматься. А люблю я по-настоящему русский лес и только его пишу. Художнику нужно избрать одно, что ему больше всего полюбилось. И вам советую полюбить одно. Только тогда будете с успехом совершенствовать любимое. Разбрасываться никак нельзя.

Основой же всего Иван Иванович считал рисунок. С него начинал преподавание.

— Иван Иванович, а ведь знаете, чем вы поразили меня? — скажет однажды Ольга Антоновна. — Знанием цветов. Помните, в Сиверской однажды сорвала я цветок красный с липким стеблем и мелкими малиновыми цветочками, а вы и говорите: это дрема. Ну, как спать не будете, положите его под подушку и уснете. Как же долго я все это помнила.

Не сказала она в тот раз о другом, чутко уловленным ею — его сыновнем отношении к природе.

Летом, в Сиверской, то было. Созрела рожь в поле. Ее убрали, и снопы поставили в суслоны. Рано утром

крестьяне снимали с них верхние снопы, чтобы рожь сохла быстрее, а по вечерам, спасая ее от росы, надевали их вновь.

Однажды днем прогремел гром. Небо почернело, и скоро разразился ливень. Иван Иванович, развешивавший этюды в комнате, увидел дождь, выскочил на веранду и кинулся в поле.

— Куда вы? — закричала Ольга Антоновна.

— Суслоны закрывать. Бежимте вместе, — позвал он, шлепая босиком по мокрой траве. — Рожь намокнет!

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь...» Каждое утро и ежевечерне повторяемые слова молитвы не были для Ивана Ивановича простым ритуалом...

О важности рисунка говорил Иван Иванович и еще одному ученику — Н. Н. Хохрякову, к занятиям с которым приступил с зимы 1880 года. Хохряков был родом из Вятки. Привел его к Шишкину А. М. Васнецов. Представил как учителя, работающего в народных школах Вятской и Уфимской губернии. Н. Н. Хохряков кончил земское техническое училище, но имел тягу к искусству. Очень был привязан к родному краю, писал места, близкие сердцу.

«Когда он увидел мои жалкие опыты писания картин, — вспоминал позже Н. Н. Хохряков (в столице он так и не остался жить, а вернулся на родину. — *Л. А.*), — то раз сказал мне так: «Живопись Вам надо запереть в ящик, а ключ от ящика бросить в море. А вот с рисунком у Вас дело совсем иначе обстоит, рисунком Вы займитесь серьезно и работайте над ним. У вас будет мастерство, и известность, и средства, а уж тогда можно будет и живописью заняться...

У Ивана Ивановича я рисовал карандашом с его этюдов и фотографий. Написал один натюрморт. Вот этого мне и хотелось главным образом, но почему-то он предпочитал давать своим ученикам писать одним тоном с фотографии, на этом я сидел довольно долго».

Зиму Н. Н. Хохряков корпел над рисунком, а к лету осознавал, что видит многое иначе, гораздо глубже.

«Учеников зимой заставлял рисовать с хороших фотографий, иногда с волшебным фонарем», — вспоминала А. И. Менделеева.

«Вы писали три лета, как говорите, а зиму что делали? — спрашивал в письме к молодому художнику

С. А. Уткину Иван Иванович и замечал: — А в одну зиму разумной работы с фотографии можно учиться писать и воздух, то есть облака, и деревья на разных планах, и даль, и воду, ну, словом, все, что Вам нужно; тут можно незаметно изучить перспективу... и законы солнечного освещения, и пр.».

Если в зимнее время Иван Иванович частенько обращался к волшебному фонарю, ценя документальность фотографии, помогающей правильно видеть форму, и рисунок предмета, то в летнее время требовал непременной работы на природе, приучая видеть жизнь этого предмета, будь то вековая сосна или молодая мать-мачеха.

В рисунке природы не должно быть фальши. Это все одно, что сфальшивить в молитве, произнести чужие и чуждые ей слова. Так полагал Иван Иванович.

«Последователей Шишкина между нашими пейзажистами весьма много», — писал «Художественный журнал» в 1881 году.

Иван Иванович был внимателен ко всем, кто обращался к нему за помощью и советом. В Шишкине видели сильного объективного художника. «Он в большинстве своих произведений несколько сух и скуп в колорите, поэтическое настроение как будто бы чуждо его кисти. Но зато сколько правды и тонкого понимания в его изображениях леса! — отметит В. М. Михеев. — Надо долго всматриваться в его работы, чтобы почувствовать, как постепенно будто запах леса начинает отуманивать вашу голову и живая, — истинно живая индивидуальная жизнь сосен, елей, ржи — под развесистыми вершинами немногих деревьев — охватывает вас своей тщательно изученной правдой».

Как было не тянуться к этому человеку!

«Давно уж собирался я с Ильей Ефимовичем побывать у Шишкина, но все как-то вместе не удавалось, — писал в 1882—1883 годах И. С. Остроухов А. И. Мамонтову. — Шел я сегодня из Академии, проходя мимо дома, где живет он, мне пришла мысль, дай зайду один. Скажу, что так, мол, и так, хотел быть у Вас с Репиным, но до сих пор не пришлось, потому рискнул на авось представиться сам. От мысли к делу — и я позвонил. Шишкин в довольно растрепанном виде, с грязными руками, с взъерошенными волосами, ровно старая крепкая сосна, мохом поросшая, отворил дверь. Я объяснился. Ему такая форма визита очень понравилась. Он стал меня усаживать, и мы начали беседу. Через несколько минут я спросил — не

отрываю ли я его от работы. Он сказал на это, что работа, за которой я застал его, пустая, и просил не стесняться. Я предложил ему продолжать свое дело, на что он перевел меня в свою мастерскую, где уселся среди чудесной мебели, превосходных этюдов и картин в рамках и разного брик-а-брак atelier на кресло и принялся за свою прерванную работу — засучил рукава, вытащил из-под стола грязный самовар и стал его скоблить и чистить. Такая это фигура чудесная была, что сегодня я несколько раз пробовал на память зачертить ее, но еще крылья коротки... Вообще принял меня сразу так по-питерски радушно, что я с первой же минуты очутился в своей тарелке.

— Так Вы хотели поступить в Академию? Оборвались? Отлично. Это счастье. Академия, знаете, как я смотрю на нее, на Вашу Академию? Это вертеп, в котором гибнет все мало-мальски талантливое, где из учеников развивают канцеляристов; где черт знает что делается; откуда все путное уходит, раз почуяв, что это за помойная яма; а сколько гибнет там, сколько гибнет, если бы Вы знали! Отлично, что оборвались, очень рад, я слышал о Вас раньше, по физиономии (!) Вы малый путный, нрав у Вас свежий (!!) веселый (!!!) работайте, работайте, только плюйте и плюйте на Академию!

Это первые слова его.

Я стал говорить за, стал говорить и репинские доводы.

— Репин, Репин! Не знаю, чего увлекается он так Академией? Разве по себе он не ругает ее? Ведь не будь у него кружка тех протестантов, которые отказались от золотой медали, и его забила бы она. Удивляюсь ему — сам так ругает ее, а молодежь шлет туда и шлет! Серов вот: какие надежды подавал, а теперь, я уверен, готов голову прозакладывать, засушит его Академия.

— Он лучше работает, Иван Иванович, если же суше сколько, так без этого нельзя делать школьную работу.

— Не верю теперь в него. Убьет его Академия. А какие надежды он стал было подавать...

И чем дальше, тем все злобнее и злобнее об Академии.

Я истощил все свои доводы за нее, наконец, перешел напрямик и спросил его: разве не все наши художники прошли ее школу?

— Строго говоря, ни один, кроме Репина, Поленова и еще нескольких, но этим как-то удалось работать там более или менее самостоятельно. Остальные числились

только в ней или бросили ее в самый короткий срок. Я, например, скажете, был в Академии, что имею и профессора, и медали и прочее? Да, я четыре года числился в ней, и за все это время четыре раза ходил в классы! Бросьте, бросьте эту проклятую мысль и т. д.

Такого горячего, страстного озлобления я даже не ожидал встретить у него, хотя и слышал, что он кое-что имеет против Академии.

Очень порадовался, что поступил в школу (Общества поощрения художеств. — *Л. А.*).

— Вот где можно работать. Там другие условия, совсем другие. Вот откуда вышли Крамские, Васильевы. Только все же без школы они больше работали. Делайте и Вы так. Работайте дома так, как сердцу захочется, не стесняйте Вы себя этими рецептами. Свободному искусству — работа свободная должна быть. Я птица старая и много на веку видел — поверьте мне, что слова мои искренни, и только участие к гибнущему человеку говорит во мне. А скажите, какую специальность Вы избрали себе в живописи?

На это я высказал свой юный взгляд, что не признаю специальности в искусстве, что не понимаю, как человек может замкнуться в пейзаже, например, и не выходить из него, как бы другое ни интересовало его.

— Непременно должен замкнуться, и чем у́же, тем лучше.

— То есть всю жизнь ограничить себя изображением, положим, ржаного поля?

— Это немного крайне, но, пожалуй, что и так.

— Мы не можем понять друг друга. Вы уже зрелый, полный художник, я начинающий ученик, и до тех пор не соглашусь с Вами, пока не приду сам к тому же.

— Вы придете к тому, помяните мое слово. Что Вы делаете теперь, кроме школы?

— Копирую в Эрмитаже. Рисую гипсы в музее Академии.

— Бог знает, что Вы делаете. Что Вам дался гипс? Бросьте его, изучайте живое тело...

Привожу Вам наиболее характерные отрывки нашего разговора, но сколько интересных деталей опускаю за невозможностью передать всю беседу.

Я пробыл у него больше двух часов. Назавтра он просил непременно принести этюды и альбомчики мои. Только, ради Бога, не гипсы, не то затошнит!

На другой день пришел к нему с этюдами и альбо-

мами. Смотря их, он стал похваливать, и чем дальше, тем больше. Отлично, превосходно. Вам уже немного остается сделать. По альбомам вижу, что Вы и на жанр надежды подаете. Что ж, работайте, работайте. Вчера я только советовал бросить Вам Академию, теперь я говорю Вам прямо — она не нужна Вам. Вам остается немного — годик, другой — и Вы художник. Только поприлежней работайте. Мне нравится в Вас этот зуд. Работайте в альбомчиках, пишите этюды, копируйте фотографии, компонуйте картины. Я советую Вам обработать вот такой мотив — обработайте и принесите показать. Не то оставьте Ваш адрес — я буду заходить к Вам... Вообще наговорил кучу любезностей... Одним словом, очаровал меня совсем. Что за чудесный, простой человек!»

В письме же к В. И. Сурикову И. С. Остроухов сообщит: «Познакомился я, между прочим, с Шишкиным и просто влюбился в него — такой он простой, теплый человек! Он очень расхваливал мои этюды последнего лета и сделал много, много хороших указаний».

Не оставит без внимания Иван Иванович и просьбу Н. И. Мурашко, основателя рисовальной школы в Киеве, когда тот при открытии школы к нему первому обратится за пособием для учеников.

«...он стал ворчать, — вспоминал Н. И. Мурашко.

— К чему, говорит, ваша школа, таланту она не нужна, а ремесленнику помочь вы, пожалуй, и не думаете, да и не сумеете. Где вы найдете пособия?

— Да уж будем стараться, Иван Иванович, — говорю я.

Ворчит, а на стены поглядывает, — что бы такое дать. И дает один этюд, другой, третий. Я благодарю, а он мне говорит:

— Погодите, надо еще рисунков вам дать.

И дал шесть пейзажных рисунков да три рисунка животных. Я только кланяюсь да благодарю.

— Стойте, говорит, надо еще рисунок пером вам дать. — Дал и пером, так что я вошел к нему бедняком, а вышел богачом».

Он болел за будущее русского национального искусства, и далеко небезразличен был к тому, по какому пути пойдет оно.

В начале 80-х годов ученики Ивана Ивановича начали представлять на суд общественности свои первые работы. На X передвижной выставке зрители увидели картину «Тропинка» О. А. Лагоды, на XII выставке — «Проселочную дорогу» А. Н. Шильдера и «Выселок» Н. Н. Хохрякова.

Работы не остались незамеченными. Особо заговорили об Ольге Антоновне Лагоде. Правда, отныне фамилия ее была Лагода-Шишкина. В первой половине 1880 года она стала женой Ивана Ивановича.

Слыша лестные отзывы о ее работах, он испытывал радость вдвойне — и за ученицу, и за жену.

Глава четырнадцатая
ХОЛСТЫ

Требовательный к ученикам, иногда даже резкий, он и к себе предъявлял требования не меньше. Работать начинал в девять утра и заканчивал иногда в два часа ночи.

В 1876 году им закончены картины «Святой ключ», «Пчельник», «Чернолесье», «Еловый лес», в 1877 году — «Зорька», «Пихтовый лес на Каме» («Речка Кама близ Елабуги»), в 1878 году — «Рожь», «Сосновый бор», еще «Еловый лес», «Горелый лес», «Лес», в 1879 году — «Сумерки. Заход солнца», «Песчаный берег», в 1880 году — «Лесной ручей»... «Пуды» этюдов и рисунков, привозимых из летних поездок. Офорты, от которых приходили в восхищение ценители живописи в России и в Европе.

В восьмидесятых годах Сиверская сделалась его настоящим прибежищем. Выманить его отсюда было трудно. Лесистые места, с глухими оврагами и чащобами, отвечали его настроению. В лес он отправлялся с топором, словно на встречу с медведем, встреча с которым, замечал современник, для него, казалось, будет только забавна.

По временам щеголь, иногда появлялся в таком сюртуке, что гадать можно было, какого он веку.

Сюда, в Сиверскую приезжали друзья: К. А. Савицкий и Н. А. Ярошенко. С ними складывались особо теплые отношения.

За живыми разговорами и беседами настолько забывалось о времени, что однажды Н. А. Ярошенко едва успел прибежать к последнему поезду, отправляющемуся в Петербург.

Этого штабс-капитана, работающего заведующим штамповальной мастерской на Петербургском патронном заводе, отличали неподкупная честность, прямота и глубокая страсть к живописи.

Дворянин от рождения, тонкий, чуткий, все понимающий, проницательный, он во всем искал правды.

И кому не помнится его «Кочегар» или «Курсистка», в которых (воспользуемся здесь словами И. Н. Крамского), «все до мелочей смотрит на вас правдою действительной жизни».

Это бескомпромиссный Николай Александрович Ярошенко, узнав, что миллионер Елисеев предлагает передвижникам построить на Тучковской набережной постоянный выставочный зал, что сулило всем выгоды и немалые, возразит тотчас же решительно: «Незачем нам. Пусть молодежь идет в Товарищество не на сладкий пирог с начинкой, а ради идей. Негоже передвижникам с торгашами компанию водить». И настоит на своем.

Зимой Иван Иванович бывал на квартире Н. А. Ярошенко на Сергиевской. Приезжали вместе с К. А. Савицким. Здесь можно было видеть Г. Успенского, В. Гаршина, Л. Толстого, музыкантов и актеров. Обстановка была, правда, более официальная, нежели на «средах» у Д. И. Менделеева. Но это не мешало завязывать контакты художникам с писателями. Те и другие были интересны друг другу.

К. А. Савицкий, после трагической смерти жены в Париже долго не мог прийти в себя. Жена его из-за необоснованной ревности покончила самоубийством. Ее нашли у себя в спальне мертвой над жаровней с горящими угольями.

Одним из первых, к кому обратится К. А. Савицкий после затяжного, страшного молчания, будет Иван Иванович Шишкин.

«Вы, вероятно, удивитесь, получив мои строки, — писал ему К. А. Савицкий, — точно так же, как и многие станут недоумевать, что ни с того, ни с сего выплыл Савицкий на поверхность, тогда, когда, может быть, давно сочтен погибшим без возврата... Человек оказывается живучей кошки».

Получив письмо, И. И. Шишкин начал подумывать, как бы выманить К. А. Савицкого в Петербург и поселить у себя, благо были свободные комнаты.

Константин Аполлонович, сильно изменившийся внешне и внутренне, привез в Россию три картины, написанные в тот год, когда он остался без жены. «Встреча с иконой» поразила всех. На выставке передвижников она имела немалый успех. Ее купил П. М. Третьяков.

Не без помощи друзей, и особенно Ивана Ивановича,

Константин Аполлонович смог восстановить душевное равновесие, утраченную было веру в свои силы. Сколько важного, сокровенного было высказано и обсуждено в разговорах с Шишкиным. И легче, легче дышалось. Не могло пройти мимо внимания К. А. Савицкого и то, с каким неистовством работал Иван Иванович. И это тоже подстегивало. На восьмой выставке передвижников публика могла видеть рядом с двенадцатью крымскими этюдами Шишкина картину К. А. Савицкого «На войну».

Незадолго до открытия выставки и встречи с петербуржцами, все члены Товарищества съезжались в столицу. Останавливались чаще всего у Крамского или у Шишкина. Здесь показывались новые работы, дописывались незаконченные картины, вставлялись в рамы, привезенные от постоянного поставщика такого рода принадлежностей Абросимова. Здесь же выслушивались суждения о работах друзей, принимались или отвергались критические замечания. И все с волнением ждали первого воскресенья великого поста, когда открывалась выставка.

Дом Ивана Ивановича был любим художниками, и двери в нем не закрывались. После женитьбы Иван Иванович как бы напрочь порвал с прошлым. Умерла в Москве теща. Штоф с зельем затерялся среди старой посуды. О нем не вспоминалось. Более рассуждалось о событиях текущих. По воскресным дням дом наполнялся друзьями. Все веселились от души, пели, танцевали. Устраивали костюмированные балы. Дурачились. Разыгрывались шарады. Шуткам не было конца. Хозяйка очаровывала всех. Иван Иванович включался в общую игру и то представлял заезжего итальянского певца без голоса, то фокусника. А иногда лихо танцевал «Русского» с дочерью.

Не забывалось и о работе. Картина «Дебри» была признана лучшим пейзажем девятой передвижной выставки. Шишкин словно бы предлагал зрителю оценить красоту чащобы, дебрей леса, не тронутых «цивилизованным» человеком, цивилизацией, мест глухих.

Время подступало тревожное. В правительство все изверились. В народе считали, что состоит оно из изменников, продавших Россию и опутавших царя слабого.

Надежды возлагали на наследника.

В придворных видели не аристократию, а что-то мелкое, какой-то сброд. Вспоминали удивительно цельного человека — царя Алексея Михайловича, заложившего, собственно, новую Россию и ругали Петра Первого, на-

бравшего иностранцев, португальских пройдох, шутов, со всего света напустившего накипь и дрянь, которая владела Россией. Как тут было не вспомнить и хитрую лису Нессельроде, втянувшего Россию в Крымскую войну в угоду чуждым интересам враждебных ей кругов и лиц, с которыми тот был связан невидимыми нитями.

И русские ли интересы отстаивали теперь те, кто уговорил императора Александра Второго принять так называемое «дружеское посредничество» Бисмарка и таким образом покончить с русско-турецким конфликтом на конгрессе в Берлине.

«... Читаете ли вы газеты, особливо «Московские ведомости»? Посмотрите, сколько горечи и негодования выражается каждый день, слышится отовсюду по поводу известия об условиях мира, вырабатываемых на конгрессе, — писал К. П. Победоносцев наследнику Александру Александровичу. — Русская душа не может ни за что помириться с мыслью о том, что настоящая Болгария, русская Болгария, отдана будет русским правительством на жертву туркам после того, что совершено на Балканах нашими храбрыми войсками. Пускай дипломаты уверяют сколько им угодно, что никогда еще не было заключаемо такого выгодного для России мира, — народ будет видеть в этом мире позор для русского имени, и я предвижу горькие бедственные от него последствия внутри России».

Человеку мыслящему было ясно — Россия воевала не столько с Турцией, сколько с Англией и Францией и с теми, кто вершил дела в Европе.

Идея цареубийства носилась в воздухе. Никто не чувствовал ее острее, чем Ф. М. Достоевский. Незадолго до смерти, в январе 1881 года, Федор Михайлович в разговоре с А. С. Сувориным, издателем «Нового времени», заметил:

— Вам кажется, что в моем последнем романе «Братья Карамазовы» было много пророческого? Но подождите продолжения. В нем Алеша уйдет из монастыря и сделается анархистом. И мой чистый Алеша — убьет царя».

Смерть помешала Ф. М. Достоевскому осуществить свой замысел.

В день похорон великого писателя Иван Иванович Шишкин пришел на кладбище отдать ему последний

долг. Народу было множество. Перед гробом несли венки...

Подойдя к художникам, которые собрались подле К. Е. Маковского, Иван Иванович сказал:

— Великого художника хороним.

— И великого патриота, — добавил кто-то.

Из толпы, справа и слева, доносились обрывки разговоров.

— Да посмотрите на печать нашу. В чьих руках она? Что русского в ней? А образование? Поставлено так, чтобы человек, окончивший русскую гимназию и университет, совершенно не знал ни России, ни русской жизни, то есть чтобы он перестал быть русским, потому что ближайшее ознакомление с русскою историею и с современным состоянием России неминуемо делает русского человека заклятым врагом правительства...

— Вот-вот, именно потому молодежь, не знающая своей Родины, теряет чувство любви к ней и сходится с Бундом, который — это же не секрет, только и мечтает о разрушении Русского государства и об экономическом порабощении русского народа.

— Противники и преследователи чисто русских людей всегда одолеют и возьмут верх потому, что они друг друга держатся, верят друг другу по ненависти ко всему русскому, их соединяющей, и друг другу помогают.

— Да, но одолеют они лишь тогда, когда физически уничтожат русских. Федор Михайлович об опасности этой предупреждал...

1 марта 1881 года на одной из петербургских улиц прогремел взрыв. Неизвестный бросил бомбу в проезжавший мимо экипаж, в котором следовал Александр II. От взрыва бомбы погибли двое прохожих и был ранен казачий офицер конвоя. Император остался невредим. Он вышел из экипажа и, увидев раненых, направился к ним оказать помощь. Кучер принялся упрашивать его вернуться во дворец боковыми улицами, но Александр Николаевич отказался сделать это и наклонился над одним из пострадавших. В это время человек, стоявший все время на углу, бросил под ноги государя вторую бомбу...

Смертельно раненный Александр II был доставлен в Зимний дворец. Весть о покушении мигом разнеслась по Петербургу. На площадь перед дворцом со всего города стекались люди. Женщины истерически кричали.

Александр лежал на диване у стола. Он находился в беспамятстве. Возле него были три врача, но всем было ясно, что спасти государя невозможно. Вид его был ужасен. Правая нога оторвана, левая разбита, лицо и голова в бесчисленных ранах. Один глаз был закрыт, другой смотрел пред собой без малейшего выражения.

Агония длилась сорок пять минут.

— Тише! — вдруг произнес один из докторов. — Государь кончается!

Все приблизились к умирающему. Лейб-хирург, до того слушавший пульс, неожиданно опустил окровавленную руку и сказал:

— Государь император скончался.

Все пали на колени.

Ученик Жуковского окончил свой земной век.

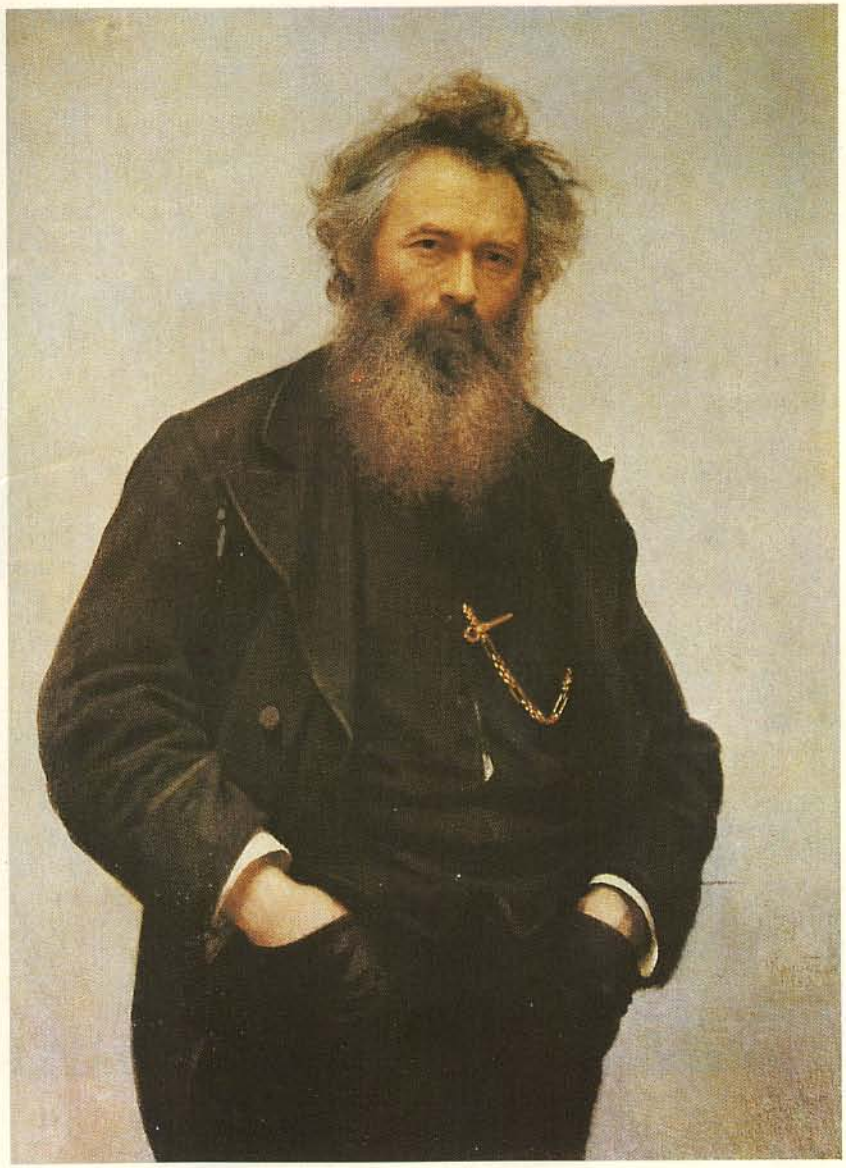
«Взрывом прошлого воскресенья был нанесен смертельный удар прежним принципам, и никто не мог отрицать, что будущее не только Российской империи, но и всего мира зависело теперь от исхода неминуемой борьбы между новым русским царем и стихиями отрицания и разрушения», — писал современник.

Во главе государства стал наследник — Александр Третий. Немец по крови, как и все поздние Романовы, но человек «с чисто русскою душою, горячо любивший русский народ и вообще все русское», как заметил один из литераторов прошлого.

Во внутренней политике он начал с укрепления русских финансов. Подумывал о развитии сельской кооперации. Его вмешательством все русские крестьяне были переведены на обязательный выкуп; с них была сложена тягостная подушная подать. Открыт был Крестьянский банк, назначение которого состояло в том, чтобы способствовать расширению крестьянского землевладения.

На места министров, уволенных после кончины Александра II в отставку, были призваны люди дела, не связанные с придворной средой, что сразу же вызвало ропот и негодование в аристократических кругах. Но Александр III был тверд в своих поступках.

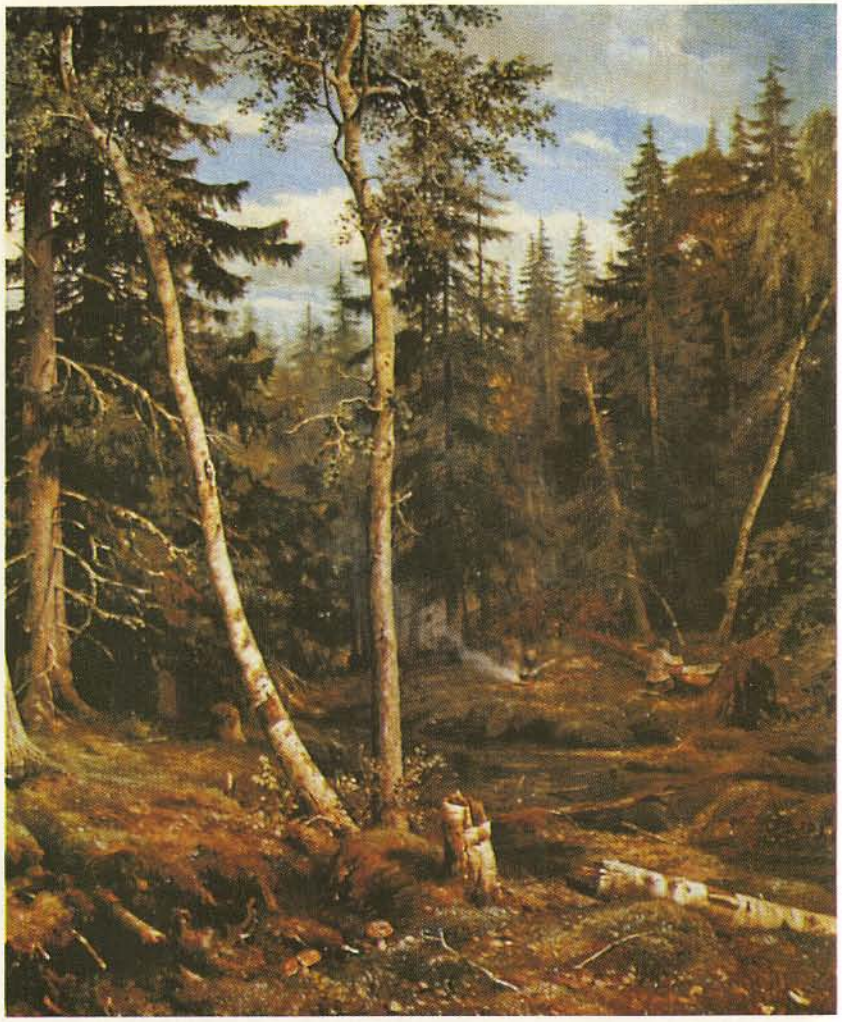
Эту твердость скоро ощутили и в Англии. Считая, что «большинство русских бедствий происходило от неуместного либерализма нашего чиновничества и от исключительного свойства русской дипломатии поддаваться всяким иностранным влияниям», он резко изменил отношения с правителями Западной Европы, достаточно хорошо зная их и не сомневаясь в истинности их намерений.



И. И. Шишкин. Портрет работы И. Н. Крамского. 1880

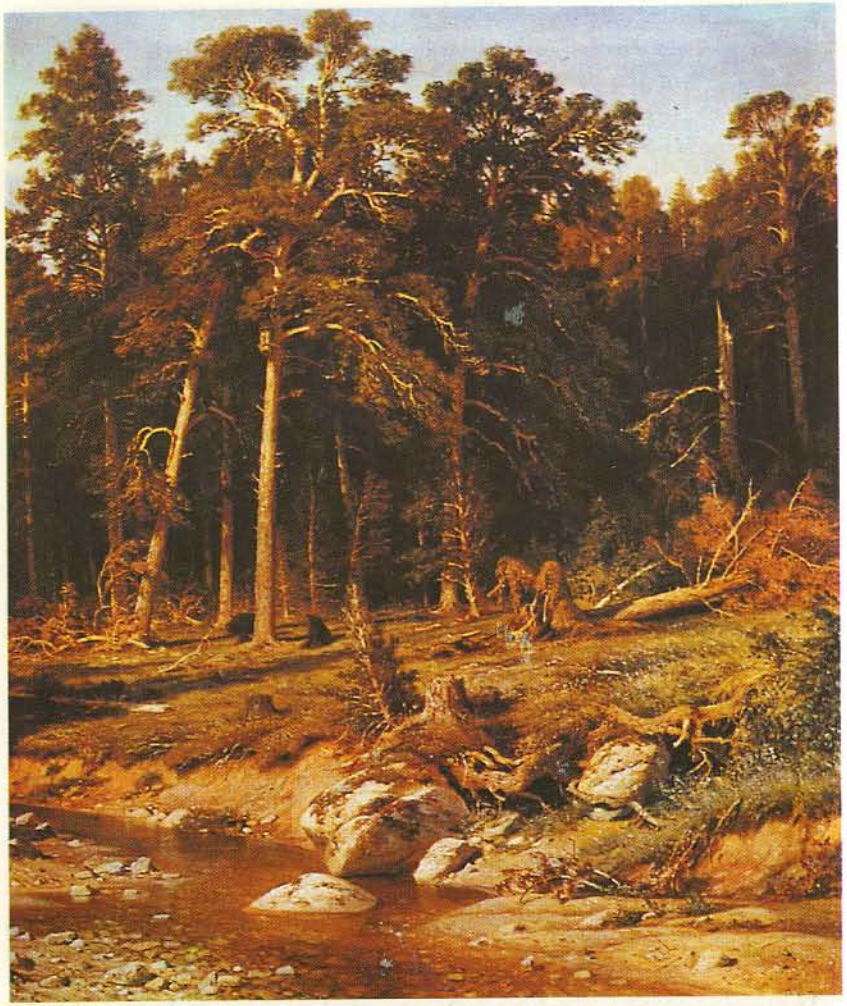
Вид на острове Валаам. Этюд. 1853.

Швейцарский пейзаж. 1866.

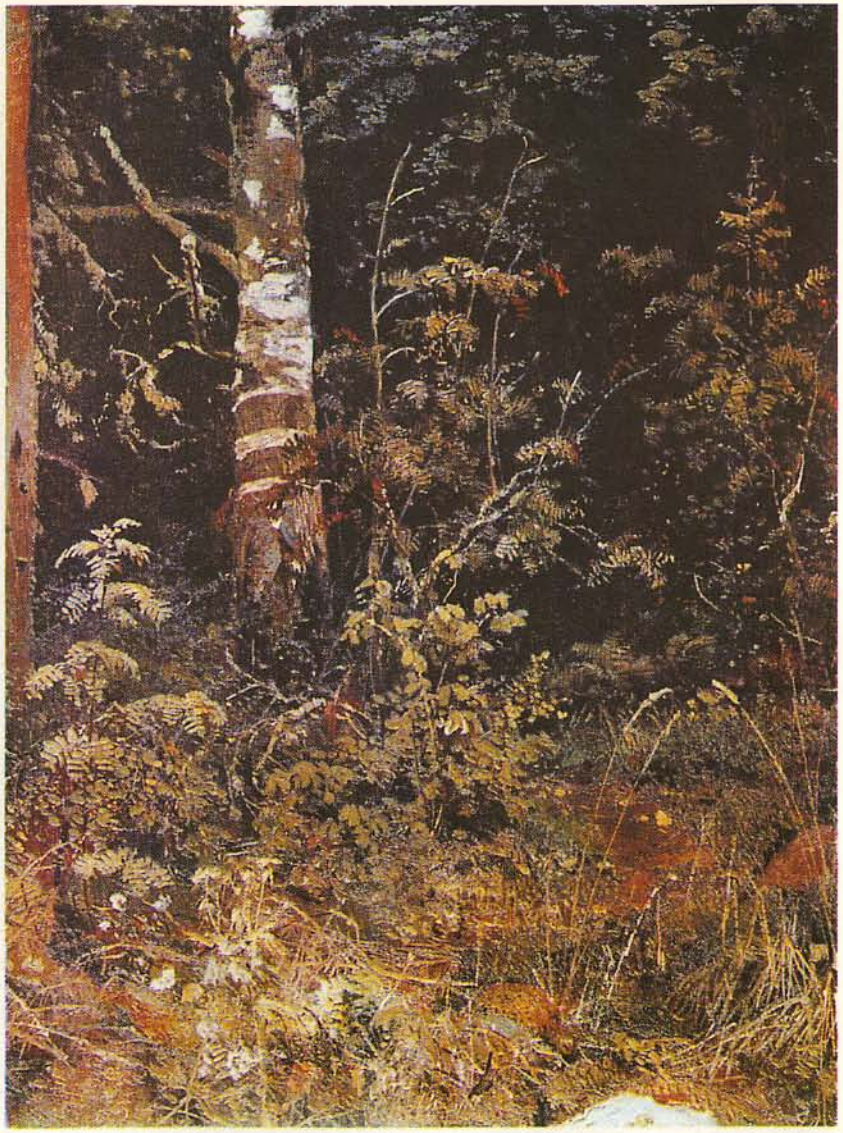


Рубка леса (фрагмент). 1867.

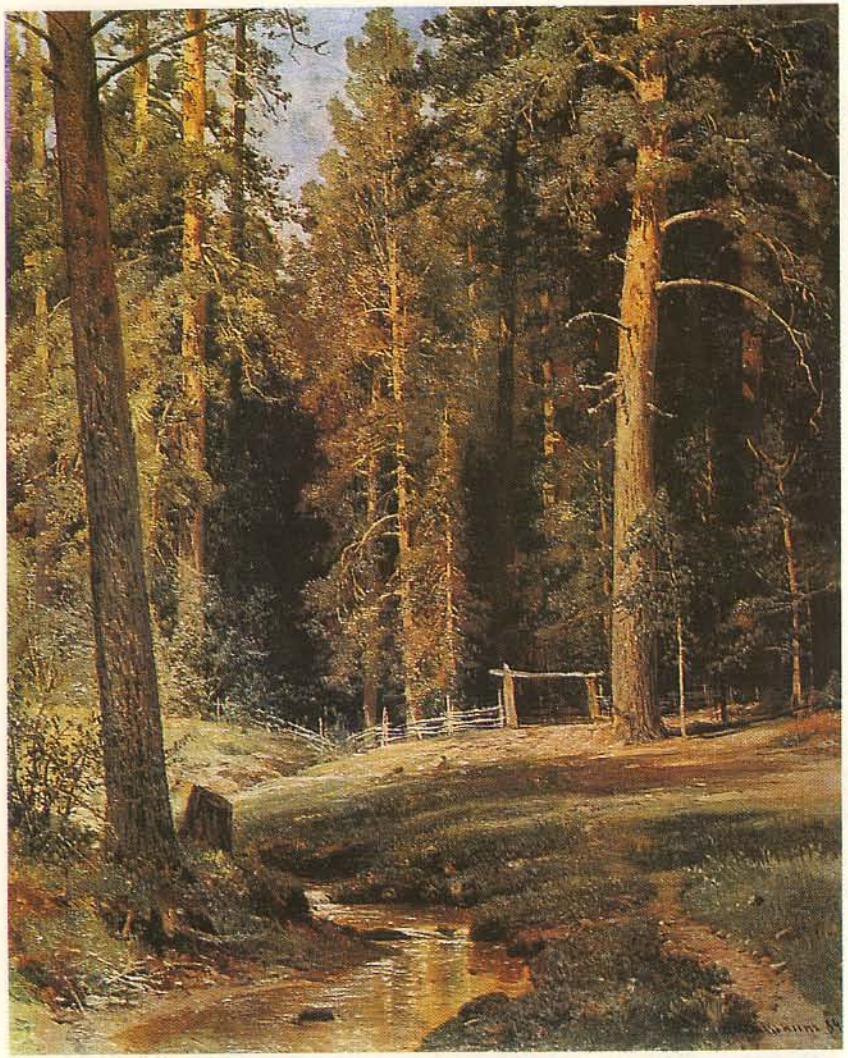
За грибами. 1870.



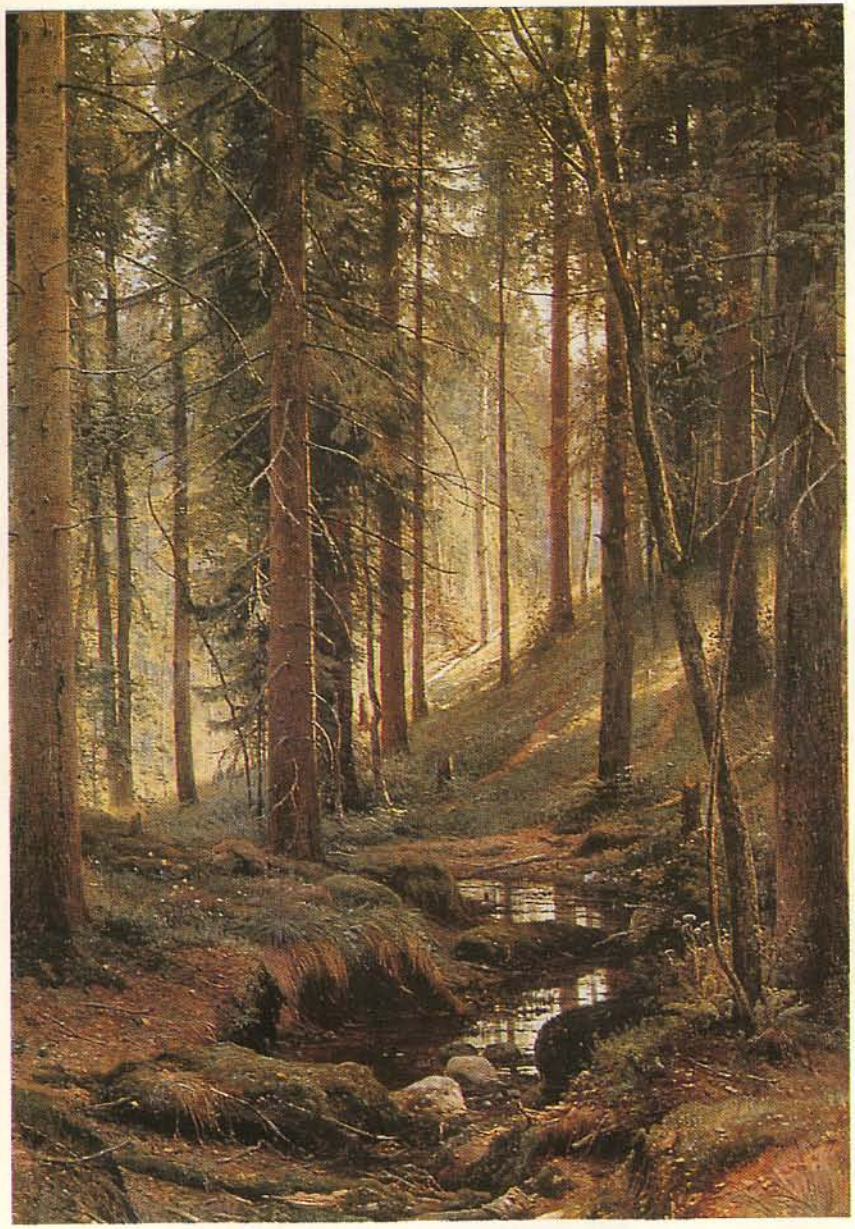
Сосновый бор (фрагмент). 1872.



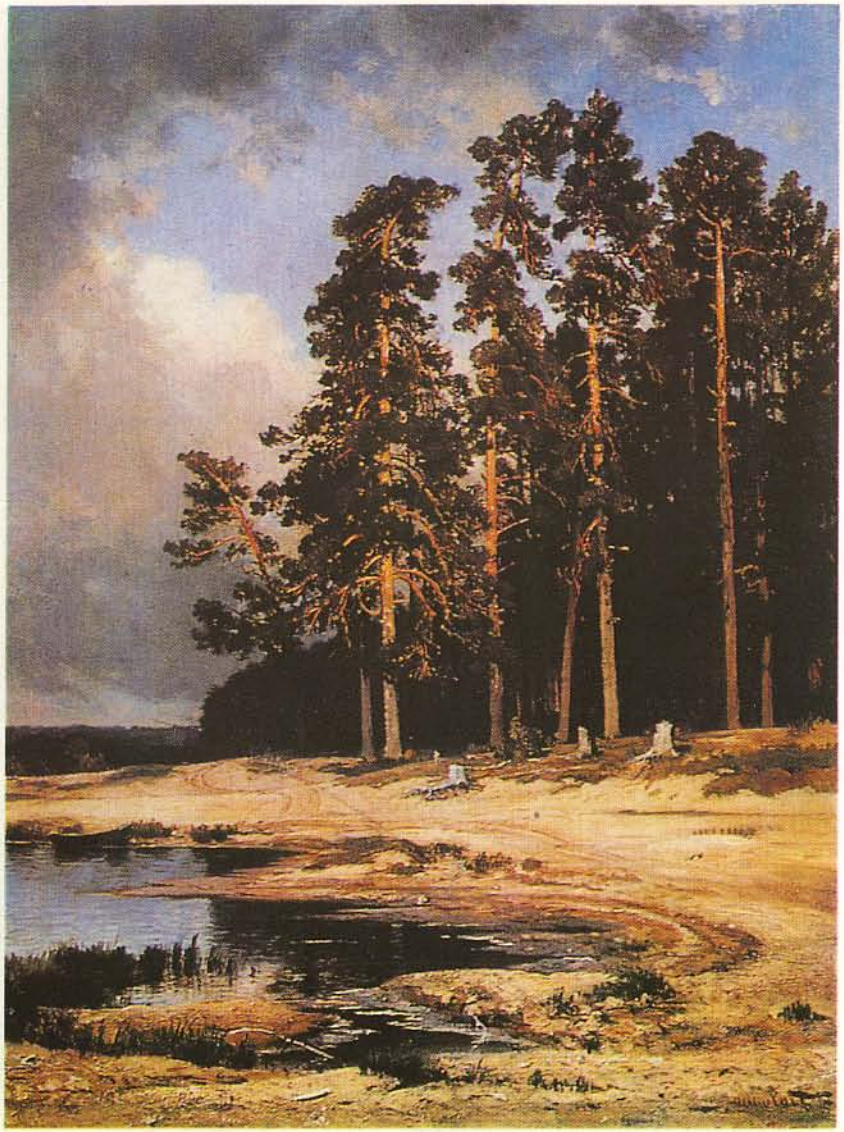
Береза и рябинки. Этюд. 1878.



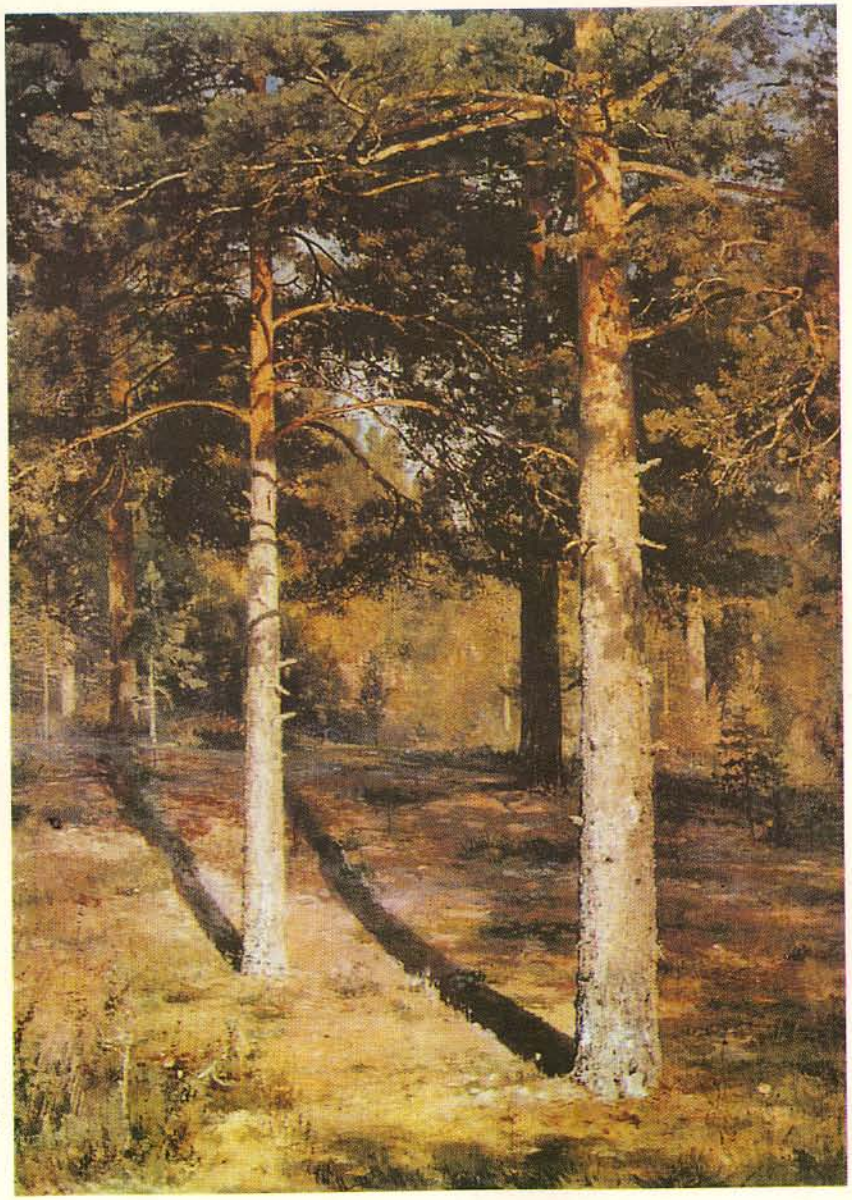
На опушке леса. 1884.



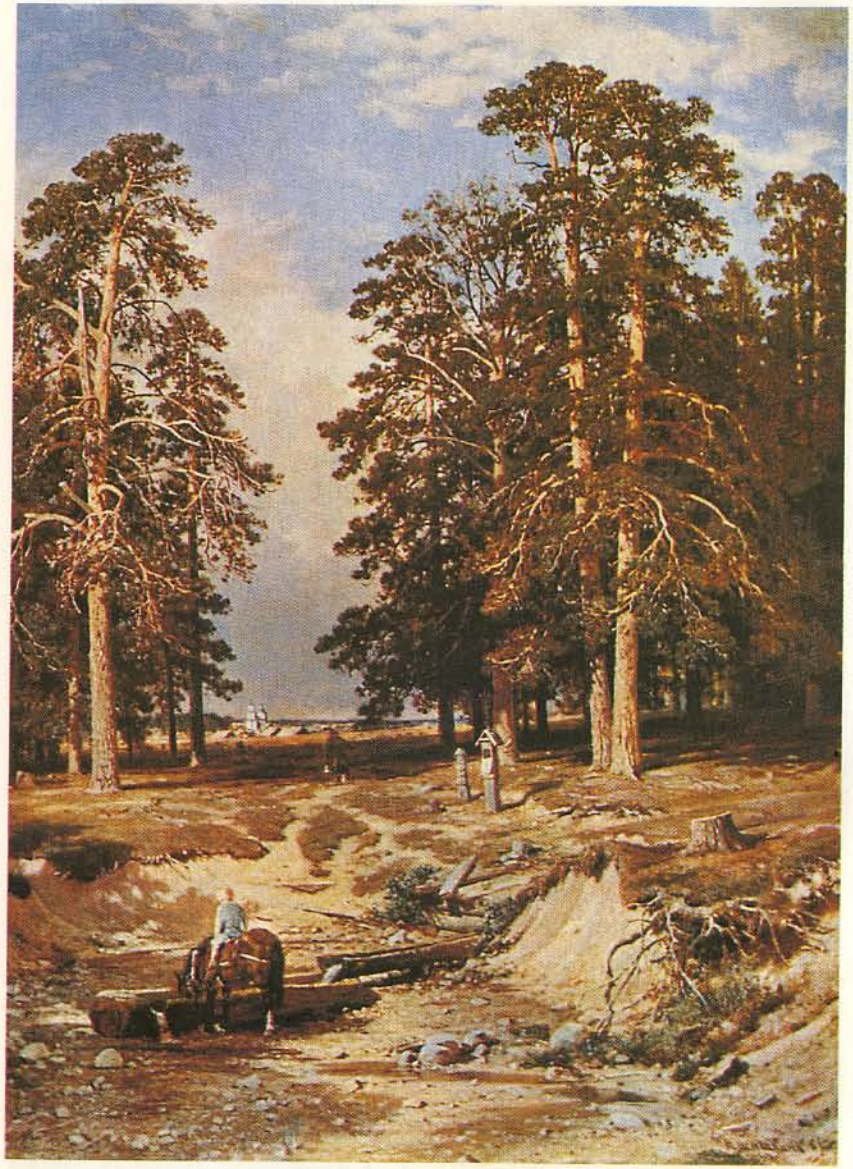
Ручей в лесу. 1880.



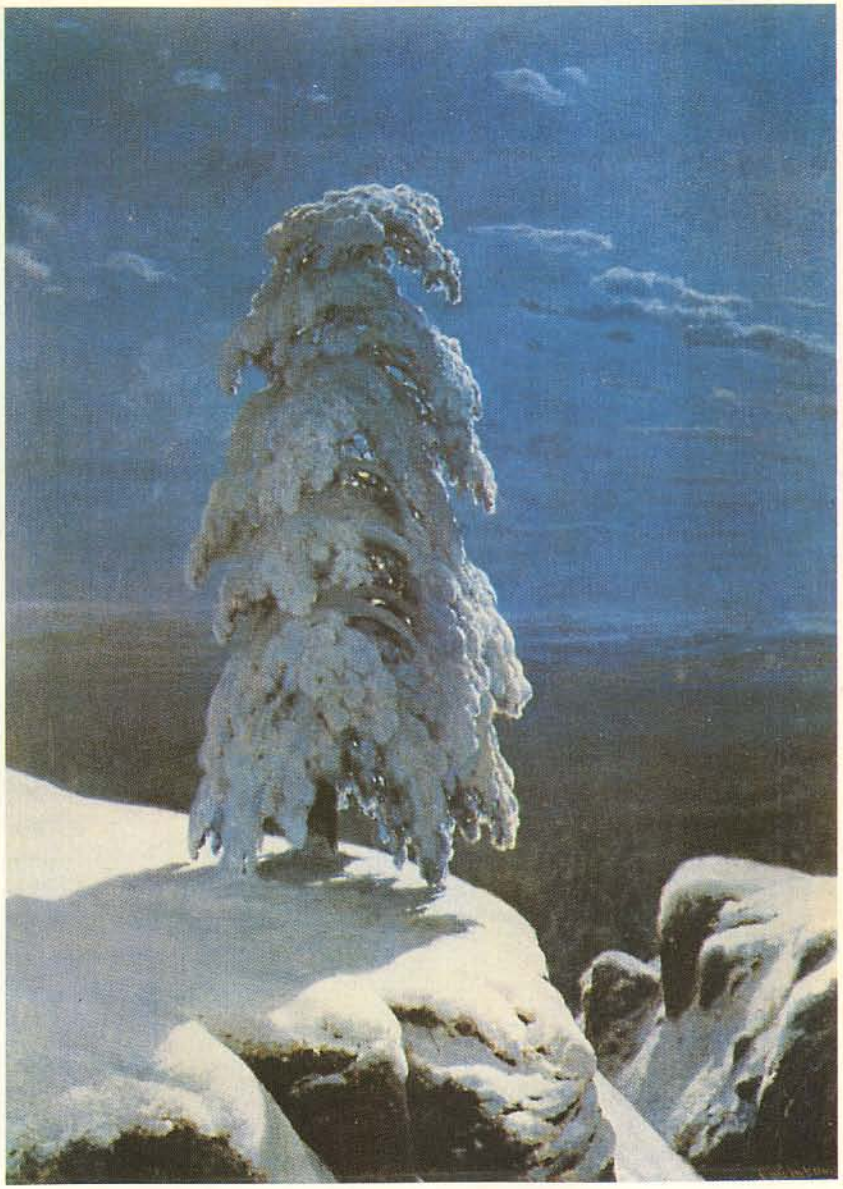
Лес. 1885.



Сосны, освещенные солнцем. 1886.

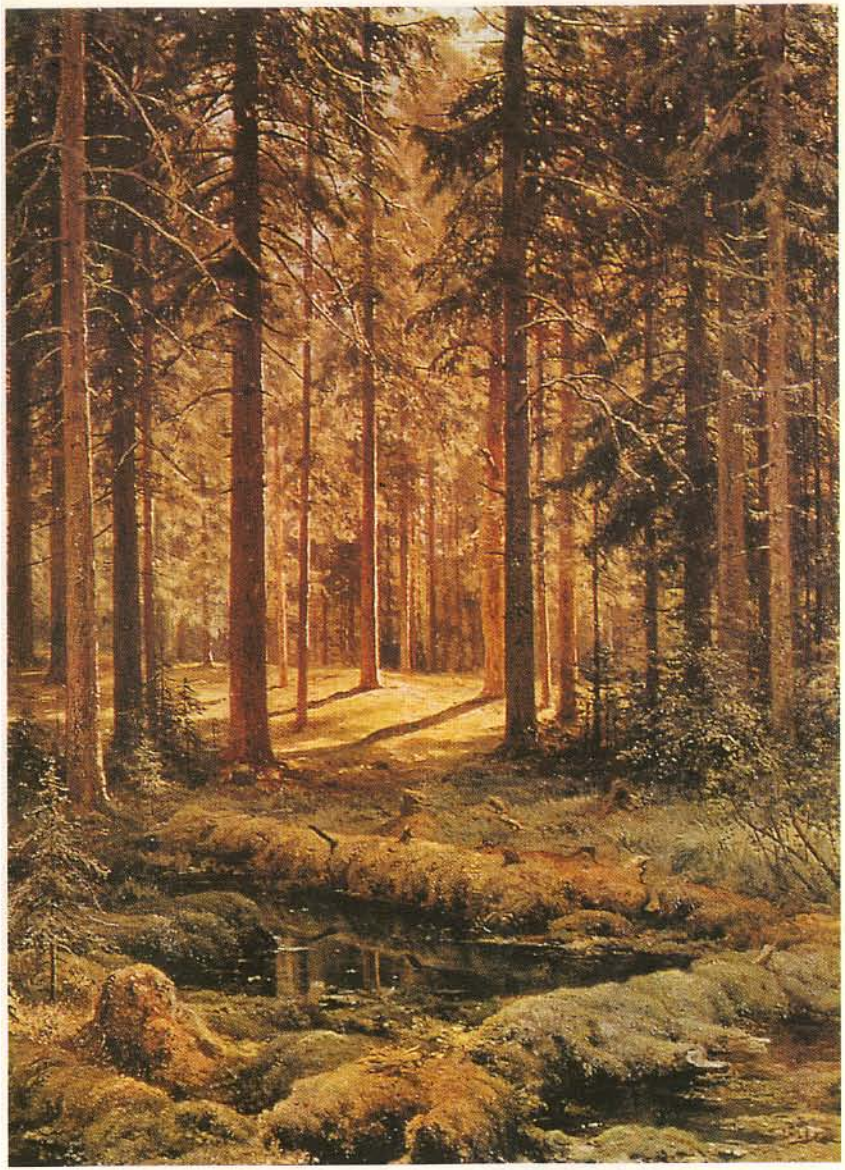


Святой ключ близ Елабуги. 1886.

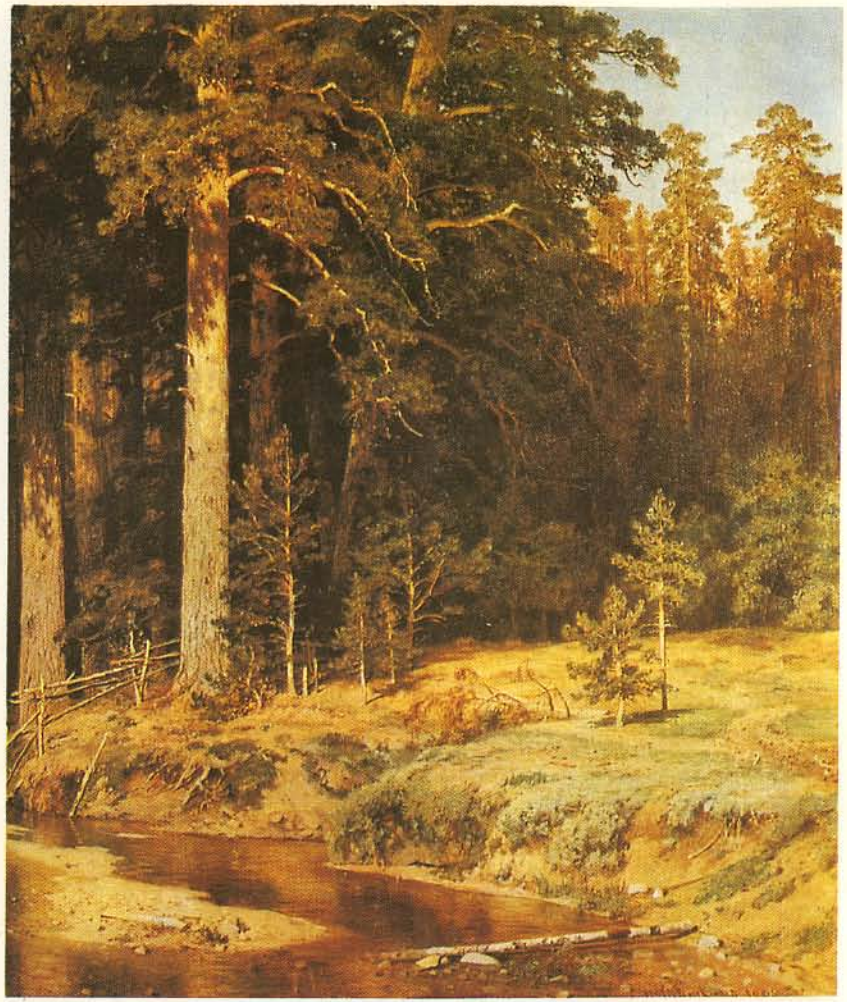


«На Севере диком...». 1891.

Травки. Этюд. 1892.



Хвойный лес. Солнечный день. 1895.



Корабельная роща (фрагмент). 1898.

Англия, через год после вступления на трон Александра III, спровоцирует конфликт на русско-афганской границе. Афганцы займут русскую территорию. Русское командование станет испрашивать инструкций. «Выгнать и проучить как следует», — последовал ответ Александра III. Приказ был выполнен.

Англия оторопела. Но на время. Одна за другой из нее пришли в Россию угрожающие ноты. Государь отдал приказ о мобилизации Балтийского флота. В Англии притихли.

Именно в Севастополе, где в свое время унизили русское имя, Александр III прикажет спустить на воду военные корабли, ибо не признавал условий позорного мира, навязанного в свое время Англией, по которому русским запрещалось держать на Черном море флот.

Проводя в жизнь ярко выраженную национальную политику, он давал понять, что его интересует только то, что способствует благосостоянию русского народа, духовному обогащению его.

Он словно бы угадывал настроение русской художественной среды.

Напомним, именно в последние годы царствования Александра II и первые годы правления Александра III увидел свет «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, Мусоргским созданы «Хованщина» и «Борис Годунов», Бородин работал над «Князем Игорем», А. Н. Островский написал «Снегурочку», Римский-Корсаков — оперы-сказки, В. Васнецов — «После побоища Игоря Святославовича с половцами», в которой изобразил людей, бившихся и павших за высокую цель, за Русскую землю, в противоположность диким хищным половцам, В. Суриков — свои знаменитые картины. И Шишкин многое внес в это щедрое время национального культурного возрождения...

В январе 1881 года Иван Иванович Шишкин отправит письмо В. М. Максимову из Петербурга:

«Любезный Василий Максимович,

по моему почину соберутся у меня все передвижники (в четверг вечером), хотя бы для того, чтобы видеть друг друга, а то мы совсем делаемся чужаками.

Несомненно и Вы, любезнейший Василий Максимович, не преминете видеть всех сотоварищей по вашему общему делу...»

Большой труженик, подкупающий своей честностью,

Василий Максимович был близок Шишкину. Трогала откровенность и чуждая выспренности прямота его суждений. Передавая о разговорах с Д. И. Менделеевым, который был расположен к В. М. Максимову и частенько рассказывал ему о своих проектах переустройства России, Василий Максимович будоражил свою голову и говорил: «Вот, батюшка, что Дмитрий Иванович говорит... ой-ой-ой, куда тебе!»

Выходец из крестьянской среды, В. М. Максимов писал картины из жизни, которую знал глубоко. Иван Иванович сколько раз подмечал, сколь красива невеста в его картине «Приход колдуна на сельскую свадьбу». Максимов же, закуривая трубку, вздыхал, затягивался и иногда принимался рассказывать о прошлой жизни.

Мальчишкой его отдали в иконописную мастерскую при монастыре. Он стал послушником.

Однажды, гуляя близ монастыря, он встретил девушку, от которой потерял голову. Неравнодушна была и она к нему. Но ее родители, едва узнали об их встречах, запретили дочери знаться с крестьянским сыном. Тогда Максимов отправился в столицу и добился поступления в Академию. А кончив ее, вернулся к любимой и получил все-таки разрешение жениться на ней. Но сколько лет ждал он этого момента.

— Эх, батюшки мои, рассказывать, как жилось — это ж все равно, что про каждого из нас говорить, — добавлял он. И Иван Иванович в согласии кивал головой.

Собираясь вместе, передвижники радовались встрече, успехам друг друга.

«Много разных грехов водилось за всеми, растворялись товарищи в суете буржуазного общества, но лишь только являлись на свои собрания — отряхали греховный прах от ног своих и жили старыми заветами Товарищества. Подтягивались, не кривили душой, и в целом руководящим началом являлось у них требование правды. И эти большие и малые, а подчас и чудашные люди были лучшим из того, что дала в искусстве земля русская, это от их творений мы замирали в восторге на выставках и в галереях», — вспоминал Д. Минченков.

В Сиверской, куда на лето Шишкины уехали, у них родилась дочь Ксения. Ольга Антоновна уже начала подниматься после родов. Родители принимали поздравления. Дом был полон гостей. Постоянно жил Н. Н. Хохряков, частенько приезжал К. А. Савицкий, Иван Иванович, как всегда, делал по два-три этюда в день. Неожиданно Ольга Антоновна почувствовала недомогание и через несколько дней, 25 июля, скончалась от воспаления брюшины. Случившееся потрясло Шишкина. Он был сам не свой. Тоска и обида охватили его. В доме сделалось тихо.

Похоронили Ольгу Антоновну в селе Рождественом, что в нескольких верстах от Сиверской, на кладбище, приютившемся на горе.

В то лето несколько раз он зарисовывал могилу жены.

«От всей души благодарю тебя за сочувствие — ты хоть и далеко, но понял, какую я утрату понес, — писал Шишкин глубокой осенью Егору Александровичу Ознобишину. — ...Боже, если б ты видел все ее альбомы, рисунки, этюды и начатые картины — ты бы пришел в неописанный восторг — ничего подобного ни мы когда-то, ни теперешний художник не мог мечтать о том, что она сделала! Сердце замирает от боли!»

Он не запил в этот раз, а обратился к работе. Был в душе благодарен Виктории Антоновне — сестре жены, решившей заменить Ксении мать. Была она заботлива и к Ивану Ивановичу. Беда сделала их близкими.

Перебрались жить в Старо-Сиверскую, к Виктории Антоновне, ибо в старом доме находиться было тягостно — слишком все живо напоминало о покойной.

В который раз натягивал он холст, закреплял его и, как и всегда в тяжкую минуту, обращался памятью к родным вятским местам.

Картина «Кама», отправленная на выставку в Киев в следующем году, наделала шуму. Было настоящее паломничество к ней. Между покупателями дело доходило до ссор.

«Не прибегая ни к каким эффектам и с полной верностью воспроизведя природу, художник сумел передать все приволье многоводной реки, всю прелесть ее панорамы при летнем, солнечном освещении... Хорошо, привольно, но дико, безлюдно. ...Насколько мне известно, г. Ш-н еще не выступал с пейзажем, который бы обнимал такое обширное пространство и передавал бы так мастерски художественно залитые солнцем воздух и воду», — писал художественный критик.

Как бы не давая себе возможности раскиснуть, едва закончив картину, Иван Иванович начинал следующую.

Внешний образ жизни, благодаря Виктории Антоновне, сохранился прежним, и постепенно душевное спокойст-

вие восстанавливалось. Так же по воскресеньям дом наполнялся гостями. За детей он был спокоен. Деньги не исчезали, как прежде, и в доме появился достаток, даже роскошь.

«Шишкину было всегда тяжело заботиться о разных домашних нуждах, а под старость он просто не мог принимать участия в разных материальных заботах и хлопотах, — писала Комарова. — В начале 1880-х годов Иван Иванович был еще очень силен и душевно и физически и еще любил повеселиться и посмеяться; он обладал удивительным вкусом и уменьем убирать комнаты, и они с Викторией Ант. иногда перед балом чуть не всю ночь сами вешали портьеры, приготовляли какое-нибудь убранство залы, которая служила Ив. Ив. и мастерской».

«Шишкин не унывает. Виктория ввела его в лучшее общество, у него, видно, бывают генералы, переменил квартиру», — сообщалось в одном частном письме, в декабре 1882 года.

Надо сказать, изредка он все же срывался. В вине становился раздражительным, мнительным. Дело доходило до ссор. Но перед выставками он работал днями и ночами. Возвращаясь домой с выставки, тяжко вздыхал и на вопросы домашних отвечал, что цены на картины устанавливались необыкновенно высокие, и что их не купят в этом году, да и казались они ему слабыми как никогда. Но приходили письма с известием, что картины покупаются до выставки, и он удивлялся добродушно: «Надо же». А сам, верно, подумывал о новых холстах.

В 1882 году на свет появляются картины: «Дубки», «Вечер», «Речка». В 1883 году — серия станковых рисунков углем, которые заказал А. И. Беггров, и тогда же написаны картины «Полесье», «Заря», «Ручей в березовом лесу», «Среди долины ровныя...».

Успех и слава преследуют Ивана Ивановича.

На страницах «Петербургской газеты» был напечатан шуточный рифмованный «Иллюстрированный каталог XI передвижной выставки», в котором, в частности, писалось:

Давно не видели пейзажа мы такого,
Не бьющего на шик, но мастерского.
Кисть Шишкина в любой черте видна:
Забытому романсу Мерзлякова
Им прелесть новая дана.

Неведомый сочинитель как бы подчеркивал, что картина «Среди долины ровныя» была вызвана к жизни

песней, написанной на слова А. Ф. Мерзлякова, любимой в народе: забытый к тому времени поэт Алексей Федорович Мерзляков, написавший в 1810 году «Одиночество», как бы заново обретал жизнь.

XI передвижная выставка открылась 2 марта 1883 года в конференц-зале Академии художеств и до 29 мая — дня ее закрытия, народ толпился возле картины Ивана Ивановича Шишкина. Действительно, много неожиданного было в работе. Привыкшие считать Ивана Ивановича «царем леса», зрители увидели перед собой обширную равнину, почувствовали настроение, переданное художником, созвучное тому, которое вызывала песня.

Как заметил критик В. И. Сизов, «здесь художник своей картиной поясняет те красоты нашей природы, которые в народе или в отдельном лице оставили глубокие впечатления. Таким образом, русский художник-пейзажист является истолкователем эстетических чувств нашего народа (по его собственным признаниям или песням)».

Грустная песня и величественная.

...Возьмите же все золото,
Все почести назад;
Мне родину, мне милую,
Мне милой дайте взгляд!

На этой же выставке экспонировалась и другая, не менее сильная по настроению и воздействию картина И. И. Шишкина «Полесье». Она не сохранилась, к сожалению, полностью до наших дней. Лишь правую часть картины можно увидеть в Киевском музее русского искусства, да фрагмент ее хранится в одном из частных собраний. Но общее впечатление от утраченного можно получить, ознакомившись с авторским повторением (меньшим по размерам), великолепно исполненным для одного из почитателей таланта И. И. Шишкина. Картина хранится в Москве, в частной коллекции.

Дорога, теряющаяся в бескрайних просторах. Нескончаемая, таинственная, невольно влекущая за собой.

И дремучий лес близ нее, словно верный страж ее.

Куда идешь ты, Русь?

Затаив дыхание, смотрит зритель на картину «Перед грозой», написанную Иваном Ивановичем в следующем, 1884 году. Не знающие работ Шишкина вряд ли назовут его фамилию, увидев картину, настолько неожиданна она.

Словно детское чувство тревоги от первых раскатов грома и низких туч, тенью бегущих по земле, порыва холодного ветра и волнующего шелеста листьев передает художник. Он будто бы вновь обращается мыслями в прошлое, в детство. Не о том ли говорят картины «Ручей в березовом лесу» и «Лесные дали», написанные на елабужском материале? Он уходит в прошлое, к чистому, к Богу. Ему, словно бы при молитве, нужно уединение. Что-то важное нужно вызвать в самом себе, вернуться к этому важному.

На одном из холстов в это же время появляется сосновый лес, написанный, по-видимому, во время поездки в Елабугу. Вглядываешься в работу, и словно смутная догадка пронизывает сознание — не прообраз ли это «Афонасовской корабельной рощи близ Елабуги», которую он закончит в 1898 году? Не есть ли это попытка, теперь уже мастера, передать то яркое детское впечатление от природы, которое хранилось в памяти, не есть ли это первая попытка сказать о своем, проникновенно-личном видении Бога? И не шел ли он к «Афонасовской корабельной роще близ Елабуги», в которой наиболее полно выразил детские ощущения, образ, хранимый с детства, через «Сосны, освещенные солнцем. Сестрорецк» и «Утро в сосновом лесу»?

Он заговаривает о главном, возвратившись к нему. Почему?

И невольно вспоминается евангельская притча о блудном сыне, а особенно концовка ее, когда старший сын, рассерженный на отца за теплый прием, оказанный сыну младшему, распутному, расточившему имение свое с блудницами и воротившемуся в дом, услышал от отца: «Сын мой! Ты всегда со мною, и все мое — твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».

Не о заблудших ли душах думалось Ивану Ивановичу в пору работы над этими картинами?

Сколько их было в среде интеллигенции, людей, отходящих или уже отошедших от веры под влиянием сложных обстоятельств, идей, неустанно проповедуемых либеральной печатью, живущей исключительно позаимствованными с Запада теориями. И сколько людей, ослепленных этими идеями, не сразу могли осознать, как подтачивали они корни самобытного миросозерцания русского общества.

«Прежде всего она (либеральная печать. — *Л. А.*), — писал «Русский вестник», — стремится вытравить из него сознание племенного различия. Несть, мол, ни эллин, ни иудей, ни русский — или, еще лучше: существуют и эллины, и иудеи, но не должно существовать русского. Русский тогда только приобретет право плодиться и заселять родную землю, когда утратит все черты национального своеобразия и обратится в некоторого рода амальгаму — из немца, француза, англичанина — то есть безличного «европейца».

Успех или неуспех этого первого пункта либеральной пропаганды решает участь остальных. Пока человек дорожит хоть какой-нибудь особенностью своего племени — у него есть «зацепка». Зацепка сорвется и, «без руля и без ветрил», он может стать игралищем любой теории. Главное — вытравить из разумного существа любовь к отечеству — и физическую, и нравственную, и политическую. Еще физическую добрые либералы-западники согласны терпеть до поры до времени, но любовь нравственная... Нет для них «жупела» страшнее этой любви! Впрочем, послушаем дальше мнение современника, под которым мог бы расписаться и сам Иван Иванович:

«И вот, наша либеральная журналистика, заслуживающая название русской только потому, что в ней действуют люди, с грехом пополам владеющие русским языком, отрицает народность (самым нелепым и возмутительным девизом ей кажется девиз: «Россия для русских») и в то же время отстаивает с величайшей горячностью самостоятельность всех инородцев, ратует против посягательств на их родной язык и веру, скорбит о постепенной утрате какими-нибудь бурятами или чувашами племенных особенностей. Но для русского народа у русской «передовой» журналистики не остается уже никаких не только племенных, но сколько-нибудь добрых чувств. Не любопытно ли, что ея горячею защитой пользуются, например, и католические ксендзы, и протестантские пасторы, и магометанское духовенство, и жидовские раввины, и языческие жрецы, и лишь одному православному священнику отказывается даже в скромных симпатиях! Для инородческого духовенства требуют самых широких прав — русского священника яростно уличают в невежестве, корыстолюбии, нетерпимости, безнравственности. Его едва терпят в городе и положительно не хотят видеть в деревне...

...(Западники. — *Л. А.*) гордятся тем, что совершенно

разорвали с русскими преданиями и традициями. В чем же выражается их любовь к отечеству, в чем же их гордость?

Они почти не скрывают своего идеала, заключающегося теперь уже не только в том, чтобы перефасонить Россию на западноевропейский лад, но чтобы и среди европейских народов отвести ей возможно меньшее, возможно скромное место. С этой целью берутся под защиту все без исключения сепаратисты, поддерживается и раздувается антагонизм между инородческим и коренным русским населением, систематически искажается и перевирается русская история...

Смутное и неопределенное состояние наступало в России. Быстро распространялись анархические учения, падал авторитет власти (и тому немало способствовала печать), в обществе развивались корыстные инстинкты, наблюдался упадок религии, нравственности и семейного начала.

Признаки социального разложения, наблюдаемые в обществе, заставляли людей мыслящих задумываться о будущем России.

«...Тяжело теперь жить всем людям русским, горячо любящим свое отечество и серьезно разумеющим правду, — писал К. П. Победоносцев государю. — Тяжело было и есть, — горько сказать — и еще будет. У меня тягота не спадает с души, потому что вижу и чувствую ежечасно, каков дух времени и каковы люди стали. На крапиве не родится виноград; из лжи не выведешь правды, из смешения лжи и невежества с безумием и развратом сам собою не возникает порядок. Что мы посеяли, то и должны пожинать».

Остро, болезненно ощущали обстановку художники.

«От нас ждут теперь выставочных фуроров, мы должны хлестко развлекать скучающую толпу, как фигляры сезона — Сара Бернар, Цукки... От нас требуют только развлечения, чтобы занять страшную пустоту души» (разрядка моя. — *Л. А.*), — с горечью писал В. Васнецов.

Не все, конечно же, задумывались о первопричине, первоистоках происходящей настоящей борьбы между атеизмом и верой в душах русских интеллигентов. И не потому ли об их работах так отзовется один из современников: «Удивительное ныне художество без малейших идеалов, только с чувством голого реализма и с тенденцией критики и обличения».

Не сразу осознают они, что первопричина эта привела к тому, что, начиная с картины Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» историческая ложь проникала в среду передвижников, исподволь переформировывала и их сознание. И не всякий мог еще сказать вслед за П. П. Чистяковым: «Пора нам начинать поправлять великие замыслы Великого Петра! А поправлять их только и можно, сбросив привитую личину обезьяны. Взять образ простого русского человека и жить простым русским делом, не мудрствуя лукаво. И во всем так. Нужно убедиться, что и мы, люди русские, созданы по образу и подобию Божию, что, следовательно, и мы люди; и можем быть и хорошими и деловыми и сами можем совершенствовать свой гений во всем, во всяком честном деле и начинать, а не смотреть, как ленивая и пакостная обезьяна, на чужие руки! С юности я презирал и ненавидел холопство русского перед иностранцами... Боюсь только, что художники не сумеют умно идти по русской дорожке. Ну да увидим!»

Изыскивая пути нравственного самоусовершенствования, художники мыслящие приходят к образу Христа. По их мнению, лишь православие с его пониманием христианского идеала могло спасти Россию, возвратив высокие нравственные принципы.

В. М. Васнецов, которого так беспокоил, мучил современный мир и за который так грустно и тяжело ему было, не случайно же приступит к росписи Владимирского собора в Киеве и наметит программу росписи: «Выбор религии Владимиром», «Крещение Руси» и «Андрей Первозванный».

«... я не отвергаю искусство вне церкви, — скажет он, — искусство должно служить всей жизни, всем лучшим сторонам человеческого духа — где оно может, — но в храме художник соприкасается с самой положительной стороной человеческого духа — с человеческим идеалом. Нужно заметить, что если человечество до сих пор сделало что-нибудь высокое в области искусства, то только на почве религиозных представлений».

В. Д. Поленов примется писать большое полотно «Христос и грешница».

Обращение к образам природы, сохранившимся с детства у И. И. Шишкина, не случайно. Вспомним, именно в это время в доме его ведутся жаркие разговоры о борьбе добра и зла.

И не случайно то, что в 1886 году он создает по вос-

поминаниям детства картину «Святой ключ близ Елабуги». Разбуженные природой чувства, благодарность за это пробуждение вызывают потребность высказать их, отблагодарить природу, высказать вслух мысли о красоте ее, гармонии, божественном, разлитом в ней. В гармонии природы он видел Бога.

По свидетельству Комаровой, в разговорах И. И. Шишкина с А. И. Куинджи «постоянно поднимались разные интересные вопросы, например об искусстве как религии будущего...» А И. Е. Репин именно в это же время на одной из выставок услышит меткое замечание одного из зрителей, сравнивающего работы Куинджи и Шишкина:

— Шишкин, например, всегда с идеей, в его картинах... слышно настроение гражданина.

Позже Илья Ефимович воспроизведет этот эпизод в книге «Далекое — близкое».

Приведем здесь наброски ответов Ивана Ивановича на вопросы «Петербургской газеты». Публикуя эти вопросы, газета писала 10 января 1893 года: «В конце минувшего года мы обратились к целому ряду писателей, художников, артистов, композиторов с просьбой собственноручно ответить на приводимые ниже вопросы...»

Не безлюбопытно прочитать ответы Ивана Ивановича на вопросы газеты.

«Главная черта моего характера? Прямота, простота.

Достоинство, предпочитаемое мною у мужчины? Мужество, ум.

Достоинство, предпочитаемое мною у женщины? Честность.

Мое главное достоинство? Откровенность.

Мой главный недостаток? Подозрительность. Мнительность.

Мой идеал счастья? Душевный мир.

Что было бы для меня величайшим несчастьем? Одиночество.

Кем бы я хотел быть? Действительно великим художником.

Страна, в которой я всегда хотел бы жить? Отечество.

Мои любимые авторы-прозаики? Аксаков, Гоголь, Толстой как беллетрист.

Мои любимые поэты? Пушкин, Кольцов, Некрасов.

Мои любимые композиторы и художники? Шуман и Серов.

Пища и напитки, которые я предпочитаю? Рыба и хороший квас.

Мои любимые имена? Имена моих детей.

Как я хотел бы умереть? Безболезненно и спокойно. Моментально.

Мое состояние духа в настоящее время? Тревожное.

Недостатки, к которым я отношусь наиболее снисходительно? Те, которые не мешают жить другим.

Что меня теперь больше всего интересует? Жизнь и ее проявления, теперь, как всегда. Положение дел в Европе.

Мой девиз? Быть русским. Да здравствует Россия».

Мастерство его общепризнано. А. Боголюбов уговаривает И. И. Шишкина прислать за границу свои работы для продажи. «... то, что Вы делаете, поверьте мне без лести, почище всех Аппианов и Аллонже, маньеристов, наводняющих здешние магазины. Надо им муху с носа сшибить русским кулаком».

Но И. И. Шишкин не торопится с ответом.

Техника его настолько совершенна, что вызывает восхищение у художников и зрителей.

В. Н. Бакшеев вспоминал, как однажды, когда он копировал голову девочки с картины И. Е. Репина «Не ждали», в зал, где находился этюд И. И. Шишкина «Сосны, освещенные солнцем. Сестрорецк», вошли В. В. Верещагин и П. М. Третьяков: «Посмотрев этюд «Сосны», Верещагин с каким-то восторгом воскликнул: «Да, вот это живопись! Глядя на полотно, я, например, совершенно ясно ощущаю тепло, солнечный свет и до иллюзии чувствую аромат сосны». Когда они ушли, я подошел к этому этюду и долго всматривался в него. «Как Василий Васильевич прав! — подумал я. — Это живой кусок природы, подлинная жизненная правда, принесенная на холст».

Через десятки лет В. Н. Бакшеев назовет этюд жемчужиной русского искусства.

«Я никогда ничего такого живописного у Шишкина не видал», — писал В. Д. Поленов Н. В. Поленовой.

В воспоминаниях хранителя картин Н. А. Мудрогеля «Пятьдесят восемь лет в Третьяковской галерее» находим такие строки: «Между прочим, есть у нас в галерее этюд Шишкина «Сосны, освещенные солнцем». Очень хороший этюд. Третьяков так ценил его, что одно время

держал его не на стене, а на особом мольберте. Так много солнца здесь, так ярко все!»

Кажется, нет такого, что было бы неподвластно кисти художника.

В 1885 году И. И. Шишкин написал «Туманное утро». Его интересовало изображение изменчивого состояния природы. С задачей справился блестяще. И. Н. Крамской назвал «Туманное утро» одной из удачнейших вещей его.

В 1889 году Иван Иванович представил на XVII передвижной выставке картину «Туман». Удивленный тонкостью кисти художника, благосклонный к творчеству его, некий зритель произнес шутливо, но благожелательно:

Иван Иваныч, это вы ли?
Какого, батюшка, тумана напустили.

Много работая в технике офорта, не будучи портретистом, Иван Иванович в 1886 году создает меж тем глубоко психологический автопортрет.

Его же пейзажи, выполненные в той же технике: «Опушка», «Чернолесье», «Пески», «Папоротник» были признаны подлинными шедеврами.

«...если он — один из первых в ряду современных русских живописцев пейзажа, то как гравер-пейзажист — единственный и небывалый в России, — писал А. И. Сомов. — Мало того, среди аквафортистов столь богатой мастерами этого рода Западной Европы найдется лишь мало соперников ему по искусству передавать в гравюре растения, особенно густые леса, сосны и ели. Живи и работай он в одном из таких центров художественной деятельности, как Париж, Лондон и Вена, или заботься он о распределении своих эстампов вообще в чужих краях — известность его сделалась бы широкою. Но, к сожалению, он не умеет или не желает искать репутации вне пределов своей Родины. Он горячий патриот и довольствуется тем, что его знают и уважают соотечественники».

Нельзя не привести здесь любопытного признания Н. П. Вагнера, сделанного в начале 80-х годов: «Мой добрый знакомый А. Н. Я-й рассказывал мне, что в одном магазине картин и рисунков в Дюссельдорфе он встретил рисунки пером Шишкина. Хозяин магазина хранил их как святыню и, показывая их моему знакомому, сказал:

— Вот вещи, которые я никогда никому не продам,

потому что им нельзя назвать цену. Если бы ваш художник остановился и сосредоточился на таких рисунках, то давно бы имел громадное состояние».

В 1886 году, издав третий альбом офортов, в 26 листов, Иван Иванович, уступив настояниям А. П. Боголюбова, отправил несколько листов в Париж.

Его офорты называли маленькими «поэмами в рисунках».

Только те, кто знает кропотливую технику офорта *, может понять, сколько труда и усилий было потрачено на издание их. Малейшая ошибка — и начинай все сначала. Сколько вполне законченных досок переделывалось им, ибо он считал, что они недостаточно полно передавали нужное настроение.

Издатель одного из его альбомов офортов А. Ф. Маркс, наблюдавший за работой художника, вспоминал следующее: «Он не только печатал листы, но и варьировал их до бесконечности, рисовал на доске краской, клал новые тени, делал другие пятна, звезды, лунные блики... Весь в возбуждении работы, сильный, уверенный, он являлся действительно большим мастером, напоминающим собою художников былого времени».

Рисунки же углем, представленные на выставке Академии художеств, привели всех в восхищение, ибо такого богатства черного цвета в русской живописи до И. И. Шишкина не показывал никто.

Трудно было поверить, что такие разные по настроению пейзажи воссозданы простым углем.

Работа, работа, работа... Заканчивая одну картину, он натягивал холст на подрамник для следующей. То, что иные делали за неделю, он успевал сделать за день.

Ходил по мастерским друзей, знакомых. Его интересовало, что делают они, чем дышат.

Известно, в октябре 1886 года он настоял на том, чтобы И. Е. Репин закончил работу над портретом М. И. Глинки. Илья Ефимович, как известно, был в отчаянии, ибо портрет не шел, и готов был «перекрестить» «этот злосчастный опыт».

Невозможно теперь узнать в подробностях разговор, происшедший между Иваном Ивановичем и Ильей Ефимовичем, но важно отметить, что Шишкин горячо одоб-

* Офорт — одна из разновидностей гравюры по металлу. Рисунок процарапывается на покрытой лаком пластине и вытравляется азотной кислотой (eau-forte по-французски).

рил идею создания картины. Ему было дорого все, что связано с Россией, что составляло ее гордость. От Ивана Ивановича Репин узнал о том, что на украшенной литьем с нотными знаками решетке, которая предназначалась для памятника М. И. Глинке в Смоленске, названия произведений композитора воспроизведены трудновоспринимаемой простым народом вязью.

— Многое же теряется от этого в памятнике, — сердился Иван Иванович.

Известно, Шишкин, Репин и Литовченко осмотрели эту решетку, выставленную для обозрения перед отправкой в Смоленск. «Шишкин нападал на вязь поднисей, в самом деле, черт ногу сломает, пока доберешься до слова; сто раз читаешь, рассердишься, пока уразумеешь эти искалеченные буквы», — писал И. Е. Репин.

25 февраля 1887 года на открывшейся в доме петербургской дамы-меценатки Боткиной XV передвижной выставке зрители могли увидеть известную теперь всем картину И. Е. Репина «Глинка в эпоху создания Руслана».

Возле же картин Ивана Ивановича «Дубы», «Дубовая роща», «Пески», как и в прошлом году, перед «Заповедной дубовой рощей Петра Великого в Сестрорецке», стояла масса народа.

Днем раньше выставку посетил государь. Он был необыкновенно мил и деликатен, перед каждой картиной, которую он желал приобрести, спрашивал, не заказана ли она кем-нибудь, и, получив отрицательный ответ, говорил, что оставляет картину за собой.

Он приобрел картину Мясоедова «Косцы», шишкинские «Дубы», маленькую вещь В. Маковского и большое полотно Поленова «Христос и грешница». Уезжая, поблагодарил всех за прекрасную выставку, разрешил все приобретенные им картины везти в провинцию, пожелал успеха.

— Его величество перед суриковской «Боярыней Морозовой» долго стояли, — передавали на другой день в публике.

О шишкинских дубах говорили, что никем и никогда еще в России они так не передавались.

— Мастерство и полное овладение предметом достигли пределов возможного, — высказывали мысль свою люди искушенные. — Далее идти нельзя.

— Современное европейское искусство, можно сказать, светит да не греет. Про наше, русское, того не скажешь, — говорили другие.

В 1898 году В. М. Васнецов закончит работу над картиной «Богатыри», начатую в 1881 году. Как близки по духу эти две картины: васнецовские «Богатыри» и шишкинская «Дубовая роща».

Были на XV передвижной выставке и работы Н. Н. Крамского: портреты Е. И. Ламанского, О. В. Струве, П. М. Ковалевского. Вряд ли мог предвидеть Иван Николаевич, что это его последняя выставка. 24 марта его не станет.

Отношения со многими из членов Товарищества художественных передвижных выставок у Крамского были сложными. В последнее время Иван Николаевич все более склонялся к мысли, что Товариществу как идее пора умирать. «Дай бог, чтобы я ошибался, но если Академия хоть два-три года устроит передвижные — конечно, Товарищество как идея убито разом! Для всех ясно будет одно, что и та и другая группа желает только побольше получить с публики двугривенных. Какая жалкая перспектива! — писал он 16 июля 1886 года В. В. Стасову. — Что я вынес за эту зиму со времени возникновения слуха о передвижных академических выставках?! И никому это не казалось таким, как мне. По ходу человеческих дел я жду, что Товарищество прибьет к берегу, как негодное бревно, а главное русло весело побежит вперед, и надолго!» Через пять дней в письме к В. В. Стасову он выскажется более категорично: «Товарищество как форма отжило свое время».

Мысль о том, что нельзя служить одновременно Богу и маммоне — все более и более занимала его, мучила, не оставляла душу в спокойствии. Словно бы желая разобраться в том, что случилось с ним, он все чаще обращается к прошлому, анализируя его. «Когда мы получили возможность наедаться досыта, не в праздники только, а и в будни, явилась у некоторых жажда духа, а у других полное довольство и ожирение», — констатирует он в письме к В. В. Стасову, и, чувствуется, размышляет он обо всем этом не случайно. Собирая средства, чтобы иметь возможность жить и трудиться, не потеряли ли товарищи его и сам он из виду цели, не позабыли ли из-за денег все существенные вопросы и задачи жизни; поклоняясь золотому тельцу, не перестали ли думать о Боге? Он первым, может быть, из передвижников приходит к мысли о необходимости слияния с Академией, где есть школа, необходимости обращения к важным фило-

софским проблемам, отражения этих проблем в искусстве. Со Стасовым он порывает, и критика незамедлительно реагирует на это. В рецензии на «Неизвестную» автор А. З. Ледаков писал в «Санкт-Петербургских ведомостях»: «Художник круто и решительно отвернулся от стасовского реализма, и, наоборот, в последних своих работах изгнал его совсем, взамен которого появилось правдивое изящество...»

Мысли Ф. М. Достоевского, идеи В. С. Соловьева затрагивали душу, требовали уединения. И в работах его появляются образы людей сосредоточенных, внутренне замкнутых, углубленных в мысли свои. Достаточно вспомнить портрет философа и поэта В. С. Соловьева, эскиз для картины «Концерт А. Г. Рубинштейна», неоконченное большое полотно «Выздоравливающая».

Он обращается к религии, ища в ней ответы на вопросы, мучающие его.

К. П. Победоносцев, с которым И. Н. Крамской искал встречи и нашел ее, так характеризовал художника в письме Александру III от 15 апреля 1885 года: «Крамской из всех художников, кого я знаю, более симпатичен, потому что у него душа живая, русская и религиозная. Он глубоко чувствует и глубоко понимает».

К. П. Победоносцев оказывает содействие художнику в получении заказа на роспись русской православной церкви в Копенгагене. И. Н. Крамской в 1883—1885 годах работал над двумя большими панно «Молитва Александра Невского перед битвою со шведами» и «Пострижение в схиму Александра Невского».

Художник, ощущая всю серьезность своей болезни, торопится делать главное. В письмах к В. В. Стасову нет более симпатии, а есть попытка объяснить характер возникших разногласий. Словно бы напоминая адресату о прошлых его призывах, И. Н. Крамской пишет: «В 1863 году искренно пожелал свободы, настолько искренно, что готов употреблять все средства, чтобы и другие были свободны; я думал, что в этом заключается разрешение всех вопросов художественных, устранение аномалий и здоровый рост. Свободы от чего? Только, конечно, от административной опеки, но художнику зато необходимо научиться высшему повиновению и зависимости от... инстинктов и нужд своего народа и согласно внутреннего чувства и личного движения с общим движением...»

Крамской ищет возможности вернуться, слиться Товариществу с Академией художеств, ибо осознает, и мысль эта гнетет его, что Товарищество не может существовать без серьезной, академической школы. Возвращение к религии и образование учеников — вот задачи, которые он видит перед собой.

«Мне страшно умирать и жаль закрывать глаза без личной уверенности в торжестве того дела, которое любил и которое считал своим по праву рождения и по кровной связи. Умирать без уверенности в преемниках, так сказать, без потомства», — писал он. Да, он искал возможности объединения с Академией художеств во имя спасения русского искусства, и мысль эта была верно понята Иваном Ивановичем Шишкиным. После кончины И. Н. Крамского И. И. Шишкин, пожалуй, единственный из передвижников будет целенаправленно отстаивать эту мысль. И возьмет верх над товарищами.

Осиротеет семья И. Н. Крамского, опустеет без хозяина квартира его в доме Елисеева, что на углу набережной Малой Невы и Биржевой линии, на Васильевском острове. Останутся после художника развешанные на стенах и поставленные у стен портреты, начатые, оканчиваемые и вполне оконченные, которых, в сущности, он никогда не любил.

Отсюда, в один из февральских дней 1885 года, вырвется у него в письме к А. С. Суворину сокровенное признание, характеризующее отношение его к Шишкину: «Когда Шишкина не будет, тогда только поймут, что преемник ему не скоро сыщется...»

Прочитав все письма и сочинения И. Н. Крамского, П. П. Чистяков со вздохом заметит: «Он все грустил о Русской школе, грустил, что она гибнет, а в то же время сознавал, что она идет. Конечно, идет и идет не по его воле. Его еще на свете не было (разумею как художника), а она уже шла! Ну а если дело идет, и если сознаешь это, то кричать и плакать на что-то недосягаемое в пространстве не следует... Жаль мне его! Жил бы да жил, да работал бы! Я все думаю, что он жив, и все хочу сходить к нему и сказать: брось, братец ты мой, всю ветошь пророка, совлеки с себя все лишнее и живи с миром! Криком плодится интрига, пожалуй, рынок оживляется! Но искусство растет и крепнет в мастерских тихо, любовно, не болтливо и не на показ... Неужели он не

догадывался, что искусство и после него останется и будет жить и развиваться еще лучше, нежели он воображал...»

В мае 1887 года Иван Иванович вместе с Евгением Петровичем Вишняковым, офицером, членом отдела живописи Русского технического общества и действительным членом Русского географического общества, с которым его связывали многолетние добрые отношения, выехал на этюды в Вологодскую губернию.

Е. П. Вишняков серьезно занимался живописью, и его пейзажи, гравированные на дереве, печатала «Нива». Особо он тяготел к этюдам. В том, вероятнее всего, сказывалось влияние Шишкина. Иван Иванович подчас не только давал ценные советы при просмотре работ, но и сам выбирал точку съемки пейзажа.

Некоторые работы Е. П. Вишнякова хранились у Шишкина.

Большие любители путешествий, они немало исходили по вологодской земле. Из поездки была привезена масса рисунков речных порогов, разлива.

На материале поездки была написана картина «Бурелом», выставленная на XVI передвижной выставке в 1888 году.

Живой Шишкин. Есть ли что интереснее тех крох, сохранившихся в воспоминаниях современников, которые позволяют ощутить живость его?

«...живя как-то летом в Меррекюле с некоторыми из своих учеников, Шишкин частенько писал этюды в парке, — рассказывал со слов родственников Ивана Ивановича В. В. Каплуновский. — Вот раз подходит к нему генерал (дилетант-живописец), рассматривает, щурится и покровительственно замечает:

— Гм... ничего... схвачено как будто недурно...

Художник встает и, приветливо раскланиваясь, отвечает с улыбкой:

— Благодарю за лестный отзыв. Позвольте познакомиться. Шишкин.

Смущенному генералу оставалось одно — поскорее стушеваться».

В Елабуге, в семидесятых годах нынешнего столетия, в доме-музее И. И. Шишкина, в один из дней появился девяностолетний старик, который, как выяснилось, знал Шишкина, служил в доме.

— У него был громкий голос и длинная борода, и я боялся его, — говорил старик. — Всегда робел, когда подавал ему кушать.

(Шишкин довольно часто опаздывал к обеду, занятый на этюдах, и обедал в своей комнате.)

— Частенько потихонечку подсовывал ему тарелку с супом, — продолжал старик. — А Шишкин говорил: «Чего робеешь? Ставь вот так!» — брал тарелку и стукал ее об стол».

Мальчишку брал на этюды. Тот носил ему кисти.

— Шишкин ящик несет, я — кисти. Они тяжелые. Он уйдет далеко, а мне тяжело. Я плачу, — вспоминал старик. — Уставал. Он меня на закорки посадит и несет. А я — кисти его».

«Однажды в ресторане у Додона собрались они — художники, — рассказывала О. П. Гвоздева — внучатая племянница Ивана Ивановича. — Пели, веселились, как всегда. Иван Иванович принялся бранить молодых великих князей, которым преподавал живопись. Говорил, бестолковые они в учении. Вдруг подходит к нему господин, в гороховом пальто, и требует следовать за ним.

— Да что ты меня пугаешь, — говорит Иван Иванович. — Едем во дворец, — и достает пропуск. Был у него пропуск во дворец. — Я и там то же говорю, в глаза. Едем.

Господин стушевался и начал ретироваться».

Писательница Е. И. Фортунато, видевшая Шишкина на даче в Преображенском, где жил он летом с дочерью-подростком, вспоминала о встречах с художником:

«...издали увидела холщовый зонт и фигуру сидящего на складном стуле художника.

Подошла. Стала за его спиной и смотрю. Он писал дубы. И довольно долго делал вид, что меня не замечает. Потом слегка обернулся и спросил:

— Художница?

— Нет. Но очень люблю искусство, а ваши картины в особенности. Разрешите мне стоять здесь сбоку и смотреть, как вы работаете?

— Смотрите, только не мешайте.

Так началось наше знакомство.

За два месяца моего пребывания в Преображенском дня не проходило, чтобы я не виделась с Шишкиным. Мы встречались как старые знакомые, почти как друзья.

— Работать! Работать ежедневно, отправляясь на эту работу, как на службу. Нечего ждать пресловутого «вдохновения»... Вдохновение — это сама работа! — говорил Иван Иванович.

Знаете, как работает Золя? Пишет ежедневно в определенные часы и определенное количество страниц. И не встает из-за стола, пока не закончит положенного им на этот день урока. Вот это труженик! А как он изучает материал, прежде чем начать писать! Как он знакомится со всеми деталями того, что собирается описывать!

Так работал и сам Шишкин. Работал, ежедневно, тщательно. Возвращался к работе в определенные часы, чтобы было одинаковое освещение. Я знала, что в 2—3 часа пополудни он обязательно будет на лугу писать дубы; что под вечер, когда седой туман уже окутывает даль, он сидит у пруда, пишет ивы; и что утром, ни свет ни заря, его можно найти у поворота дороги в деревню Жельцы, где катятся сизые волны колосящейся ржи, где загораются и потухают росинки на придорожной траве.

Шишкин ко мне привык и как будто даже ценил мой настойчивый интерес к его работе. Стою, бывало, рядом с ним и восхищаюсь. На холсте яркими красками оживают небо, река, кустарник, лес...

— Иван Иванович, знаете, лес у вас более настоящий, чем в природе.

Он смеется.

Я не знаю человека, так влюбленного в наш русский лес, как был влюблен в него Иван Иванович Шишкин.

Помню, однажды меня застигла в лесу гроза. Сначала я пыталась укрываться под елями, но тщетно. Скоро холодные струйки потекли по моей спине. Гроза промчалась, а дождь лил с прежней силой. Пришлось идти домой под дождем. Свернула по тропинке к даче Шишкина, чтобы сократить путь. Вдали, над лесом, сквозь густую сетку дождя светит яркое солнце.

Я остановилась. И тут на дороге, возле дачи, увидела Ивана Ивановича. Он стоял в луже, босиком, простоволосый, вымокшие блуза и брюки облепили его тело.

— Иван Иванович! Вы тоже попали под дождь?

— Нет, я вышел под дождь! Гроза застала меня дома... Увидел в окно это чудо и выскочил поглядеть. Какая необычайная картина! Этот дождь, это солнце, эти росчерки падающих капель... И темный лес вдали! Хочу запомнить и свет, и цвет, и линии.

Помню еще один случай. Я ходила в деревню Жельцы по каким-то хозяйственным делам. Жара была адова. Раскаленный песок на дороге буквально обжигал ноги. Я решила свернуть напрямик через поле. Шла очень быстро, опустив голову.

Остановил меня терпкий запах ромашки. Я опустила глаза и чуть не вскрикнула: все поле было сплошь покрыто ромашкой. Земля нигде даже не сквозила между сочными, сильными кустами с ярко-зеленой листвой и громадными звездами цветов. Можно было подумать, что ромашку посеяли здесь намеренно. А ведь это был пар, и ромашки, упорные и сильные сорняки, вероятно, мало радовали хозяев этого поля. Но что за прелесть!

— Что за красота! — услышала я как бы в ответ своим мыслям.

Иван Иванович стоял у самого края поля, не отрывая глаз от ликующих цветов.

— Я случайно, — начала я.

— А я второй раз прихожу. Дочь открыла эту прелесть и прибежала в венке из ромашек. Осторожнее! Вы чуть не раздавили! — И, нагнувшись, он выпрямил примятый мною роскошнейший куст.

Таким — влюбленным в каждый цветок, в каждый кустик, в каждое деревцо, в наш русский лес и полевые равнины — я всегда вспоминаю Ивана Ивановича Шишкина».

Женщины чутко улавливали эту внутреннюю красоту в нем. Любили его. И он не был равнодушен к красоте женской. За границей, перед самым возвращением на родину, отдал дань столь понятным для юности увлечениям — «шлялся и мотал деньги с хорошенькими девочками». Впрочем, позже такого уже не повторялось. Но зато истинная любовь щедро одарила его в зрелые годы.

Достаточно взглянуть на портреты Е. А. Шишкиной и О. А. Лагоды-Шишкиной, чтобы понять, женщины красивые были преданны ему. Добрый семьянин, заботливый отец, он до конца жизни был верен дому родительскому, помогал родным, как мог. Посетив весной 1884 года Елабугу, увидел там племянника — сына умершего брата Николая и, узнав, что он желает быть художником-пейзажистом, увез его с собой в Петербург. Зиму тот работал усердно, но весной решил стать актером,

пристрастился было к театру, но уехал в Елабугу, где и умер от чахотки. Иван Иванович тяжело переживал смерть юноши: на нем кончался мужской род Шишкиных, жалел о погибшем незаурядном даровании.

С конца восьмидесятых годов будет жить в семье Шишкиных, в Петербурге, племянница его Александра Комарова, дочь Е. И. Комаровой, приехавшая из Уфы учиться в Академии художеств — первый, как уже говорилось, биограф Ивана Ивановича, оставившая бесценные о нем воспоминания.

Нельзя не привести здесь и еще одного семейного предания. Иван Иванович, видимо, в один из последних приездов на родину, пережил последнее серьезное увлечение. Была в городе на Тойме женщина, которою увлекся он. Был и ребенок. К сожалению, трудно теперь узнать в подробностях историю последней любви Шишкина, и можно только гадать, почему не был заключен церковный брак. Правда, известно, что церковь весьма неохотно идет на такой шаг. И даже сам обряд венчания в таких случаях лишен торжественности и включает покаянные молитвы.

Он был интересен в разговоре. Интересен верными, глубокими, подчас неординарными суждениями, идущими вразрез с общепринятыми. Насколько притягательны они были, можно судить по тому, что с ним любил беседовать вновь назначенный на должность конференц-секретаря Академии художеств вместо уволенного за взяточничество и махинации граф И. И. Толстой, которому Иван Иванович высказывал свои суждения о роли и назначении Академии.

У И. И. Шишкина же в доме собирались на свои «среды» передвижники, что, конечно же, характеризует их отношение к «лесному царю».

О глубокой внутренней работе мысли можно судить хотя бы потому, как, оттолкнувшись от общей мысли К. А. Савицкого «затеять картину с медведями в лесу», Иван Иванович приходит к полотну «Утро в сосновом лесу», в котором угадывается величайший философ, высказавший ясно и полно учение свое, заключающееся в познании, постижении и приближении к Богу своему — природе.

Глава пятнадцатая
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

К. А. Савицкий написал по эскизу И. И. Шишкина медведей в картине «Утро в сосновом лесу», но подписи своей на картине первоначально не поставил. Не поставил, ибо, по-видимому, осознавал, что его предложение изобразить медведей в лесу явилось лишь поводом для написания Шишкиным полотна, более глубокого по содержанию. И чуткая критика уловила разницу материала. «Уйдите взглядом в этот седой туман лесной дали, в «Медвежье семейство в лесу» или в прихотливую чащу его «Дебрей», — писал рецензент, литератор В. М. Михеев, — и вы поймете, с каким знатоком леса, с каким сильным объективным художником имеете дело. И если цельности вашего впечатления помешает что-нибудь в его картинах, то никак не деталь леса, а, например, фигуры медведей, трактовка которых заставляет желать многого и немало портит общую картину, где поместил их художник...»

На XVII передвижной выставке картина была выставлена за подписью одного Шишкина. Ее приобрел П. М. Третьяков. В рецензиях фамилия К. А. Савицкого не упоминалась. Выставка в Петербурге закрылась 2 апреля, а 12 апреля на открывшейся в Москве, в Московском училище живописи, ваяния и зодчества выставке, посетители могли увидеть на картине «Утро в сосновом лесу» рядом с подписью И. И. Шишкина фамилию К. А. Савицкого. Под этими фамилиями картина была обозначена в московском каталоге.

Сам К. А. Савицкий писал 4 марта 1889 года родителям жены Дюмуленам: «Не помню, писали ли мы Вам о том, что на выставке я не совсем отсутствовал. Затеял я как-то картину с медведями в лесу, приохотился к ней. И. И. Ш-н и взял на себя исполнение пейзажа. Картина вытанцевалась, и в лице Третьякова нашелся покупатель. Таким образом убили мы медведя и шкуру поделили! Но вот дележка-то эта приключилась с какими-то курьезными запинками. Настолько курьезными и неожиданными, что я отказался даже от всякого участия в этой картине, выставлена она под именем Ш-на и в каталоге значится таковою.

Оказывается, что вопросы такого деликатного свойства в мешке не утаишь, пошли суды да пересуды, и пришлось мне подписаться под картиной вместе с Ш., а за-

тем поделить и самые трофеи купли и продажи. Картина продана за 4 т., и я участник в 4-ю долю! Много скверного ношу в сердце своем по этому вопросу, и из радости и удовольствия случилось нечто обратное.

Пишу Вам об этом потому, что привык держать сердце свое перед Вами открытым, но и Вы, дорогие друзья, понимаете, что весь этот вопрос крайне деликатного свойства, а потому нужно, чтобы все это было совершенно секретным для каждого, с кем я не желал бы разговаривать».

Письмо написано разгоряченным сиюминутной ситуацией К. А. Савицким, который был весьма разумен в жизни. Видимо, в какой-то степени задело его как художника, что П. М. Третьяков или И. И. Шишкин (теперь уже трудно это установить) определили работу его в четверть от стоимости картины.

Нельзя не привести здесь и любопытного воспоминания Н. А. Мудрогеля, которое в какой-то степени позволяет понять возможную ситуацию, вызвавшую подобную реакцию у К. А. Савицкого.

«Не ладил он (П. М. Третьяков. — *Л. А.*) иногда с К. А. Савицким, — вспоминал Н. А. Мудрогель. — Какая-то черта этого художника не нравилась Третьякову. В 1898 г. он приобрел у Шишкина его большую картину «Медвежье семейство в лесу». На этой картине медведей написал Сав., почему Ш. и предложил Сав. подписаться. Савицкий подписался, но уже после того, как картина была куплена Третьяковым. Когда картина была доставлена в галерею, Третьяков удивился, увидев подпись Сав-го.

— Я покупал картину у Ш. Почему еще Сав.? Дайте-ка скипидару.

Я принес французский скипидар, и Третьяков смыл подпись Савицкого. Через несколько дней Сав. приезжает в галерею и смотрит, нет его подписи. Он ко мне: «Где подпись?» Я очень смутился и объяснил ему его историю.

Я думаю, что все недоброжелательство Третьякова против Сав. возникло из-за другой картины художника — «Встреча иконы».

О мотивах возможного недоброжелательства можно судить по факту, сообщаемому Е. Г. Левенфиш, автором монографии о К. А. Савицком: «Еще один раз, в 1893 году (о более раннем случае не сообщается. — *Л. А.*), Сав. попытался подправить колорит этой картины («Встреча иконы»), когда он в галерее Третьякова делал с нее вариант-повторение (по заказу И. Е. Цветкова). Тогда эта попытка Савицкого чуть не привела его к ссоре с Третьяковым, кот. никому из авторов, после того как картина попадала в галерею, не разрешал к ней прикасаться».

Отношения между художниками до конца дней оставались дружескими. Через несколько лет после смерти И. И. Шишкина К. А. Савицкий, который тогда жил в Пензе, устроил выставку картин и двухсот офортов И. И. Шишкина, хранившихся у него. Незадолго до смерти Иван Иванович подарил К. А. Савицкому картину «Лес-осинник». Дарил он редко и, как правило, людям дорогим и симпатичным ему.

Более всего он расположен к молодым, внимателен к ним, радеет за них. «Обращаюсь к Вам с просьбой — будете посылать мне деньги, возьмите из них 50 рублей и передайте ученику Училища живописи Василию Александровичу Журавлеву. Он, бедняга, просит. Он жил или теперь еще живет у Е. С. Сорокина — пожалуйста...» — писал он 5 апреля 1890 года Хруслову. В том же году обратился к секретарю Общества поощрения художеств Н. П. Собко с просьбой об увеличении стипендии ученику Академии художеств Фомину, «человеку достойному, положительному и честному». В письме к А. А. Киселеву от 6 декабря 1891 года просил узнать, нуждается ли ученик Училища живописи и ваяния Петр Первунин в деньгах, дабы помочь ему. Бывали случаи, когда люди непорядочные играли на его отзывчивости, и он, получая письма с просьбой о помощи, попадал на эту удочку. «Обманывали, шельмы», — признавался Иван Иванович.

Подарил он этюд и талантливому художнику В. Д. Поленову, который 24 февраля 1889 года, за день до открытия передвижной выставки, зашел вечером к Ивану Ивановичу. «...Очень много говорили и обо многом договорились.

...Шишкин мне даже подарил этюд, что он очень редко делает, — в такую я к нему взошел в милость», — писал В. Д. Поленов.

Говорили, вероятно, не об одной выставке, рассуждали, надо думать, и о делах академических. В то время, по свидетельству Комаровой, на «средах», происходивших в доме у И. И. Шишкина, только и говорилось, что об Академии. Многие радовались тому, что Исеев попался на взятках, и ратовали за закрытие Академии, другие выступали за ее реорганизацию. В числе последних был и

Иван Иванович Шишкин. Не раз и не два вспоминал он Крамского, мысли его о необходимости создания школы.

— Армия противников увеличивается молодежью, — говаривал Иван Николаевич, — и молодежь эта враждебна даже нашим положениям в искусстве... Товарищество наше не увеличивается в силах и работниках, а Академия увеличивается и с каждым годом все больше и больше будет увеличиваться...

— Вот когда такой человек был бы нужен, — повторял Иван Иванович, — никто бы теперь не был так на месте, как Крамской. Поймите, — говорил он, обращаясь к товарищам, — академическое дело — позор для нас, русских художников, и каждый по мере сил должен стараться его исправить.

На него нападали Куинджи и Ярошенко.

— Вы связались с графом Толстым, Иван Иванович, выдумали помогать Академии, — говорили с осуждением они, — и того не понимаете, что для передвижников важнее всего, чтобы ей было как можно хуже.

Шишкин горячился и отвечал весьма сердито:

— Юноши, будущие художники, идут не к нам, а в Академию, надо подумать и о них. И пока товарищи будут держаться и работать, как они и прежде работали, никакая Академия им не страшна, так как задача их различны.

Споры были ожесточенными. Большинство шло за Куинджи и Ярошенко. Но шли больше по привычке, и это особенно вызывало раздражение у Шишкина.

Поостынув, более спокойно говорил он:

— Русские должны положить почин, у них нет еще вековых традиций. А дело новой Академии — на века. Старая Академия, построенная по образцу западных, в России не могла привиться. Она, на мой взгляд, должна заключать ныне в себе управление всеми школами и художественными делами, и сделаться должна заведением, где были бы не ученики, а художники, уже заявившие себя чем-нибудь, но еще молодые и неопытные; они пользовались бы там советами людей опытных и имели бы помещение для занятий.

Ярошенко, до конца дней оставшийся непримиримым врагом Академии, говорил Шишкину:

— Толстой уйдет, что станете делать?

— А он уйдет, уйдет, — убежденно поддакивал Куинджи.

— Иван Иванович, не делайте глупостей, не связывайтесь с Академией, не сближайтесь с графом Толстым, — настаивал Ярошенко.

Шишкин стоял на своем.

— Вперед надобно смотреть, — говорил он. — Дело важное, на десятки лет, целое сословие затронет.

В конце концов лед тронулся. Куинджи, поразмыслив хорошенько, перешел на сторону Ивана Ивановича, а за ним следом и еще несколько человек разошлись с Ярошенко. В Академии художеств назначили комиссию для создания нового устава, и в нее выбрали некоторых передвижников: Поленова, Савицкого, Мясоедова, Куинджи. Ивана Ивановича не выбрали; знали, он не любит заседаний, терпеть их не может. Шишкин был благодарен за это.

В 1891 году Г. Мясоедов написал портрет И. И. Шишкина. Иван Иванович изображен в мастерской в тот момент, когда рассматривает только полученный оттиск офорта. (В скобках заметим, велико было влияние Шишкина, бесед его на Г. Г. Мясоедова, для которого потребностью, необходимостью было запечатлеть на полотне Шишкина.) Засучены рукава модной куртки, на ногах красивая обувь. Он обихожен, спокоен, уверен в себе. Но одно лишь, видимо, интересует его по-настоящему — работа.

Угадывается и внимание, которым он был окружен в семье. И как тут не вспомнить ревнивого замечания И. Е. Репина, сообщавшего в одном из писем В. Д. Поленову: «У Шишкина, как всегда, много этюдов. Очень комфортабельно у него устроила сестра жены его квартиру: прекрасная мебель, уютно и очень мило. Хорошо, когда женщина способна устроить семейный очаг; только редкость такие женщины!»

Сохранилась фотография, на которой Иван Иванович, в этой же модной одежде, запечатлен за работой на природе.

После Шмецка, близ Нарвы, где был превосходный лес, подходивший к самой даче, Шишкины отправились на острова и прожили там до середины октября 1888 года на Крестовском. Иван Иванович писал Неву, запущенный сад Лаваль, к которому ездил на лодке. В Шмецке («места хорошие, а люди дрянь... Немцы и немецкие чухни ужасно надоели») много фотографировал. Ждал

Волковского, но тот так и не объявился. Приезжала жена Гине с дочерью.

Осенью предполагалось на Всемирной выставке в Париже показать картины передвижников. Но затея не выгорела. Подвели сжатые сроки.

Зима выдалась морозная и держалась долго. По-видимому, в эту зиму И. И. Шишкин написал один из лиричнейших этюдов «Золотая осень», который он выставил позже, в 1891 году, на выставке работ передвижников. Осенний лес, берег озера. Истинная музыка звучит в нем. Иван Иванович как цветовик в этой работе трудно сравним с кем-либо. Такой воды у него еще никогда не видели.

На следующее лето он отправился в Петрозаводск. Побывал на знаменитом водопаде Кивач, по пути делая зарисовки леса. Писал этюды в Мерп-Хови, гостя, по-видимому, у Бориса Николаевича Ридингера — владельца мызы, будущего супруга дочери Лидии.

Съездил он и в Финляндию, где сделал несколько набросков горящего леса.

Возвратившись в Петербург, приступил к работе над картинами «Зима в лесу» и «Зима».

В апреле обратился с просьбой к управляющему морозовскими мануфактурами Е. М. Хруслову помочь заполучить от владельцев мануфактуры нечто вроде «открытого листа», ибо с целой компанией собирался выехать на этюды в Тверскую губернию. Сведений же о местности, кроме Ниловой пустыни, не имели никаких.

Картины, несмотря на высокие цены, им назначенные, находили покупателей. Журнал «Нива», приобретя в собственность две картины Шишкина — «Сосновый лес» и «Запущенный парк», — воспроизвел их на своих страницах, дав и портрет его. О впечатлении, полученном от воспроизведенных работ, известил в том же апреле месяце долго молчавший друг детства, двоюродный брат М. Н. Подъячев. «Затем с особенною отрадою вгляделся в портрет твой в № 52 «Нивы», — писал он. — К сожалению, портрет этот произвел на меня не отрадное впечатление: выражение болезненности, тяжелого духовного состояния, желчи (если только не исказила литография натуры), выражающаяся в лице и даже всклокоченной большой бороде... Таким и я себя нередко вижу в зеркале в тяжелом тревожном состоянии...»

Е. М. Хруслов выполнил просьбу И. И. Шишкина. Был получен следующий документ: «Приказчикам заштлюзных рощей Крупскому, Щербакову и другим. Правление поручает Вам принять сего Ивана Ивановича г. Шишкина и его товарищей, показать им лес и озера во владениях Товарищества, предоставив им помещение в лесных конторах и все возможные удобства. Директор Я. Гартунг».

В мае вместе с Е. П. Вишняковым отправились к истокам Волги, в Тверскую губернию. Но сделано было немного. Сам Иван Иванович через год напишет следующее: «Малочисленность этюдов с верховьев Волги была обусловлена как не совсем благоприятной погодой во время поездки (стояли холода), так, в особенности, чрезвычайно дурными дорогами для проезда к верховьям. Приходилось с большим трудом двигаться по топям, болотам и грязям при почти полном безлюдье этой стороны».

Закончилась поездка деревней Коковкино.

Связана с именем Шишкина в Тверском крае и еще одна деревня — Волговерховье. Здесь он сделал несколько этюдов. Известно из рассказов людей местных, старожилов, что Шишкин в благодарность гостеприимным хозяевам, коковинским крестьянам, подарил картину, изображающую ручей Волгу. Местонахождение этой картины неизвестно.

Тронул его красотой своей Селигер. Особо привлекли его острова Столобный и Городомля, на которых он работал.

Городомля — второй по величине остров на Селигере. Вековые сосны на нем. А в глубине леса — внутреннее озеро.

Когда-то остров принадлежал боярину Борису Федоровичу Лыкову. В 1629 году тот подарил его мужскому монастырю Нилова пустынь. На острове был основан Гефсиманский скит, в котором селились престарелые монахи-схимники *.

Деревянная ярусная церковь да несколько деревянных домов в одно-два окошка — вот и все жилье на острове. По ночам, в глухом лесу, ухал филин, кричала у озера выпь...

«Роща, принадлежащая Ниловой пустыни», «Старая сосна в Ниловой пустыни», «Часовенка над ключом, дающим начало Волге», «Первый мостик через Волгу», «Лесная глушь в начальном течении Волги», «Лес Ниловой пустыни» — эти работы Иван Иванович представит на

* Схимники — монахи, принявшие «схиму», особенно строгий монашеский обет.

персональной выставке, которая откроется в Академии художеств в 1891 году.

Из Тверской губернии Иван Иванович отправился в Финляндию, на этюды, ненадолго задержавшись в Петербурге. В Финляндии, по свидетельству Комаровой Иван Иванович принялся за изучение солнечных пятен на соснах и песке, нарисовал несколько бесподобных рисунков больших сосен.

Работа была прервана свадьбой дочери. Лидия обвенчалась в Териоках с Борисом Николаевичем Ридингером и уехала в его имение Мери-Хови.

Грустно и одиноко было Ивану Ивановичу. Не сразу и нелегко согласился он с мыслью, что первенец его — Лидия, с которой, чего греха таить, иногда бывал суховат, отныне будет жить не с ним, а в чужой семье.

«Слава богу, что довольна и счастлива, — тяжело вздохнув, напишет он ей 18 июня 1890 года из Петербурга. — Дай вам бог и впредь согласия и любви... Примите от меня благословение на все доброе, честное и хорошее. Остаюсь любящий вас сердечно. А ты, милая Люля, не думай, что я к тебе был суров и сух, и не пеняй за прошлое. Остаюсь любящий отец твой...»

«Вот и остался почти что один, — думал он, поглядывая на десятилетнюю Ксению. — Старый-престарый трухлявый пенек... И начинается у одних новая жизнь, а у других... у других закат на горизонте. Закон жизни...»

Дела Академии художеств увлекли его. Мысль об учениках не оставляла его. Он подумывал о программе обучения.

Талантливому Фомину, который спрашивал у него, как надо учиться, говорил:

— Учиться надо сначала у природы. И только потом, когда научился видеть, понимать натуру, уже для приобретения изящества, для усвоения высшей красоты, созданной человеком, нужно изучать вечные образцы человеческого творчества.

Они частенько беседовали с ним о пейзаже, назначении его. «О пейзаже Шишкин говорил, что это самый молодой род живописи, так как всего только каких-нибудь сто лет прошло с тех пор, как люди начали понимать и изучать жизнь природы, а прежде самые великие мастера становились в тупик перед деревом, что человек среди природы так мелок, так ничтожен, что отдавать ему преимущества нельзя».

— Разве в лесу не чувствуешь себя таким слабым, уничтоженным, разве не сознаешь, что составляешь только какую-то ничтожную частицу этой невозмутимой и вечно прекрасной природы? — спрашивал он Фомина. — Природа вечна, и вечен лишь дух человека. Нынешнее поколение не умеет еще понимать таинства природы, но в будущем, помяните мое слово, в будущем придет художник, который сделает чудеса, и он будет русский, потому что Россия страна пейзажей.

Так, со слов И. И. Шишкина, записала разговор Комарова.

В один из дней познакомился через И. Е. Репина с Н. С. Лесковым. Начал бывать у него. Любил этого писателя. Познакомившись, почувствовал близкого человека.

— Люблю ваши задумчивые леса, — сказал при первой встрече Лесков.

— А я ваш давнишний читатель и поклонник, — ответил Иван Иванович.

Заговорили о Валааме, петербургских знакомых, литературе.

— От того, чем заняты умы в обществе, нельзя не страдать, — говорил Лесков, — но всего хуже понижение идеалов в литературе. Рассолилася она совсем. Многие пишут гладко ныне, да это ничего не стоит. Я вот, признаюсь вам, жду чего-нибудь идейного разве что от Фофанова. Старики уходят, а молодежь... молодежь... Чехов вот талантлив очень, да не знаю, коего он духа. Самомнящее в нем есть нечто и сомнительное. Впрочем, возможно, и ошибаюсь.

— Репин вот говорит об «оподлении» общества. Сказывает, и в коей-то степени верно, произошло это по той причине, что вытравлены лучшие, даровитейшие силы. Убеждает, настает царство посредственности. А ведь происходит такое, на мой взгляд, по одной причине, — отходит человек от церкви и забывает идею, идеалы нации.

— Верно, верно, Иван Иванович. Тогда не радеет человек за душу нации, когда свою душу без пригляда оставляет. Вот оттого и забывают люди пишущие о назначении своем. Где она, скажите, нынешняя критика? Кто из них до сих пор понял вред нигилизма, игравшего в руку злодеям, имевшим расчеты пугать царя Александра Второго и мешать добрым и умным людям его

времени? Не для России ли русский человек жить должен?

С Н. С. Лесковым не раз и не два будут говорить они о литераторах и художниках, задачах их.

В июне 1894 года, узнав о смерти Н. Н. Ге, интересуясь, где и при каких условиях умер он и где и как схоронили его тело, Н. С. Лесков направит письмо Т. Л. Толстой, в коем будут такие строки: «А за час до известия у меня сидел Шишкин, и мы говорили о Ге. Здесь много художников, и все вспоминают о нем с большими симпатиями, и всем хочется знать: где и как он совершил свой выход из тела».

Мысль о «выходе своем из тела» подстегивала Шишкина, торопила сделать главное. А главное заключалось во внимании к ближнему, помощи ему.

Нельзя не упомянуть здесь и еще об одном знакомстве И. И. Шишкина.

Фамилия Д. Н. Кайгородова ныне мало что говорит читателю. А ведь его книгами «Беседы о лесе», «Краснолесье», «Из зеленого царства», «Из царства пернатых» зачитывалось не одно поколение людей.

«Я страстно полюбил лес с тех пор, как узнал его поближе, и чем больше узнаю его, тем больше люблю», — писал Д. Н. Кайгородов.

Мальчишкой, получив в тринадцать лет в подарок от отца ружье, он по целым дням пропадал в лесу, на берегах речушки Полоты. Но возвращался с охоты чаще всего с пустыми руками. Более всего заинтересовала его жизнь леса и степи. Охотником он так и не стал.

По настоянию отца окончил кадетский корпус. Начал служить в конной артиллерии. И тогда попала ему в руки книга А. Брема «Жизнь животных» и «Естественно-исторический атлас» Шуберта. Мысль о том, что подобных книг нет у русских натуралистов, не давала ему покоя.

Через много лет в своей книге «Беседы о лесе» Дмитрий Никифорович напишет: «...цель этих «Бесед»: распространение знаний о лесе и, при посредстве этих знаний, приобретение друзей и хранителей для нашего родного русского леса. Не сомневаюсь — многие могли бы написать лучше меня, я ждал — не написали. И вот я решился сам написать и написал как умел...»

Появятся книги «Собиратель грибов», «О наших перелетных птицах»...

Но все это будет потом. Проходя службу в Польше, молодой поручик много и увлеченно наблюдает за природой, и приходит мысль, что военная служба — ошибка. На его счастье, его переводят из конно-артиллерийского полка в Санкт-Петербург, на Охтинский пороховой завод, на должность технического офицера-пороходела. С сентября по апрель предприятие не работало, и у Кайгородова появилась возможность серьезно заняться изучением жизни пернатых.

Он поступил вольнослушателем в Земледельческий институт, а через четыре года окончил его и получил диплом. Вышел в отставку и начал новую жизнь — лесничим. Два года провел в Австрии, Германии, Франции, Швеции, где изучал технологию лесного дела.

Вернувшись в Россию, начал работать в Земледельческом институте, возглавив кафедру лесной технологии и лесного инженерного искусства.

Он публикует множество работ, и некоторые из них привлекли внимание Шишкина. Образный язык и, главное, глубокая любовь к лесу. И какая!

«Черным лесом, или чернолесьем, называет русский народ лес, состоящий из лиственных деревьев, т. е. таких, у которых лист состоит из пластинки с черешком и которые на зиму теряют свой лист — из зеленых становятся черными. Береза, дуб, липа, ясень, клен, вяз, ольха, осина, тополи, разные ивы и многие другие деревья и кустарники, растущие в наших лесах, принадлежат именно к таким лиственным древесным породам и составляют наше чернолесье.

Хорошо это чернолесье! Такое оно уютное, приветливое в сравнении с угрюмым, хотя и более величественным красным или хвойным лесом. Какое славное в нем сочетание различных теней и оттенков зеленого цвета листвы, начиная со светлой серовато-зеленой и вечно тревожной осины и до темно-зеленого, величавого дедушки-дуба...

Но зато сколько радости доставляет нам весеннее возрождение лиственного леса!

Кому не дорого то время, когда

Еще прозрачные леса
Как будто пухом зеленеют.

У кого в это время года не бьется радостно сердце и не становится на душе веселее, как бы праздничнее?!

Вот зазеленели «будто пухом» березы, зажелтели своими маленькими цветочными букетиками клены, забелели кистями белых цветов черемухи и рябины; точно лиловатым дымком подернулись раскидистые ильмы и вязы, усыпанные кучечками крошечных цветочков, а между тем на них не видно еще ни одного листика; зарумянилась своими молоденькими листочками беспокойная осина; точно золотой пылью осыпаны, стоят цветущие вербы, ракиты и ивы».

Немудрено, что они сошлись быстро, и скоро Иван Иванович дополнил одну из книг Д Н. Кайгородова своими рисунками. «Беседы о русском лесе» переиздавались восемь раз.

— Ах, Иван Иванович, глядя на ваши картины, так живо вспоминаешь детство, — говорил Дмитрий Никифорович. — Я мальчонкой так любил бродить по таким вот заброшенным тропинкам. И эти цветы. Сколько, бывало, ромашек нарвешь, васильков. Идешь во ржи, а она, матушка, выше головы твоей, а вокруг васильки да птицы над головой. И хочется лечь наземь и вдыхать свежие запахи лазоревых цветов. Знаете ли, Иван Иванович, есть у меня мечта наладить выпуск доступного журнала, в котором можно было бы сообщать о весенних и осенних признаках в окрестностях Петербурга.

— Верная, верная мысль, Дмитрий Никифорович. Чем могу, пособлю обязательно.

Журнал станет издаваться в 1888 году. Не одно десятилетие «Дневники» станут любимым чтением детей и взрослых. Ученый-лесовод М. Е. Ткаченко так выскажется о «Дневниках Петербургской весенней и осенней погоды»: «...от них веяло такой любовью к природе и такой свежестью поэтического чувства, что и взрослые, и дети душных городов отдыхали на них, как бы соприкасаясь с целительными силами матери-земли».

Архип Иванович Куинджи, небольшого роста, но крупный, плотный, плечистый, с головой Зевса олимпийского вел жизнь свободную, созерцательную. Посещал выставки, академические собрания, мастерские знакомых, но сам не выставлялся. Не выставлялся с 1882 года, вскоре после того, как нашумела в Петербурге его картина «Лунная ночь на Днепре».

— Почему вы бросили выставляться? — спрашивали у него.

Архип Иванович отвечал:

— Ну, так эт-та вот так (он слегка заикался): художнику надо выступать на выставках, пока у него, как у певца, голос есть. А как только голос спадет — надо уходить, не показываться, чтоб не осмеяли. Вот я стал Архипом Ивановичем, всем известным, ну, эт-то хорошо, а потом увидел, что больше так не сумею сделать, что голос стал как будто спадать Ну, вот и скажут: был Куинджи и не стало Куинджи! Так вот я же не хочу так, а чтобы навсегда остался один Куинджи.

Изредка ходил он в театр, любил особенно оперу, но чаще предпочитал попросту посидеть с друзьями.

Лет в сорок он пришел к мысли, что, нажив огромное состояние, многое можно будет изменить в этой жизни. Он считал, бороться со всяким злом можно только деньгами. Надо только распределять их разумно.

Целеустремленный и настойчивый, он упорно шел к своей цели. Купил и привел в порядок три огромных пятиэтажных дома. Покупал, перепродавал и зарабатывал на картинах. Не стеснялся не слишком благовидных финансовых операций, для него цель оправдывала средства

А хотел он одного — помогать студентам Академии художеств, тем, кто особенно нуждался в помощи. И добился своего. На его деньги уезжали они за границу, больные отправлялись на курорты, на лечение, многие получали помощь от него, когда, казалось, ждать ее не от кого было

Он чуть ли не в три раза дороже продал свой дом, чем купил — за четыреста тысяч, но вскоре сто тысяч отдал в Академию на премии художникам за картины.

На себя тратил мало. Даже прислуги не имел. Единственная роскошь, которую он позволил себе, был маленький сад на крыше дома. «Семирамидины сады», любил говорить Иван Иванович Шишкин, бывая в гостях у Архипа Ивановича. Они подружились в конце восьмидесятых годов. Куинджи бывал у Ивана Ивановича чуть ли не каждый день. Говорили об искусстве, о борьбе добра и зла в обществе, обсуждали работы Ивана Ивановича, даже мелом чертили перспективу задуманной или начатой картины, выискивая верное решение. Иван Иванович долгое время находился под обаянием Архипа Ивановича и называл его чародеем. Как человек наблюдательный, он подметит, что честолюбие было главной и, может быть,

единственной слабостью Куинджи, но до поры до времени не придаст тому большого значения.

Много было верного и близкого в его суждениях, высказываниях. Любопытно было и послушать этого «хитрого грека».

— Меня давно уже, — говорил Архип Иванович, — занимает вопрос о причине влияния пейзажа на зрителя именно теперь, в наше время. В древности ведь пейзаж был не особо почитаем. Даже в XVI веке, помните, Иван Иванович, пейзаж если и был, то служил рамкой: тогда вдохновлялись человеком, тогда поклонялись уму человеческому. В старину пейзажу не было места. Теперь другое. Теперь разуверились в самобытной силе человеческого разума и в том, что верный путь к истине можно найти, только углубясь в самих себя, становясь метафизиком, поняли, что, изучая природу, поймут лучше и себя. И век наш когда-нибудь будут характеризовать появлением естествознания и пейзажа в искусстве. Оба черпают из природы. Бесконечное, высшее, разумнейшее, божественное и вдохновляющее нашлось вне человека, в понимании, изучении и изображении природы.

— Вот-вот, — соглашался Иван Иванович.

— И думается мне, как естествознанию принадлежит в близком будущем высшее развитие, так и пейзажной живописи между другими родами искусств. Человек не потерян как объект изучений и художества, но он является теперь не как владыка, а как единица в числе.

Кроме любви к искусству, была у обоих и еще одна страсть — к птицам, объединяющая их. В доме у Ивана Ивановича была даже птичья комната: канарейки, скворцы, синицы оглашали ее своим пением. У Архипа же Ивановича чуть ли не со всего Васильевского острова слетались воробьи и вороны в его сад, когда он в полдень выходил на крышу с зерном и кормил их. Он подбирал на улицах больных птиц, лечил их. Рассказывали, птице, заболевшей дифтеритом, он вставлял перышко в горло и тем спас ее от гибели. Живой, разгоряченный беседой, он вдруг внезапно грустнел, а на вопрос, что случилось, вздыхая, жаловался на жену:

— Вот моя старуха говорит: с тобой, Архип Иванович, вот что будет — приедет за тобой карета, скажут, там вот на дороге ворона замерзает, спасай. И повезут тебя, только не к вороне, а в дом умалишенных.

И слушатель не мог удержаться от смеха.

По заказу петербургского издателя П. П. Кончаловского, одного из пайщиков известного книгоиздательства И. Н. Кушнерева, Иван Иванович исполнил два рисунка к произведениям М. Ю. Лермонтова, собрание сочинений которого готовилось к выпуску в свет и приурочивалось к 50-летию со дня гибели поэта. В подготовке богато иллюстрированного издания приняли участие Врубель, Серов, Васнецов, Поленов... Иван Иванович выбрал для иллюстрации два стихотворения: «Сосна» и «Родина». Работа над рисунками навела на мысль написать и картину маслом «На севере диком...». Когда ее увидит В. К. Бялыницкий-Бируля, он, человек требовательный, скажет: «Помните М. Ю. Лермонтова «На севере диком...» — лунная ночь, сосна как ризой одета. Я убежден, что если бы Лермонтов увидел картину Шишкина, он был бы счастлив».

В зиму 1890/91 года Иван Иванович несколько раз выезжал в Мери-Хови. Ему важно было наблюдать зиму и снег. Зимние сюжеты заинтересовали его. На мызе у дочери им написаны были «Морозный день», «На севере диком», «К вечеру».

Именно в то время П. Ф. Исеев, как уже говорилось, был снят с должности конференц-секретаря по обвинению в расхищении значительных государственных сумм, отдан под суд и сослан в Сибирь. В. И. Якоби, который был близок с ним и пользовался его покровительством и поддержкой, а потому и сам имел влияние в Совете Академии, пострадал также.

В. Д. Поленов писал жене: «Эти дни в русском артистическом мире — огромная сенсация по поводу выгонки из Ак. худ. Исеева и Якоби. А я нахожу, что таких исеевых у нас так много, что всегда найдутся новые, тем более, что дело не в них, а в тех, кто во главе стоит...» Мнение В. Д. Поленова совпадало с точкой зрения П. П. Чистякова, который считал, пока «чиновник действует, Ак. художеств вне зависимости от лиц, занимающих административные посты, будет приходить в упадок».

В Академии художеств под председательством президента великого князя Владимира комиссия (в числе ее были и некоторые из передвижников) работала над новым уставом. В. В. Стасов, предчувствуя, что реорганизация неминуема и многие художники перейдут преподавать в Академию, бранился, рвал и метал против В. Д. Поленова и других за то, что они «опозорили» имя

передвижника, приняв участие в реформе Академии. По обыкновению, говорил в горячности «кучу вздора», по выражению одного из современников.

В комиссии же пришли к общей мысли, что Академия есть собрание из всех выдающихся деятелей по искусству в России, она будет заведовать всем делом поддержки и развития искусства в России. Предполагалось, первый состав будет назначен государем. Решено было, что под ближайшим наблюдением Академии станет находиться Высшая школа изящных искусств. Состоять она будет из натурного класса и мастерских. Назывались предположительно и фамилии возможных преподавателей: Репина, Чистякова, Васнецова, Шишкина, Куинджи...

Весну и лето Иван Иванович работал в Ораниенбауме. Возвратившись с семьей осенью в Петербург, он задумывается о ретроспективной выставке своих этюдов и рисунков, написанных за 40 лет. Важно было собрать по годам, в строгом порядке, все рисунки, офорты, литографии и цинкографии... Да, именно так, от первого ученического рисунка до картины «В лесу гр. Мордвиновой...», написанной этим летом, на которой в изображенном старике внимательный зритель узнал бы самого Ивана Ивановича.

Ретроспективную выставку, связанную с двадцатилетием художественной деятельности, решил устроить и И. Е. Репин. Вместе начали вести переговоры с Академией художеств о выделении помещения для выставки. Была и еще одна цель, которую преследовали художники: устраивая выставку в стенах Академии, они начинали глубокий разговор с ее учениками о важности реализма в искусстве.

Разрешение на выставку было получено, и Шишкин занялся приготовлением к ней. Нужно было привести триста этюдов и почти столько же рисунков в порядок. Работы пропасть.

«В голове у меня сумбур от затеянной мною выставки своих этюдов, столько хлопот и разных страхов. Пускаюсь в большое мирское плавание... А как на меня накинулись за мою выставку Ярошенко, Брюллов, Лемох,— но я огрызаюсь сильно. Да, еще забыл одного — Куинджи, этот миллионер о «честности высокой говорит», — писал Иван Иванович 15 ноября 1891 года А. А. Киселеву.

Н. А. Ярошенко, узнав от Ивана Ивановича Шишкина о готовящейся выставке, вспылил.

— Идти в Академию значит пачкать свою репутацию, — сказал он. Его поддержал Куинджи.

— Да поймите вы, — доказывал, сердясь, Иван Иванович, — я имею дело только с залой Академии, Товарищество наше всю жизнь боролось не со стенами, а с людьми, которые там были.

С Н. А. Ярошенко поссорились всерьез. Остальные глухо и недовольно ворчали, поговаривали, что он сам себя хоронит, даже называли выставку «посмертной».

На заявление одного из старых товарищей он так обиделся, что готов был порвать с Товариществом. На «средах», когда передвижники собирались у него в доме, он уходил в другую комнату и в общем разговоре не участвовал, ибо боялся сорваться и наговорить дерзостей. Сам он знал, что не заигрывает с Академией. В одну из «сред», разгоряченный общим возмущением (один лишь Куинджи начал потихоньку заступаться за него), Иван Иванович пошел в наступление.

— Занять на время залу Академии не значит войти в ее состав, признать какое-нибудь ее начальство, — говорил он. — Вы хоть это способны понять?

Все чувствовали искренность слов Ивана Ивановича и начали говорить, что ничего не имеют против него, что все были недоразумения.

Худой мир лучше доброй ссоры, решили все, и мир был заключен.

26 ноября 1891 года выставка открылась в залах Академии художеств и имела небывалый успех. Всех поражало, что все это сделано одним человеком: 300 этюдов и более 200 рисунков. И это лишь черновая работа!

Иван Иванович, довольный, говорил:

— Вы, нынешние, ну-тка!

Он уже не сердился на товарищей, может быть, памятуя слова В. Д. Поленова: надо брать у людей, что в них есть хорошее, а не портить себе существование их дурными сторонами.

В каталоге выставки приводятся слова Шишкина: «В деле искусства — будь то живопись, архитектура или другая отрасль — великое значение имеет практика. Она одна только дает возможность художнику разобраться в той массе сырого материала, которую доставляет природа. Поэтому изучение природы необходимо для всякого художника, а для пейзажиста в особенности.

Любя русскую природу и работая над изучением ее около 40 лет, у меня накопился значительный запас этюдов, рисунков и проч. материала, необходимого для сознательного воспроизведения этой природы. Материал этот я представляю в настоящее время на суд публики, предполагая при этом, что подобные выставки работ художника за все прожитое время дают довольно определенное понятие о приемах, с которыми художник относится к изображаемой им природе».

Выставка имела успех. «Шишкин и Репин дали возможность зрителю получить законченное представление о формировании их творческих индивидуальностей, о процессе работы над картиной, об их художественном методе...» — писал один из рецензентов.

Множество работ было закуплено с выставки Академией.

Внимательный наблюдатель, анализируя события, не мог не прийти к мысли, что в среде передвижников происходят важные изменения. И. Е. Репин, устраивая ретроспективную выставку, на очередной передвижной выставке не участвовал. Он вышел из Товарищества. Шишкин, выставляя свои работы в залах Академии совместно с репинскими, как бы поддерживал его, негласно вставая на его сторону.

И. Е. Репин протестовал против создания Совета в Товариществе, который, согласно внесенному изменению в Устав организации, формировался только из членов-учредителей, не оставлявших Товарищество со дня его основания. Новый устав преграждал дорогу молодым. «Старички» пеклись о собственном благополучии, и это было весьма заметно.

«Принято бранить Академию, называть ее мачехой, а я так или иначе ее вспоминаю, для меня она была родной. Я несказанно ей за все благодарен, я обязан ей художественным образованием, обязан моими художественными связями. В стенах ее, как в лучше всего обставленной высшей художественной школе России, я бы, конечно, был рад поделиться с подрастающим поколением тем, что сам приобрел в течение двадцатилетней трудовой жизни работы...» — напишет 3 ноября 1896 года В. Д. Поленов И. Е. Репину. И как созвучны были эти мысли мыслям Ивана Ивановича в то время, когда все более и более осложнялись его отношения со старыми товарищами.

«Иван Иванович не мог опять сразу сойтись по-прежнему с товарищами, не мог им в угоду бросить дело, которому он вполне сочувствовал, принимая к сердцу все, что происходило в Академии, и стараясь привлечь других к этому делу, — писала Комарова. — Больше прочих его поддерживал в этом Куинджи, с которым наружно продолжались дружеские отношения, хотя несколько раз готова была вспыхнуть ссора — больше всего из-за забот Куинджи о Товариществе, которым Шишкин не верил. Иногда Иван Иванович, написав ему резкое письмо, объявлял, что он один только вполне понимает «хитрого грека» и не поддастся больше на его добродушие и что между ними все кончено. Вдруг раздавался звонок, входил Куинджи и иногда со слезами извинялся, что у него что-то неловко вышло, нечаянно, и тогда из кабинета только слышалось громогласное: «Нет, ты постой, я говору, я говору». Куинджи говорил час, два, и Иван Иванович, выходя из кабинета с пристыженным видом, сообщал: «Помирились, ну его совсем... Что уж тут» — и они опять были друзьями до первого случая, задевавшего самолюбие Ивана Ивановича».

Отношения оставались напряженными, осложнялись все более. Судить о том можно по следующему факту: петербургские члены Товарищества, регулярно собиравшиеся по средам обычно у Ивана Ивановича, начиная с 1892 года заседания «сред» перенесли к другим членам Товарищества. К. В. Лемох, как бы сглаживая происшедшее, писал Шишкину: «Многоуважаемый Ив. Ив.! Дозволь выразить мое мнение относительно «сред»; конечно, тебе неудобно, и твоей любезностью мы злоупотребляем...»

Упоминание о «средах» у Шишкина встречаются впоследствии лишь в переписке 1895 года.

Вышел из состава Товарищества В. М. Васнецов, не согласный с изменениями в Уставе. Обсуждал с В. Д. Поленовым вопрос о возможном выходе из Товарищества Н. Д. Кузнецов. «Думаешь ли поднять вопрос об изменении устава подлого и в случае отказа ихнего что намерен делать? Одним словом, если ты выйдешь из Товарищества, то и я тоже», — писал он Василию Дмитриевичу.

Нельзя не упомянуть здесь и о том, что К. А. Савицкий серьезно подумывал о том, чтобы «крепко примкнуть» к выставке И. И. Шишкина и И. Е. Репина, состоявшейся в залах Академии художеств.

М. В. Нестеров решает не выставлять на двадцатой

передвижной выставке своей картины и, даже не распаковав ее, отправляет назад.

О сложных делах в Совете свидетельствует письмо В. Д. Поленова от 17 февраля 1892 года.

«Сейчас вернулся из заседания Совета, — писал он жене. — Заседание было и бурное и абсурдное. Маковский говорил такие наглости, что повторять гадко. Савицкий изрекал успокоительные нелепости, Брюллов горячился, Киселев вилял, Ярошенко ссылался на каких-то знакомых ему юристов. Один Мясоедов спокойно и честно относился к делу. В конце концов я и Ге провалились по всем проектам и выходим из Совета...»

На XX передвижной выставке Иван Иванович показал две работы: «В сосновому лесу» и «Летний день». Вероятнее всего, на этой выставке состоялось знакомство Ивана Ивановича с Александром III, о чем рассказывал с чьих-то слов в своих воспоминаниях Я. Д. Минченков: «Иван Иванович не был поклонником каких бы то ни было чинов и гордился независимостью своего положения. Он всячески старался избегать встреч царя на выставке, когда должны были собираться члены Товарищества, да еще во фраках. Шишкин никак не мог представить свою фигуру во фраке. Однако пришлось и ему натянуть на свои плечи чужое одеяние. Царь Александр III пожелал видеть знаменитого автора лесных пейзажей.

Пришлось к открытию следующей выставки, к приезду царя, взять напрокат фрак, обрядить в него молодца Ивана Ивановича, как к венцу, и представить перед государевы очи.

— Так это вы пейзажист Шишкин? — спросил царь.

Тот потряс бородой, молча соглашаясь с тем, что он действительно пейзажист Шишкин.

Царь похвалил его за работы и пожелал, чтобы Иван Иванович поехал в Беловежскую пущу и написал там настоящий лес, которого здесь ему не увидеть.

Шишкину и на это пришлось в знак согласия потрясти бородой.

Царя проводили, Иван Иванович подошел к зеркалу, посмотрел на свою фигуру, плюнул, скинул фрак и уехал домой без него, в шубе.

Повезли Шишкина в Беловежские леса, а там уже было известно, что едет художник из Петербурга по повелению царя. Выслали за ним из царского охотничьего

дворца экипаж и нянчились с ним во все пребывание его там, как с великим вельможей. Иван Иванович жаловался, что нельзя было шагу сделать без того, чтобы не спрашивали: «Куда вам угодно, что прикажете».

Не оставляли его в покое и на этюдах. Один раз пишет лес, где на первом плане стоит полузасохшее дерево. Подъезжает к нему управляющий лесами. Посмотрел на этюд и обращается с просьбой: «Нельзя ли полузасохшее дерево на этюде уничтожить?» Шишкин удивлен, а управляющий поясняет: «Ведь вы повезете картину в Петербург, а там посмотрят и скажут: «Ну и хорош управляющий — довел лес до того, что деревья стали сохнуть».

Этот обширный отрывок из воспоминаний весьма характерен: по нему нетрудно судить, как, с какой теплотой рассказывали художники о Шишкине. Уважение к нему явственно чувствуется за строками рассказа.

Впрочем, Я. Д. Минченков не совсем точен. На этюды в Спалу в Беловежскую пущу Иван Иванович выехал с Е. П. Вишняковым и А. Н. Шильдером. Работали как всегда с раннего утра дотемна. Лето выдалось холодное. В июне Шишкин перебрался в Шмецк. Дожди не мешали его работе. Возвращаясь домой продрогший, он позволял себе пропустить рюмочку-другую, «с холода». В лесу, как всегда, мастерил сиденья из пней, сучьев и мха. Писал большие этюды.

В конце лета из-за холодов выехали на Крестовский. На островах Иван Иванович работал до первых белых мух.

58 этюдов (из них 17 «громадных»), наработанных за лето и осень, Шишкин решил выставить в Академии, дабы заставить замолчать тех, кто все упорнее начинал говорить, будто он исписался, выдохся, не может больше работать.

Да, иному и трех лет не хватило бы на то, чтобы сделать то, что он сделал за несколько месяцев.

Зрители и критика увидели, что и в колорите он истинный виртуоз.

В январе 1893 года множество публики съезжалось и сходилось к зданию Академии художеств, в залах которой демонстрировались летние и осенние работы Шишкина.

Издатель Ф. И. Булгаков выпустил, с небольшим разрывом во времени, два альбома с репродукциями работ Ивана Ивановича.

Сам же художник, переведя всю прибыль от выставки в пользу вновь основанного Петербургского общества пособия потерпевшим от пожара в Петербурге, приступил к работе над картиной «Старый валежник».

В феврале 1893 года, на двадцать первой передвижной выставке, вместе с двумя другими работами Шишкина «Пасмурный день» и этюдом «Лес» ее могли увидеть зрители.

Печать на сей раз, словно бы сговорившись, почти не упоминала работ Ивана Ивановича. Лишь неизвестный автор в «Семье» назвал лучшей картиной выставки «Старый валежник».

«Никто, кажется, не спорит, что истинная задача пейзажной картины — создать в смотрящем на нее известное более или менее тонкое настроение, более или менее приближающееся к тому, какое в самом художнике вызвала изображенная действительность и какого непосредственно не может она дать обыкновенному смертному, — писал он и продолжал: — Картина Шишкина достигает этой цели в совершенстве: недаром перед ней всегда толпится несколько человек, недаром, обойдя всю выставку, опять возвращаешься к «Старому валежнику», и не хочется уходить из этого угла, где так хорошо пахнет смолою и мхом и пробившееся сквозь зонт хвои солнце ласкается к зеленому пушистому ковру, где все навевает тихую сладкую дрему и гонит прочь всякую мысль об оставшейся там, позади опушки, суетливой сутолоке...»

Молчание газет отнюдь не было случайным. Сдержанность журналов человеку наблюдательному могла также сказать о многом. В Академии художеств происходила внутренняя реорганизация, и далеко не безразлично кому-то было, кто возглавит Совет Академии, кто будет руководителями мастерских, кто будет направлять русское искусство.

В Академии и художественных кругах, а также в печати с настороженностью приглядывались к деятельности И. И. Толстого, который ратовал за новые академические порядки, введение индивидуальных мастерских, занятия в которых велись бы «исключительно по системе и личному усмотрению профессоров-руководителей».

Смутное время сказалось и на Иване Ивановиче. Летом, выехав на дачу в Дудергоф, которую наняли еще зимой, он почти не работал. Начал несколько больших этюдов, но ни один не кончил. Смотрел на войска, проводившие учения на Красносельском поле, да иногда наблюдал красивые тучи.

На какое-то время мрачное настроение рассеял А. И. Куинджи. Приехав к Шишкиным, он объявил, что И. И. Толстой назначен вице-президентом Академии художеств.

Возвратившись в Петербург, Иван Иванович приступил было к работе, но какие-то семейные неприятности (Комарова не вполне внятно упоминает о них) вывели вновь его из душевного равновесия. Всех в чем-то подозревал, ходил из комнаты в комнату, по ночам не спал, читал, чтобы отвлечься, детективные романы, но и они не помогали, и он обратился к шкалику. Сидел один до утра со своими тяжкими думами.

Надо полагать, не одни академические дела вывели его на время из равновесия. Возможно, донеслись до семейных известия из Елабуги о последнем и глубоком увлечении Ивана Ивановича. Впрочем, то лишь предположения.

18 декабря 1893 года он получил уведомление о назначении его профессором — руководителем пейзажной мастерской Высшего художественного училища при Академии художеств.

«...по ходатайству августейшего президента Академии воспоследовало высочайшее государя императора соизволение на назначение Вас профессором — руководителем мастерских...

К сему долгом считаю присовокупить, что вступление Ваше в отправление обязанностей профессора-руководителя последует с осени будущего, 1894 г.», — писал ему граф И. И. Толстой.

Предложение, к которому он, казалось бы, должен быть готов, привело его в смятение. Он не мог сразу решиться принять его. Слишком серьезен был шаг, и надо было настроить себя сделать его. А пока он нагнетал страхи, уговаривая себя и родных, что в Академии надо «действовать», то есть интриговать, а он не умеет этого. «Как это можно кого-нибудь учить», — с сомнением произносил он, но учеников у него было предостаточно, и сомнение оказывалось неуместным. Пугал его и Куинджи, который более десяти лет не выставлял работ, а теперь брался преподавать. Как же работать с таким человеком? Но Архип Иванович был так решителен, что настрой его передался Ивану Ивановичу, и он, по настоя-

нию Куинджи, принялся писать программу для учеников мастерской, как надо учиться пейзажу.

С Куинджи договорились действовать сообща.

Сомнения, однако, не покидали его. Приходившим из Академии ученикам и людям посторонним, ежели видел талант, давал советы. Но бывал столь строг, что приводил в смущение молодых живописцев. Барышни, по свидетельству Комаровой, почти всегда ударялись в слезы от его суровости. Не менее растерянно чувствовали себя и юноши. Правда, в добрую минуту его трудно было узнать. Был мил и внимателен. Но такое бывало редко.

Весну и лето работалось плохо.

Осенью пришлось вступать в обязанности преподавателя.

Вместе с Шишкиным на должности профессоров-руководителей были утверждены А. И. Куинджи, И. Е. Репин, В. В. Маковский.

В Собрание Академии, которое направляло и руководило всеми делами, находящимися в ведении ее, вошли наиболее крупные художники: Суриков, Поленов, В. Васнецов, П. Чистяков, В. Маковский. Передвижники, казалось, могли праздновать победу.

«Если Академия дает стены, дает полную автономию преподавателю, полную свободу устройства своих выставок, так отчего теперь ломаться? — писал И. Е. Репин В. В. Стасову. — Теперь Академия в руках у такого милого, доброго, просвещенного человека, как И. И. Толстой, ни капли формалиста, говорящего прямо: сделайте хорошее дело, — ручаюсь, пока я здесь, никто не помешает вам, придите и устройте Академию, как собственную школу, о которой вы мечтали и которой не могли осуществить; вам полное доверие и возможность открывается».

Репин даже пошел на разрыв с критиком, который считал, что возвращение передвижников в Академию «есть шаг назад к мраку и погибели».

Тревога и сомнения Шишкина случайными не были. Порождены они были отнюдь не неверием в собственные силы как педагога, руководителя мастерской, нет, мысль о предстоящем столкновении с «чиновничьим духом», чиновничьим миром, который продолжал существовать в Академии художеств и который не смог бы изжить и И. И. Толстой, приводила его в смятение. Не мог не знать он, что совсем недавно еще против П. П. Чистякова плелись хитроумные интриги в Академии, прямого и честного человека и художника хотели выгнать и говорили, что Чистяков сведет с ума Академию. Лишь с уходом Исеева интриги прекратились, но надолго ли?

Неприязнь к интриганству и бесила его. Плести интриги, а следовательно, лишаться душевного мира он положительно не мог.

Постепенно «чиновничья среда» сделает свое дело. Уйдет из Академии Шишкин, уволят Куинджи, расстанется с Академией Репин. Но все это в будущем. А пока... пока по утрам Иван Иванович отправлялся на набережную Невы, в здание Академии художеств.

— Чтобы стать настоящим художником, надо полностью подчинить себя натуре, — говорил он ученикам. — Будем учиться создавать портреты природы.

Учеников знал не первый год, и те знали его требования. Борисов, Химона, Бондаренко, Вагнер, Рушиц и другие частенько в прежнее время бывали у него дома.

В первый день занятий он был весел, дружелюбен и очаровал всех.

— Приступим к рисунку. И коль скоро слякотная погода не позволяет пребывать нам на природе, обратимся к фотографии, — предложил он и выложил из папки несколько фотографических снимков, отобранных им накануне.

Живой, импульсивный, прямодушный Куинджи не признавал системы обучения, развиваемой Шишкиным. Не рисунка, но цвета требовал Архип Иванович от учеников. У него писали картины, и это привлекало в его мастерскую учеников Шишкина, которые принуждены были корпеть над рисунком с «мертвой», как им казалось, фотографии. Частенько они появлялись в мастерской у Куинджи и подолгу задерживались там. Чаевничали, обсуждали новости. Впрочем, «деда» своего любили и уважали.

Мастерские художников находились в смежных помещениях нижнего этажа Академии с окнами, выходящими на 3-ю линию Васильевского острова.

Иван Иванович ценил в Куинджи колориста и однажды предложил ему слить мастерские и преподавать вдвоем. «Я буду учить рисунку, а ты — колориту», — сказал он. Архип Иванович неожиданно наотрез отказался от предложения и прямодушно заявил, что находит метод Шишкина вредным для живописи. Иван Иванович

обиделся. Между руководителями мастерских произошло охлаждение.

Все ревнивей относился старый лесовик к тому, что ученики его скучали над однотонными фотографиями лесных пейзажей, снятых с натуры в увеличенном виде. Похоже, не все из них осознавали, что зимой нельзя учить с натуры передаче формы и рисунка деревьев. Не у всех хватало терпения дожидаться лета. Все дольше и дольше задерживались они у Куинджи и испрашивали у него совета. Те же, что принимали идеи Шишкина, кропотливо учились рисунку.

Донеслись до Шишкина и неодобрительные отзывы Куинджи о его некоторых работах. Разрыв стал неминуем. Честолюбие взяло верх в преподавателе Куинджи. Чтобы наработать авторитет, он не всегда заставлял работать учеников, предоставляя им в том полную волю. Дело, правда, кончится тем, что однажды, через два-три года, он признается с сокрушением знакомому:

— Я знаю, что такое природа, и знаю, что ее не схватить. А у них?.. (Разговор шел об учениках.) Они гвоздями прибивают к небу облака. Они из булыжника делают воду. Когда издали они увидят меня, то как зайцы бегут в сторону... Да. Были моими учениками. А теперь они не ученики мои. Мажут. По небу кистью мажут и думают, что эт-то небо... Кровь вся в голову кидается, все дрожит внутри. Думаю: не спал, не ел, шел в мастерскую, всю душу клал за человека, а он тучи контуром обводит. Понимаете, тучи черным контуром!.. Зачем же я учил их, зачем все внутренности перед ними выворачивал? И как это в Евангелии говорится: на песок или на камень упало? И так напрасно все, и в результате — никому не нужная деятельность...

«Он захлебывался и волновался, руки хватали воздух. Он смотрел на меня и не видел, — вспоминал собеседник Куинджи. — ...Вдруг лицо его омрачилось. Он стал серьезен и пасмурен. Он замолчал.

— Что вы, Архип Иванович?

— Я знаете... эт-то... Кажется мне, что я жизнь как надо прожил... эт-то сделал, что было нужно сделать... А порою думаю, что эт-то что-то не то.

— Отчего же?

— Оттого что... Ну, может, хорошо меня помянут. Ну а результат какой же?.. Все-таки в пустышку играл...»

Экспансивный Архип Иванович несколько сгущал

краски, но в искренности его признания сомневаться трудно. Не станем забывать и того, что среди его учеников в Академии были и такие, как замечательный пейзажист А. Рылов.

Начав ревностно занятия с учениками, Иван Иванович сперва почти каждый день ходил в Академию, но затем все чаще и чаще оставался дома.

— На что я там? — говорил он. — Теперь я уже больше не нужен.

Он даже начал подумывать об отставке, но его уговорили остаться (по-видимому, граф И. И. Толстой).

Надо думать, не столько испортившиеся отношения с Куинджи послужили поводом к мысли уйти из Академии, сколько сама обстановка в ней и разразившиеся разногласия между художниками.

Чуткая критика улавливала возникшую атмосферу, и потому, когда в феврале 1895 года открылась 23-я передвижная выставка, в печати все более начали рассуждать о развитии и росте отдельных группировок и, что не менее важно, усиленно заговорили о низком уровне современной живописи.

В большинстве статей Шишкин либо не упоминался, либо о работах его сообщалось весьма сухо.

Вслух говорилось о распаде Товарищества, о слиянии с Академией, о том, наконец, что передвижники захватили ее.

Бранили Шишкина и передвижники, обвиняя в том, что он увлек за собой членов Товарищества в Академию.

«...Отношения с передвижниками обостряются — вообще образуются довольно отчетливо три течения: одно — это фанатические патриоты передвижничества: Савицкий, Киселев, Касаткин, до известной степени Архипов. Второе — это передвижники и передвижнические экспоненты, которые стоят на том, чтобы поднять местные московские выставки, но с мелкотой якшаться не желают, сюда относятся — Аполлинарий Васнецов, Серов, Нестеров, Пастернак. Они поддерживают Дмитровку и ее общество, и третье — это наше Товарищество, — писала 24 января 1895 года Е. Д. Поленова Н. В. Поленовой. — Открытой борьбы между членами этих сект хотя и нету, но нет-нет да и покосятся друг на друга. Я считаю, что тут дурного ничего нет, напротив, где жизнь, там и столкновения, без этого нельзя...»

Словно сговорившись, печать яростно бранила работы тех художников, которые ратовали за объединение с

Академией. В газете «Новое время» 18 и 19 февраля сообщалось, что «нет ни одной особенно выдающейся картины, так называемого гвоздя...». Критик Квидам в газете «Новости дня» в ироническом тоне писал: «Передвигаются гг. передвижники с места на место усиленно — это точно, но едва ли подвигаются вперед...» «Правительственный вестник» высказался более категорично: «...нынешняя передвижная выставка, может быть, и не выдержит строгой критики».

Едва в печати прознали о желании группы передвижников устроить выставку в залах Академии художеств, как лавина ругательств хлынула со страниц газет и журналов в их адрес.

В. В. Стасов критиковал «отступничество». Когда же И. И. Толстой, дабы пригасить страсти, пригласил его войти в состав Совета Академии, критик ответил резким отказом.

— Принимать участие в реформе Академии означало бы подпирать новыми бревнами старое здание, — восклицал он.

И в среде передвижников бушевали страсти. «У передвижников есть партия, явно желающая скандала с Академией, эта партия с Ярошенко во главе, из товарищей, не попавших в члены Академии, терроризирующая остальных, попавших, и считающих почему-то своей обязанностью извиняться перед остальными...» — писал 10 февраля 1895 года И. И. Толстой хранителю императорского Эрмитажа Н. П. Кондакову.

К. А. Савицкий, занявший в данной позиции сторону И. И. Шишкина, писал ему в марте того же года: «...Видно, ненадолго дано нам утешаться своей выставкой в академических залах. Людская зависть, не замечавшая в продолжение 20 лет неудобства для Товарищества скитаться с выставкой по чужим углам, заговорила! Ополчились художники, печать, а с ними и публика. Вопиют: партийность, захват, свободному искусству дышать нечем!

Залы Академии заняли передвижники!..

Экие мы простофили, будто не догадывались раньше, что это будет так... Нет, догадывались, а только кому нужно было, гнули облобызаться с умытой Академией, и вот теперь утремся от предательских поцелуев...»

Как выразился М. О. Меньшиков, «злая сила» заговорила в печати, которой ненавистна была одна мысль о слиянии Товарищества с Академией. Не брезговали

кляузами, нечаянными слухами, прямым очернительством.

«...в художественные критики всего чаще идут неудавшиеся художники: не умея создать своего, они принимаются ругать чужое, и это называется художественной критикой, — писал М. О. Меньшиков в одной из своих статей. — Нужно ли добавлять, что на их обязанности ложится поддерживать ту партию, которая, несмотря на сравнительную бездарность, захватила господствующее положение в Академии. Партия эта протежирует кому угодно, лишь бы только на первые места не пропустить художников. Русским приходится в своей же родной столице выдерживать глухую обструкцию этой среды и покровительствующего ей начальства. Одолевать обструкцию они в силах лишь могуществом таланта, который, благодаря Бога, на их стороне. Однако даже богатырская сила иногда сдает».

Статья М. О. Меньшикова увидела свет в апреле 1911 года и написана была под впечатлением кончины художника Крыжицкого. Но многое в ней можно отнести и к И. И. Шишкину. Позволим себе привести здесь выдержки из этой не публиковавшейся долгие годы работы известного русского журналиста.

«...Говорят: искусство вне национальности. Какой вздор! Именно искусство и есть последнее выражение национального духа. Если вы скажете, что все таланты составляют одну национальность, то, может быть, это и так; подобно горным вершинам, они составляют одну семью за облаками, но зато какое кромешное разделение в ущельях, какая вражда жизни!

Не один Крыжицкий, — если верить знающим людям, целая плеяда русских талантов сошла со сцены, измученная модернизмом, столь же посредственным, сколь завистливым и крикливым. Крамской, Шишкин, Киселев тоже ведь умерли от какого-то надрыва, уставшие от всевозможных «товарищеских» оскорблений. К глубокому несчастью Господь, даруя художникам удивительное зрение, не лишает их слуха. Никто, кажется, так не чувствителен к отзывам товарищей как художники. Нигде столь не свирепствует товарищеская зависть (а иногда и товарищеское обожание), ревность ремесла, острое чувство конкурса, как здесь...»

Да, прав литератор, подметивший главное в судьбе Академии художеств: «...Пока Академия крепко захвачена сплоченными инородцами, глядящими враждебно на

каждый русский талант, — последний будет вынужден или терять свою независимость и приспособлять, или сходить со сцены...»

Дух чиновничества в Академии был все еще силен. И одному И. И. Толстому было не в силах справиться с ним, по-иезуитски ловким и коварным.

Иван Иванович, ясно осознавая всю важность пребывания в стенах Академии русских художников, продолжил работу в ней.

Неприязнь прессы и опрометчивые упреки сотоварищей, конечно же, не прошли безболезненно, у Шишкина врачи обнаружили грудную жабу.

Всю зиму он работал над елабужскими сюжетами. Как и всегда, в трудную минуту обращался памятью к родным местам.

На передвижной выставке, которая, конечно же, была интересной, если не сказать больше, Иван Иванович выставил две картины: «Кама близ Елабуги» и «Сосновый бор». Последнюю приобрел император.

В апреле 1895 года в Москве открылось экстренное общее собрание членов Товарищества передвижных художественных выставок. Решался один из главных вопросов —об отношении к Академии художеств. Из-за болезни Иван Иванович не смог быть в первопрестольной, но направил письмо в поддержку Товарищества. Осознавая неизбежность раскола, он искал примиренческой позиции, искал единения, так необходимого для победы русского искусства. Не беда его, что его не понимали.

Несмотря на одышку, приходил в мастерскую, смотрел рисунки, поговаривал о выезде летом на этюды.

— Главное для художника — общение с природой, — говорил он.

Иван Иванович начал убеждать руководство в необходимости нанимать дачу для художников-пейзажистов, но, не найдя понимания, уговорил студентов ехать вместе с ним на этюды в Меррекюле, что и было сделано.

Иван Иванович работал вместе с учениками, писал одни и те же этюды. Работой увлекся и радовался, видя успехи учеников. Успехи были настолько очевидны, что на осенней выставке выявилось — в его мастерской, по общему мнению, были лучшие работы.

В тот год Иван Иванович в последний раз посетил Елабугу. Судить о том позволяет письмо сестры Анны Ивановны к нему от 16 ноября 1895 года. Наверное, о многом, главном для себя, размышлял он, пребывая в

родном доме, бродя в последний раз по любимым с детства окрестностям города.

Осенью и без того натянутые отношения с Куинджи прекратились вовсе. В один из дождливых дней профессора выбирали в музее Академии наиболее слабые вещи для отправки в провинциальные школы. На одну из работ указал А. И. Куинджи: «Вот и эту дрянь послать можно». (Знал он или нет, что она шишкинская, сказать трудно.) Иван Иванович, присутствовавший с другими в музее, был обескуражен. Смутило и то, что ни один из профессоров, находившихся рядом, не возразил Куинджи. Вернулся Иван Иванович домой вконец расстроенный, ни с кем не разговаривал долгое время, а затем сказал, как бы для себя, вслух: «Ежели не способен бороться и отстаивать даже самого себя, надо уходить».

Людям, окружающим Шишкина, было ясно, что не фраза, оброненная Куинджи, была причиной появившегося вскоре официального прошения об отставке, а несогласие с деятельностью стоящих во главе Академии чиновников. Куинджи лишь ускорил развязку.

Архип Иванович через близких людей просил извинения, но Иван Иванович на сей раз руки не протянул.

Отставка о прошении была принята 15 октября 1895 года. Ученики Ивана Ивановича перешли в мастерскую Куинджи.

«Среды» более не собирались у Шишкина в доме, он остался как бы один. Было время поразмыслить над происшедшим.

Не в это ли время пишет он эскиз картины «На окраине соснового бора близ Елабуги», которую выставит на юбилейной, четвертьвековой передвижной выставке 1897 года? Сверху на рисунке напишет: «Раздолье, простор, угодье. Рожь. Божия благодать. Русское Богатство. На окраине (Край) Соснового леса (бора) близ Елабуги».

Оставшись в одиночестве, он возвращается к главной мысли своей. Время торопит исполнить задуманное.

Да, важно веру не потерять, не отступиться от нее.

Бог свидетель: противу совести не поступил, не согрешил. Интригой жить не начал.

Знал ли Иван Иванович, как внимательны были к словам его и поступкам молодые художники, как много значили для них суждения и высказывания его?

«...Вчера был я у Ярошенко, там опять все те же либеральные разглагольствования, и только лишь Шиш-

кин говорил по-иному, спасибо старику за правду», — писал М. В. Нестеров в одном из писем.

Важно отметить, что Шишкин горячо поддержал картину М. В. Нестерова «Монахи» («Под благовест»), по поводу которой «острили и придирались милостиво» Н. А. Ярошенко и Г. Г. Мясоедов, будто бы молодой художник играл на руку Владимиру Соловьеву — проповедовал соединение церквей, написав православного старика и молодого католика.

В дар Казанской художественной школе, открытой в этом году, Иван Иванович послал этюды: «Лес», «Обрыв», «Сосновый лес».

«Ваши этюды произвели страшную сенсацию среди учеников, и уж сколько про них разговоров и толков...— писал художнику директор школы Н. Н. Белькович. — Кроме непосредственно сильного впечатления от Ваших этюдов, самый факт такого ценного подарка отразился сильно на подъеме духа всей школы, стало быть, мы чего-нибудь да стоим, когда нам дарят такие вещи. Ученики «ура» кричали, целый день ног под собой не слышали...»

Зиму писал он картины «Дубовая роща», «Северный еловый лес», «Вечерняя заря», «Лес осинник» («После дождя»).

В свободную минуту захаживал в Академию, смотрел панораму Шильдера, над которой тот работал в одной из мастерских. Шильдер радовал его. На часок, а то и меньше заходил к А. А. Киселеву. Остальное время уходило на работу. Его нельзя было встретить на вечерах ни у И. Е. Репина, ни у Маковского, ни у других. Он работал. Работал, словно предчувствуя скорую кончину.

Авторитет его был столь велик, что в январе 1896 года передвижники, ощущая необходимость собраться, пришли к единодушному мнению, что сделать это можно только на квартире у Ивана Ивановича.

На лето Шишкины сняли дачу на станции Преображенская.

Он было принялся за работу, но дала знать о себе болезнь. Он загрустил. Загрустил, ибо понял, что многое ему теперь не под силу, как раньше, — возраст не тот. Но к юбилейной выставке не хотел прийти с пустыми руками.

Радовался, когда человек дельный и чисто русского характера Котов был выбран директором Центрального училища технического рисования барона Штиглица вместо немца Месмахера. «...Браво! И слава богу. Еще одно несносное немецкое иго сброшено. Месмахеров долой. Как это приятно, что наконец такое большое дело будет в русских руках...» — писал он в октябре 1896 года М. П. Боткину.

Тронуло признание В. К. Менка: «...Скажу правду, до знакомства с Вами природу любил бессознательно, и только когда увидел Ваши первые картины и рисунки, только тогда и понял, что я больше всего люблю в живописи пейзаж...»

Возможно, А. А. Киселев передал ему восторженные отзывы о его картинах Н. Рериха.

В зимнее время частенько останавливался подле окна, смотрел на заснеженную улицу, повозки, людей.

29 декабря в печати появилось ошибочное сообщение о смерти художника.

— Буду жить долго, — шутил Иван Иванович.

Весной следующего года отмечали 25-летие Товарищества передвижных художественных выставок.

Днем, 2 марта 1897 года, открылась выставка. Народу было меньше обыкновенного, но были все, кто бывает в этот день.

В 6 часов вечера собрались у Додона пообедать.

Громом аплодисментов встретили старика Шишкина. Все было, как прежде, но, увы, не было ни задушевности, ни веселья былых лет, вспоминал М. В. Нестеров.

Иван Иванович с нетерпением ждал лета. Хандра прошла. Он словно чувствовал, что оставалось недолго пребывать на этом свете. Работал с какой-то жадностью, страстью. За лето столько написал, что родные диву давались. «Таких тонов и правды красок, как в этом году, кажется, еще не было», — писала Комарова.

Знакомые начали уговаривать его возвратиться в Академию.

— Куинджи нет, место его занял Киселев. С ним вы, Иван Иванович, друзья. Отчего бы не поработать с учениками, — говорили они.

Иван Иванович отвечал полушутливо-полусерьезно:

— Соглашусь быть профессором уже только для того, чтобы провести свою заветную мысль о рисовании с фотографии, то бишь, с экрана волшебного фонаря. — Посерьезнев, добавлял: — Если человек с талантом и любит пейзаж, поймет меня и увидит в этом не цель, а средство для изучения пейзажа. Тут ведь частью познается степень даровитости человека: бездарный будет

рабски копировать с фотографии все ее ненужные детали, а человек с чутьем возьмет то, что ему нужно.

Когда же Совет Академии предложил ему занять место руководителя мастерской, он, подумав, ответил согласием и принялся дорабатывать программу, с которой пришел в мастерскую осенью 1894 года. Но болезнь нарушила планы. Надолго он слег в постель и терпеливо ждал выздоровления. Ждал, ибо в помыслах была и новая работа — «Афонасовская корабельная роща близ Елабуги».

Едва начал поправляться, взялся за кисти...

Его пейзажи отличает художественная правда природы — этого молчаливого, глубокого мастера, формирующего национальные черты русского человека. Все его творчество в целом было превосходным уроком для зарождавшегося русского пейзажа.

«Если дороги нам картины нашей дорогой и милой родины Руси, — писал ему в 1896 году В. М. Васнецов, — если мы хотим найти свои истинно народные пути к изображению ее ясного, тихого и задушевного облика, — то пути эти лежат и через ваши смолистые, полные тихой поэзии леса. Корни ваши так глубоко и накрепко вросли в почву родного искусства, что их ничем и никогда оттуда не выкорчевать!»

Слова эти своевременны и сейчас, когда несколько модным стало глубоко ошибочное толкование творчества И. И. Шишкина как художника-фотографа. Сознательно или нет брошенная мысль явно подразумевает ограниченность духовного начала художника, для которого, однако, «природа есть единственная книга, из которой мы можем научиться искусству» и который, начиная работу над новой картиной, всякий раз мыслил «написать пейзаж, в котором бы с предельной ясностью и конкретностью выразилась любовь к жизни, к земле, к людям». Мысль эта согревает все картины художника.

Вскоре после кончины И. И. Шишкина один из художественных критиков писал о нем:

«Его руки всю жизнь трудились над картинами и рисунками, которые свидетельствуют о глубокой и нежной любви художника к родной природе...

Шишкин великорусский талант по преимуществу, талант уравновешенный, спокойный и, так сказать, сознательный. Он не только чувствует, но и изучает. Вглядитесь в любое произведение Шишкина, и вы будете поражены изумительным знанием каждого дерева, каждой травинки, каждой морщины коры, изгиба ветвей, сочетаниям стеблей листьев в букетах трав. Но это не холодное изучение, в котором упрекают великорусов. Без искренней любви нельзя дойти до такого точного знания: наскучило и приелось бы. Нет, Шишкин жил своими деревьями и травами...»

«Человеком-школой», «верстовым столбом в развитии русского пейзажа» называл его И. Н. Крамской. Именно такой человек-школа и был необходим русскому пейзажу в период его становления, когда живопись русских художников помогла «русскому искусству возвратиться на родную почву, выработать свой язык, свои приемы, свое миросозерцание». Он был глубоко русским человеком и видел природу глазами своего народа.

Отрицание Шишкина — это отрицание русского народа, его культуры, религии в первую очередь. Неприятие ее вызвало, да и по сию пору вызывает нападки на его творчество и работы продолжателей его школы. Известно, с каким скепсисом относился к работам русских художников-передвижников поклонник творчества П. Пикассо И. Эренбург. Не отставал от него и критик А. Чегодаев, опубликовавший программную статью в одном из номеров «Московского художника», в которой с яростью ополчился на молодых (дело происходило в начале семидесятых годов) художников-реалистов, устроивших выставку русского пейзажа — «Родная земля». Надо сказать, статья послужила сигналом для начала травли представителей реалистической школы в живописи. Нельзя не сказать несколько слов и о таких художественных критиках, как А. Морозов или А. Каменский. Эти новоявленные идеологи авангардизма в завуалированной форме, но вполне определенно вдалбливали в сознание массового читателя мысль о «неполноценности» работ Шишкина. Нет, они прямо не отрицали его творчество, но утверждали, что оно нечто отжившее, продукт своего времени — и только, экспонат исторический, если хотите.

Именно такие люди, как И. Эренбург, А. Чегодаев, А. Морозов, А. Каменский и приложили максимум усилий, чтобы разрушить реалистические традиции в русском искусстве, подменив их реализмом с размытыми берегами, смыкающимся с авангардизмом.

Эта книга не ставит своей целью вступать в полемику с апологетами авангардизма наших дней. И все же

отметим главное: мысли, высказанные ими, были подхвачены и раздуты (да простит читатель это слово) прессой и стали позицией официоза.

Травля Шишкина, начавшаяся при его жизни, продолжалась и после его смерти. И, позволим себе заметить, травля эта носила не случайный, эпизодический характер, а являла собой акцию планомерную, до деталей продуманную.

Неприятие русской национальной культуры, культуры религиозной, надо отметить, свойственно тем, кто жаждет большего — ее разрушения, для кого важно лишить нацию ее идеологии, превратить ее в обезличенную массу. То духовное начало, которое объединяет русских людей, позволяет им себя ощущать и называть русскими, имеет весьма притягательную силу для остального мира, и, может быть, православная церковь, способная объединить широкие круги соотечественников в их борьбе с силами зла, именно поэтому и вызывает такую ненависть у врагов ее. Потому и подвергаются нападкам глубоко национальные по духу русские художники. Шишкин же — в первую очередь.

Зимой 1897 года в Петербурге стояли лютые холода. Стоило выйти из подъезда дома, как усы, борода, брови покрывались инеем.

Закутавшись в шубу, Иван Иванович направлялся в Академию. Не терпелось поскорее устроить волшебный фонарь и тем самым, как он шутил, поставить себе памятник.

Приглянулись ему работы алтайца Гуркина, и он предложил ему заниматься у себя дома; немного побаивался, что Академия испортит его на первых порах.

Как никогда добродушен он был в эту последнюю зиму. Словно хотел оставить у всех по себе хорошую память. Дома работал над «Корабельной рощей». Чувствовал, как никогда, прилив нравственных сил и бодрости. Физические силы, правда, все чаще изменяли ему.

Он писал главную картину, к которой шел всю жизнь. Все, что делалось ранее, было как бы подготовительной работой. Он, в сущности, всю жизнь писал одну картину, шлифуя и совершенствуя мастерство. Он искал возможности полно выразить ощущение радости, испытанное в детстве, когда душа соприкоснулась с божественной красотой, разлитой в природе.

«Корабельная роща» имела успех необыкновенный. Ее купил государь.

Иван Иванович задумал писать новую картину и даже название ей дал — «Краснолесье».

— Будет она изображать целое море соснового леса, — говорил он. — Лесное царство.

Удачно скомпоновал два рисунка для нее.

Был весел.

7 марта принесли холст, но Иван Иванович не работал в тот день, ушел на открытие Русского музея.

Утром 8 марта 1898 года пришел в мастерскую, приступил к работе. Придвинул стул, сел. Начал рисовать картину углем, держа рисунок в левой руке.

Гуркин работал рядом.

Закончив писать нижнюю часть, Иван Иванович передвинулся со стулом, неожиданно зевнул, выронил из рук рисунок и начал падать со стула. Гуркин кинулся к нему, но подхватил его уже мертвого...

Отпевали «раба Божьего Иоанна» в церкви Академии художеств.

Приехали друзья из Москвы. Пришли петербуржцы. Народу было много. Привел «тенишевцев» И. Е. Репин.

Горели свечи. Пел хор.

На Смоленском кладбище, когда над могилой был возведен холм, все молча ждали надгробных речей. Но ораторов не было. Попросили Репина сказать слово. Виктория Антоновна и старшая дочь Ивана Ивановича также просили об этом.

Илья Ефимович начал речь с воспоминаний о Шишкине, говорил о нем как о человеке и товарище.

— Шишкин является непревзойденным мастером русской пейзажной живописи, художником русского леса, — сказал он. — Его знания леса были феноменальны. Так никто не понимал строения деревьев, он знал каждый сучок, каждую ветку. Во всем чувствовалась сама природа. Шишкин — художник от бога данный, ему нет равных в рисунке, он легко мог по памяти нарисовать целую корабельную рощу. Такие познания могут быть только у человека, изучившего пластическую анатомию дерева. Но его виртуозная техника наносила ущерб тону и художественному восприятию.

Илья Ефимович закончил речь, и все почувствовали, что начал он хорошо, но кончил не совсем удачно. Всем

хотелось, чтобы он сказал еще несколько слов. Но Репин молчал. Тогда слово взял ученик Академии художеств М. Иванов. Он волновался, говорил искренне. Голос его отчетливо слышен был в наступившей тишине.

— Иван Иванович, на твоей могиле скажу о тебе: ты был чистым и крупным художником, истинно русским человеком. — Он помолчал, собираясь с мыслями, и продолжил: — Со смертью ближнего умираем и мы, ибо этот человек знал нас, мы были частью его жизни, и он унес нас с собой, но он же будет продолжать жить, пока живы мы, ибо он в памяти нашей. Его картины будут вызывать чувство восхищения и удивления и во многих разбудят хорошее чувство патриотизма, и не к одному человеку придет ясное осознание целесообразности русской общественной жизни в общей жизни человечества. Благодарная Россия никогда не забудет тебя.

...На могиле поставили крест и зажгли свечи.

Этой скромной работой зажгу и я свою свечу в память о великом русском художнике.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИВАНА ИВАНОВИЧА ШИШКИНА

1832, 13/25 января — В г. Елабуге Вятской губернии в семье купца И. В. Шишкина родился сын Иван.
1844 — Поступает в 1-ю мужскую гимназию Казани.
1852 — Едет в Москву с Д. И. Стахеевым. Поступает в Московское училище живописи и ваяния.
1856, январь — Приезжает в Петербург и поступает в Академию художеств.
1857 — Первая академическая награда — малая серебряная медаль. Летом работает на этюдах в деревне Дубки.
1858 — Валаам. Знакомство с игуменом Дамаскином. В конце года получает большую серебряную медаль за рисунки пером и живописные этюды, написанные на Валааме.
1862, 27 апреля — Выезжает за границу.
1865, июнь — Возвращение в Россию. Получает звание академика.
1868 — Женится на Евгении Александровне Васильевой.
1869 — Картина «Полдень. В окрестностях Москвы». Ее приобретает П. М. Третьяков. Рождение дочери Лидии.
1870 — Поездка в Нижний Новгород. Ставит подпись под уставом Товарищества передвижных художественных выставок.
1871 — Картина «Вечер». Первая выставка Товарищества передвижных художественных выставок. Рождение сына Владимира.
1873 — Получает звание профессора. Родился сын Константин.
1874 — Смерть Е. А. Шишкиной.
1875 — «Родник в сосновом лесу», «Первый снег». Знакомство с А. В. Праховым. Смерть сына Константина.
1878 — Написана «Рожь». Знакомство с О. А. Лагодой.
1880 — Венчается с О. А. Лагодой.
1881 — Рождение дочери Ксении. Смерть О. А. Лагоды-Шишкиной.
1889 — Написана картина «Утро в сосновом лесу».
1890 — Поездка в Тверскую губернию.
1893 — Получает уведомление о назначение его профессором — руководителем пейзажной мастерской Высшего художественного училища при Академии художеств.
1894 — Начало преподавательской деятельности.
1895 — Поездка в Елабугу. Написаны картины «Кама близ Елабуги» и «Еловый лес. Солнечный день». Освобожден от должности профессора — руководителя пейзажной мастерской по болезни.
1897 — Шишкину предложено вновь занять место руководителя пейзажной мастерской.
1898 — Написана картина «Корабельная роща». 8(20) марта Иван Иванович скончался, работая в мастерской над новой картиной. Похороны на Смоленском кладбище.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Рамазанов Н. А. Материалы для истории художеств в России, кн 1. М, 1863

Нестеров М В. Давние дни Встречи и воспоминания М, 1959.

Перов В. Г. Рассказы художника М, 1960.

Дмитриева Н Московское училище живописи, ваяния и зодчества. М, 1951.

Чистяков П. П Письма, записные книжки, воспоминания 1832—1919 М, 1955.

Нерадовский П. Н Из жизни художника Л, 1956

Репин И Далекое близкое, 5-е изд М, 1960.

И Крамской Письма, статьи в 2-х т М, 1965, 1966.

Агапов В М., Хаккарайнен Т. А Художники на Валааме Петрозаводск, 1967.

Савинов А Иван Иванович Шишкин 1831—1898 М — Л, 1948

Дульский П М Иван Иванович Шишкин Казань, 1953.

Пикулев И Иван Иванович Шишкин. 1832—1898 М, 1955

Кудинов Иван Повесть о художнике Шишкине. Барнаул, 1973

Комарова А. Т. «Лесной богатырь-художник» — «Книжки Недели», 1899, № 11, с 7—35, № 12, с 42—68

Потанин Г Н. Воспоминания Новосибирск, 1983.

К. П Победоносцев и его корреспонденты Письма и записки. Том 1. Полутом 1-й М, 1923

Минченков Я. Д Воспоминания о передвижниках. Изд 6-е. Л, 1980

Васнецов В М Письма Дневники Воспоминания. Суждения современников М, 1987

Васильев Ф Письма М, 1937.

Новицкий А. Передвижники и влияние их на русское искусство М, 1897

Боткина А П Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. М, 1951.

И. И. Шишкин. Переписка Дневник Современники о художнике. (Сост. и вступ. статья И. Н. Шуваловой) — Л., 1978.

Рисунки И И. Шишкина. Текст А. Н. Савинова. М, 1960

И. И. Шишкин. Альбом Серия «Русские живописцы XIX в». Автор-составитель И Н. Шувалова. — Л, 1990

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая. На родине 5
Глава вторая. В Москве 25
Глава третья. Есть, есть Бог на свете 70
Глава четвертая. На Валааме 80
Глава пятая. В Петербурге. Друзья и знакомые . 98
Глава шестая. Жизнь прекрасно тихая, безмятежная 121
Глава седьмая. В Европе 141
Глава восьмая. Возвращение 164
Глава девятая. Полдень 180
Глава десятая. События житейского рода . . 197
Глава одиннадцатая. Родник в лесу 209
Глава двенадцатая. Рожь 215
Глава тринадцатая. Ученики 225
Глава четырнадцатая. Холсты 235
Глава пятнадцатая. Последнее десятилетие . 263
Основные даты жизни и деятельности Ивана Ивановича Шишкина 301
Краткая библиография 302

Анисов Л. М.

А 67 Шишкин. — М.: Мол. гвардия, 1991. — 301[3] с., ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр.; Вып. 714).

ISBN 5-235-01341-1 (2-й з-д)

Книга писателя Л. М. Анисова посвящена жизни и творчеству великого русского художника-пейзажиста И. И. Шишкина, вдохновенного певца природы России, одного из крупнейших передвижников. Автору удалось найти и использовать множество ранее неизвестных биографических материалов и архивных сведений о художнике, проследить маршруты его путешествий по стране.

А $\frac{4702010201-079}{078(02)-91}$ 117—91 **ББК 85.143(2)1**

ИБ № 6928

Анисов Лев Михайлович

ШИШКИН

Заведующий редакцией **С. Лыкошин**
Редактор **А. Иванов**
Младший редактор **М. Печенева**
Художественный редактор **А. Мишустин**
Технические редакторы **Г. Прохорова, Е. Брауде**
Корректоры **Н. Самойлова, В. Назарова**

Сдано в набор 20.08.90. Подписано в печать 06.03.91. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 15,96+ +2,52 вкл. Усл. кр.-отт. 23,1. Учетно-изд. л. 19,6. Тираж 150 000 экз. (75 001—150 000 экз.). Цена 5 руб. Заказ 1234.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО. 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

ISBN 5-235-01341-1 (2-й з-д)